АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ
XV

4

ИЮЛЬ — АВГУСТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1966

СОДЕРЖАНИЕ

В. Пизани (Милан). К индоевропейской проблеме 3
В. Скаличка (Прага). К вопросу о типологии 22

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Ф. П. Филин (Москва). К проблеме социальной обусловленности языка 31
Арн. Чикобава (Тбилиси). К вопросу о путях развития современной лингвистики 45
П. С. Кузнецов (Москва). Еще о гуманизме и дегуманизации 62
Обзор материалов, поступивших в редакцию по поводу статьи В. И. Абаева «Лингвистический модернизм как дегуманизация науки о языке 75

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Р. Ружичка (Лейпциг). О понятии «заимствованный синтаксис» в свете теории трансформационной грамматики 80
Л. С. Бархударов (Москва). К вопросу о бинарности оппозиций и симметрии грамматических систем 97
В. Г. Адмони (Ленинград). Размер предложения и словосочетания как явление синтаксического строя 111

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Г. А. Климов (Москва). *Т. В. Гамкрелидзе, Г. И. Мачавариани.* Система сонантов и аблаут в картвельских языках 119
В. М. Иллич-Свитыч (Москва). *Т. В. Гамкрелидзе, Г. И. Мачавариани.* Система сонантов и аблаут в картвельских языках 125
Э. А. Макаев (Москва). *А. М. Мухин.* Функциональный анализ синтаксических элементов 137
К. Бергсланд (Осло). *Г. А. Меновщиков.* Язык сиреникских эскимосов . . 140
М. В. Софронов (Москва). *Т. Нисида.* Исследования по тангутскому языку, I 149
М. М. Копыленко (Алма-Ата). *К. Мирчев, Хр. Кодов.* Енински Апостол. Старобългарски паметник от XI век 158
Е. Н. Максимов (Москва). *М. А. Коростовцев.* Введение в египетскую филологию 160

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

А. П. Каждан (Москва). Письмо в редакцию 164
Г. Г. Белоногов (Москва). Письмо в редакцию 165

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Г. К. Якупова (Казань). Языкознание в Татарии 166
Н. Б. Дугаров (Улан-Удэ). Языкознание в Бурятии 170
Хроникальные заметки 172
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию 174

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1966

В. ПИЗАНИ

К ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОБЛЕМЕ

В сентябре 1965 г. я выступил на третьем совещании по индоевропейскому и общему языкознанию в Мюнстере с докладом на тему «Возникновение отдельных языков из языковых союзов». В этом докладе понятие «языкового союза» определялось как взаимопроникновение двух или более языков у лиц, владеющих двумя или несколькими языками и общающихся между собой по той или иной причине (таким образом, под это определение подводятся случаи субстрата и суперстрата, фактически проявляющиеся как взаимодействие адстратов); понятие «языка» в свою очередь рассматривалось нами как логическая абстракция, основанная на сходных явлениях, повторяющихся в единичных языковых актах, которые имеют место в определенных пространственных и временных рамках, устанавливаемых a posteriori. Через посредство единичных языковых актов, состоящих из элементов, которые могут исходить из разных языковых традиций, языки не только постоянно изменяются, но и «смешиваются» благодаря проникновению различных элементов (слов, фонем, морфем, синтагм, структур) из одного языка в другой. Далее в своем сообщении я перешел к рассмотрению различных результатов, к которым приводили исторически сложившиеся языковые союзы. Иногда контактирующие языки, несмотря на глубокие изменения, вызванные взаимным влиянием, остаются по существу разными языками, как это произошло с балканским языковым союзом или с западноевропейскими языками — итальянским, французским, английским, немецким, испанским и т. д.,— воздействовавшими друг на друга непосредственно и через посредство латыни, по крайней мере начиная с эпохи Карла Великого; в других случаях контактирующие языки образуют в конце концов единый язык, как, например, английский, возникший из языкового союза, состоявшего из местного англосаксонского и привнесенного норманнами французского (не говоря уже о влияниях кельтского и датского), или народная латынь.

В этом последнем случае я проводил различие между английским, где обе основные языковые составляющие представлены примерно в одинаковой степени, особенно в области синтаксиса и общей структуры, и народной латынью, различные диалекты которой, лежащие в основе современных романских диалектов, обнаруживают сильное влияние долатинских языков, т. е. диалектов Лациума, оскско-умбрских, мессапского, венетского, этрусского, кельтских, иберийских, дакских, которые накладывали известный отпечаток на то, что мы можем назвать «обиходным языком» (Umgangssprache) Римской империи, а через него и на литературную и канцелярскую латынь, оказывавшую в свою очередь унифицирующее воздействие на местные диалекты. В основе этого пестрого и неустойчивого единства находилась, таким образом, латынь города Рима, которая в силу политического, экономического и культурного престижа (исходящего из центра Империи) выступала как ведущий язык.

Перенося установленные выше критерии на предысторию индоевропейских языков, я утверждал, что различные языковые семьи — германская, славянская, балтийская, кельтская и т. д. — не являются независимыми и монолитными группами, возникшими благодаря расщеплению столь же монолитного индоевропейского праязыка, а представляют собой результат распространения из одного или более центров отдельных явлений, которые по политическим или каким-либо иным причинам, охватив определенную территорию, в различной степени проникли в индоевропейские и отчасти неиндоевропейские языки, на которых говорило население данной области. Таким образом, отдельные диалекты, возникшие в результате подобной эволюции, обладая суммой общих изоглосс, могут в то же время, наряду с последующими инновациями, сохранять целый ряд особенностей, иногда весьма очевидных, которые восходят к ранним языковым фазам, предшествовавшим периоду относительного языкового единства.

Такое положение вещей я отмечал, в частности, в греческом, в котором я усматриваю подобную унификацию, продолжавшуюся на наших глазах вплоть до образования койне из микенских и доионийскоаттических диалектов, происходящих из Анатолии, и диалектов доэолийских и позднее додорийских северобалканского происхождения (объединение, в котором первые играли ведущую роль, подобную латыни Рима при образовании народной латыни, в то время как вторые явились источником таких существенных черт, как лабиализация лабиовелярных, которая произошла в доэолийских диалектах, так же как и в дооскскоумбрских еще до их проникновения на Апеннинский п-ов). Все это объясняет промежуточное положение греческого языка, связанного, с одной стороны, с «арийскими», с другой — с «европейскими» языками [1].

Что касается индоевропейского единства, я указывал, что оно представляет собой результат аналогичного языкового союза, образовавшегося путем наложения языков завоевателей, говоривших на «протосанскритских» наречиях, на различные местные языки, связанные, с одной стороны, с «средиземноморской» группой, с другой — с чем-то подобным «угро-финскому» и распространенные в Центральной и Восточной Европе, а также в Анатолии и т. п. Таким образом возникли диалекты, разные, но объединенные многочисленными изоглоссами, представленными в особенности в культовом и «литературном» языке, остатки которого можно обнаружить в том, что Ваккернагель называет «поэтическим индоевропейским языком», принесенным сословием жрецов-«протобрахманов», которые, как это потом случилось в Индии в историческое время, обеспечивали в некоторой степени возможность общения между различными «государственными» образованиями, созданными «завоевателями» на этом обширном пространстве, возникли и предполагаемые нами группировки диалектов, составившие основу позднейшего относительного единства — германского, славянского и т. п., как было сказано выше.

Наконец, я указывал на возможность того, что «протосанскрит» был результатом объединения языков, подобных тюркским и т. п., с другими языками, подобными кавказским и средиземноморским, объединения, возникшего благодаря слиянию военной аристократии кочевников, пришедших из Центральной Азии, с классом жрецов, сохранявших традиции средиземномерской и месопотамской цивилизации.

В последующих страницах я хочу углубить и развить некоторые вышеизложенные положения, касающиеся того, как надо понимать языко-

[1] Ср., например, мой доклад «Le lingue indeuropee in Grecia e in Italia», опубликованный в кн.: V. Pisani, Saggi di linguistica storica, Torino, 1959, стр. 199 и сл. (немецкий перевод в «Lingua posnaniensis», VII, 1959, стр. 25 и сл.).

вую эволюцию вообще и какими методами следует пользоваться в работах по сравнительному и историческому языкознанию.

*

Начну с замечания, которое сделал известный болгарский ученый В. И. Георгиев, выступивший на обсуждении моего доклада: он считает, что идеи, высказанные мной относительно индоевропейских языков, неприемлемы, так как они лишают всякого основания сравнительный метод, на котором строится индоевропейское языкознание. Подобные утверждения приходится слышать довольно часто; можно процитировать, например, следующие слова Дж. В. Марчанда: «Мы должны предположить существование единого протоиндоевропейского языка (PIE), иначе будет разрушено само основание нашей науки» [2]. Попросту говоря это означает: «Мы создали для себя миф, недоступный для проверки, так как он относится к доисторическому времени, т. е. к периоду, от которого мы не можем иметь прямых документов [3], так как если бы такие документы появились, доистория превратилась бы в историю. На основании этого мифа мы построили „науку"; и поскольку эта „наука" потерпит крах, если будет доказана иллюзорность этого мифа, мы должны считать его непреложной истиной и не допускать никаких сомнений по этому поводу».

Спрашивается, что эта за «наука», которая держится или рушится в зависимости от сохранения или развенчания мифа? Если учение Коперника надо было признать истинным, рушились по большей части основы теологии и астрономии, исходящие из системы Птолемея, и поэтому его противники боролись против него всеми силами подобно тому, как теологи всех религий, восстают против всякой теории, которая могла бы нанести ущерб или доказать несостоятельность той религиозной системы, на которой они основывают свое мировоззрение, и, что еще хуже, свою практику. Но неужели же прогрессивные астрономы XVII в. должны были из-за этого отказаться от своих идей и отвергнуть систему Коперника и Галилея? Должны ли мы принять как реальность рабочую гипотезу, которая, впрочем, была высказана А. Шлейхером на основе фантастических, совершенно неприемлемых в наши дни теорий (языки — живые организмы, созданные Духом народов прежде всякой истории) — гипотезу, которая лишь постольку могла считаться удовлетворительной, поскольку она была выдумана и усовершенствована таким образом, чтобы не противоречить историческим фактам, которые она была призвана «объяснить». Я считаю, что если наша наука должна быть исторической, она должна стремиться обнаруживать исторические реальности. Мне совсем не интересно строить фонологическую или морфологическую систему, чтобы выдать ее за «индоевропейскую», но мне интересно знать, что представлял собой в действительности этот «индоевропейский» язык, как он расчленялся и изменялся на огромном пространстве своего предполагаемого распространения в течение многих веков своего существования, т. е. географически и хронологически. Только на основе такого истори-

---

[2] «Orbis», 4, 1955, стр. 431.

[3] Наша наука о предыстории немного напоминает ответы, которые в IV новелле Франко Саккетти (стр. 19—22 в русском переводе Ф. Шишмарева, М.— Л., 1962) дает мельник, переодетый аббатом, на вопросы Бернабо Висконти относительно расстояния между небом и землей, количества воды в море и о том, что делается в аду. Ответы мельника очень точны; и когда Бернабо для каждого из них требует доказательств, мельник отвечает: «Если вы мне не верите, прикажите кому-нибудь проверить».

ческого знания, пусть ограниченного в своих возможностях, я буду в состоянии судить об отношениях между различными индоевропейскими языками и об их общности, вытекающей из совпадений, необъяснимых на историческом материле. По поводу мнения Р. Г. Кента, подобно В. И. Георгиеву, осудившего мое «неверие в праязыки, однородные по природе», Б. Блок справедливо заметил: «Следует полагать, что подобная точка зрения не только не лишает фундамента сравнительное языкознание, но, напротив, подводит под него более прочную, т. е. более реалистическую базу» [4].

Именно это мне хочется подчеркнуть: я вовсе не собираюсь разрушать сравнительный метод, на котором, между прочим, я основываю свои утверждения, но я хочу выяснить, что же действительно лежит в основе наших сравнений.

Рассматривая такие соответствия форм, как, например, санскр. *ásmi*, *ási*, *ásti*, *sánti*, греч. εἰμί, εἶ, ἐστί εἰσί, лат. *sum*, *es*, *est*, *sunt*, гот. *im*, *is*, *ist*, *sind*, др.-болг. *jesmĭ*, *jesĭ*, *jestŭ*, *sątŭ*, др.-лит. *esmì*, *esì*, *ẽsti*, *ẽsti*, относительно которых исключается всякая возможность заимствования в историческое время, я первый готов признать, что здесь мы имеем дело с прямым продолжением древнейших форм, существовавших в некоторых языковых традициях, к которым восходят, о т ч а с т и, санскрит, греческий, латынь, готский, древнеболгарский, литовский, и что эти формы не попали в указанные языковые традиции независимо друг от друга, но вошли в них по историческим причинам и поэтому связаны друг с другом. Каким же образом они распространились в этих ареалах? Очевидно, как всякое языковое явление, именно как всякая другая форма человеческой деятельности — религиозной, политической, социальной, культурной,— эти формы исходили из какого-нибудь центра иррадиации, передаваясь либо по горизонтали, т. е. в пространстве, либо по вертикали, т. е. во времени. При этом оболочка каждой из названных форм может помочь нам восстановить более древние стадии других, например, санскр. *ásmi*, др.-болг. *jesmĭ* и литов. *esmì* вместе с другими аналогичными фактами (как форма 3-го лица **es-ti* с характерным *s*, появляющимся и в греч. εστί и в гот. *ist*) подсказывают нам, что греч. εἰμί и готское *im* восходят к формам более древним, содержавшим *sm* вместо *m*, засвидетельствованного исторически; начальное *e*, свойственное многим формам, и другие особенности (например, санскритская палатализация гуттуральных перед некоторыми *a*, которые поэтому мы рассматриваем как продолжение более древнего *e*) подсказывают нам, что санскритские формы *ásmi*, *ási*, *ásti* начинались когда-то звуком *e* и т. д. Изо всего этого, а также из целого ряда других соображений, которые нет смысла повторять здесь, следует, что ед. число глагола «быть» в рассматриваемых языках восходит к парадигме **esmi*, **esi*, **esti*, возникшей в каком-то наречии и из него распространившейся на многие другие в доисторическую эпоху. Однако, переходя к анализу мн. числа, мы должны предположить, с одной стороны, исходную форму **senti* (в греческом, который все-таки предполагает в микенском **esenti*, и в готском), с другой — форму **sonti* (в латыни, в древнеболгарском; санскритское *a* может восходить как к *e*, так и к *o*). Наконец, мы имеем третий вариант, представленный литовским, в котором эта форма отсутствует и вместо нее в 3-м лице мн. числа употребляется форма *ẽsti*, омонимичная ед. числу, в соответствии с омонимией форм 3-го лица дв. и мн. числа и 3-го лица ед. числа, свойственной всем глаголам в литовском языке. Не имея достаточных данных

[4] B. B l o c h в «Language», XXIV, 2, 1948, стр. 196. Ср. также сказанное мной в «Archivio glottologico italiano», L, 1965, стр. 194 и сл.

для того, чтобы выяснить, какие формы — латинская и древнеболгарская или греческая и готская — были первичными, мы можем всё же предположить, что традиция, к которой восходят латынь и древнеболгарский, всегда имела *o*, тогда как другая традиция, производившая греческий и готский, имела *e*. Сходным образом мы имеем для 1-го лица мн. числа в значительной части итальянских диалектов тип *semo*, встречающийся еще у Данте, и соответствующий старорумынскому *sem*, с другой же стороны, тип, представленный пьемонт. *somo*, с которым совпадают франц. *sommes*, каталон. *som*, исп. и португ. *somos* и т. д. В данном случае оба типа, *sĭmus* и *sŭmus*, засвидетельствованы исторически; первый, употреблявшийся императором Августом, имел хождение в области, ранее оскской (откуда была родом и семья Августа). Мы не знаем, как звучала эта форма в оскском языке, но знаем, что 1-е лицо ед. числа глагола «быть» встречалась здесь в варианте *sĭm* (наряду с *sŭm*). Можно, следовательно, предположить с большой степенью вероятности, что форма *sĭmus* употреблялась первоначально в южной Италии, откуда она распространилась к северу и перешла потом в Дакию, тогда как форма *sumus* исконно существовала в городе Риме и затем при романизации перенесена была в Испанию, Галлию и т. п. Таким образом, мы исходим из одновременного существования *sĭmus* и *sŭmus* в различных диалектных областях народной латыни.

Более сложный случай представляет литовский тип. Широко распространено мнение, что литовский язык «утратил» формы 3-го лица дв. и мн. числа, заменив их формой ед. числа. Однако мы не имеем никаких оснований для такого утверждения, которое мне кажется тем более шатким, что в литовском языке, сохраняющем различие между формами 3-го лица всех трех чисел в системе местоимений (например, *šìs*, *šiuõdu*, *šiẽ*), вряд ли могло исчезнуть аналогичное различие, если оно также существовало, в глагольной парадигме. Более вероятно, что языковая традиция, к которой это явление восходит в литовском языке, никогда не знала такого различия в глагольном спряжении и что оно могло быть результатом слияния языков, имевших спряжение «санскритского» типа (третьи лица: *ásti*, *stás*, *sánti*), с языками, в которых понятие 3-го лица было выражено не глагольными формами, а «отглагольными именами», как это мы видим в угро-финских и тюркских языках. Эта гипотеза находит себе подтверждение в том, что формы 3-го лица литовских глаголов (за исключением *ẽsti* и некоторых других частных случаев) резко отличаются от форм 3-го лица ед., дв. и мн. чисел всех прочих индоевропейских языков (презенс *nẽša* «несет, носят», *keřta* «режет, режут», *mỹli* «любит, любят» и т. д., претерит *dìrbo* «работал, работали», *ẽjo* «шел, шли», *mãtė* «видел, видели»).

Как бы то ни было, рассмотренный нами глагол бытия может быть сведен в основном к общему типу, который при ближайшем рассмотрении обнаруживает различия, зачастую весьма значительные, которыми нельзя пренебрегать под влиянием бездоказательных представлений об индоевропейском языке как об изначальном монолитном единстве — предрассудок, доставшийся нам в наследство от Шлейхера наряду со многими другими: язык — создание Духа народа, язык — естественный организм, существующий независимо от говорящих, и прочие гибриды гегелевского идеализма и биологического натурализма.

Подобно тому как это было сделано для форм настоящего времени глагола «быть», мы можем восстановить общие типы форм, идентичных в своей основе, для фонетических, морфологических, синтаксических, лексических и структурных явлений, которые можно было бы рассматривать как исходные для соответствующих языковых фактов в санскрите, в

греческом, в латыни, в готском, в литовском, в славянском и т. п. Так, например, оппозиция *t* : *d* : *dh* (абстрагируясь от ее чисто фонетического аспекта) обнаруживается во всех индоевропейских языках, за исключением славянских и балтийских, поэтому можно предположить (подобно аналогичному случаю с глаголом «быть» в литовском), что в традиции, к которой восходят эти языки, всегда отсутствовали оппозиция *d*—*dh* [5], окончания *-s* и *-m* для номинатива и аккузатива ед. числа, номинатив как падеж подлежащего при активных переходных глаголах, особый термин для понятия «брат», понятие грамматического рода (которое отсутствует частично в хеттском, армянском и др.) Во всех этих случаях мы считаем возможным сравнение и возведение к единой форме или по крайней мере к нескольким сходным формам тех явлений, которые обнаруживаются во всех или нескольких исторических языках, называемых «индоевропейскими».

Возникает, однако, вопрос, имеем ли мы право складывать вместе эти отдельные восстановленные формы с целью создания на их основе хотя бы в общих чертах грамматики или словаря какого-то определенного языка так, как это мы делаем не только для живых, но и для мертвых языков, на которых у нас сохранились достаточно полные письменные памятники (например, готский или старославянский)? Уже в книге И. Шмидта о родственных отношениях индоевропейских языков мы находим золотые слова: «Полученная в результате реконструкции исходная форма слова, основы или суффикса представляет собой не что иное, как последний достигнутый нами результат в исследовании данного языкового элемента и только как таковой имеет значение для языкознания. Однако как только, складывая вместе большее или меньшее число таких исходных форм, мы начинаем думать, что получили из них какую-то часть праязыка, большую или малую, относящуюся к одному времени, мы теряем почву под ногами. Различные исходные формы могли возникнуть в разное время, и у нас нет никакой уверенности в том, что форма *A* оставалась неизменной, в то время как появилась форма *B*, и что возникшие одновременно с ними формы *C* и *D* не претерпели изменения за это время. Если же мы захотим написать на таком праязыке связное предложение, может случиться, что оно, даже при условии правильности реконструкции каждого элемента в отдельности, будет в целом выглядеть не лучше, чем перевод какого-нибудь отрывка из евангелия, часть слов которого мы возьмем из Вульфилы, часть из так называемого Татиана, часть из переводов Лютера, так как в индоевропейском праязыке отсутствует историческая перспектива» [6]. Я бы добавил, что опасность склеивания элементов, принадлежащих к разным эпохам и, возможно, к разным ареалам (представьте себе слово из русского корня и украинского окончания), существует не только при составлении фраз, но и при составлении отдельных слов, парадигм и фонологических схем. Поэтому мы охотно подписываемся под словами Шмидта, следующими за приведенной только что цитатой: «Праязык, рассматриваемый как единое целое, остается пока что научной фикцией. Конечно, эта фикция существенно облегчает исследование однако то, что мы называем сегодня праязыком, не соответствует никакой исторической реальности».

---

[5] Подобное же явление можно отметить и для звука *p*, который в некоторых балтийских и славянских языках произносился или произносится вместо *f* в заимствованных словах, так что, например, в литов. *pantãplis* и *pantùpelis* «туфля» исчезло противопоставление *p* — *f*, присутствующее в польск. *pantofel* и в нем *Pantoffel*, лежащих в основе литовского слова.

[6] I. Schmidt, Die Verwantschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen, Weimar, 1872, стр. 30 и сл.

Действительно, индоевропейский язык в наших учебниках по сравнительному языкознанию описывается путем проецирования отдельных реконструированных элементов на одну плоскость, как будто бы эти формы принадлежали одной системе, единой во времени и в пространстве. Между тем, если мы будем подходить к вопросу с позиций истории, а не заоблачных высот отвлеченных теорий, именно это кажется невероятным. Для всякого, кто считается с реальными языковыми фактами, изучаемыми в их современных взаимосвязях, очевидна иллюзорность «единого» индоевропейского праязыка в III тысячелетии до н. э., когда возможность связи между людьми, которые должны были на нем говорить на территории, простирающейся от Рейна до Кавказа, была ничтожно мала не только по сравнению с сегодняшним днем, но даже с возможностью связи в Римской империи, или в германских, или в славянских областях в эпоху Средневековья. Следует подчеркнуть, что временное и территориальное различие отдельных реконструированных элементов, которые отнюдь не всегда можно свести к одному общему типу (как, например, в формах презенса глагола «быть», где существовали три варианта: **senti*, **sonti* и отсутствие собственной формы для 3-го лица мн. числа в балтийском ареале), мы должны признать не только в лексике и морфологии, но и для фонологических единиц. Уже говорилось, что в традиции, к которой восходят балтийские и славянские языки, отсутствовала оппозиция «звонких» и «звонких придыхательных». Равным образом можно предположить, что, в отличие от санскрита, греческого и некоторых армянских диалектов, где можно реконструировать «звонкие придыхательные», в языках, давших начало германским, латыни, оскско-умбрскому, место «звонких придыхательных» занимали простые сонорные спиранты; что если в одних языках (армянский, албанский, тохарский, санскрит [7]) можно заметить следы трех гуттуральных серий — так называемых палатальных, велярных и лабиовелярных, в других с самого начала существовала оппозиция лишь двух серий, т. е. велярных и лабиовелярных или палатальных и велярных. Возможно, конечно, что в некоторых случаях отсутствие той или иной серии в оппозиции явилось результатом последующей эволюции, однако видеть повсюду следствия позднейшей эволюции в угоду догме об изначальном единстве индоевропейского праязыка—значит переходить из области науки в область слепой веры. Так, многие исследователи при рассмотрении явлений, допускающих реконструкцию общего прототипа (Grundform), но встречающихся не во всех индоевропейских языках, в угоду той же неправильной концепции приходят к выводу, что и «общий прототип» был индоевропейской формой, обязательно присутствовавшей во всех областях, где, как предполагается, говорили на общем индоевропейском, и если эта отдельная форма не зарегистрирована в каком-либо индоевропейском языке, то язык этот утратил ее в доисторический период своего развития. Естественно, мы не можем исключить возможность подобного рода «утрат», но было бы наивным полагаться на них как на единственную причину отсутствия той или иной формы [8].

Из всего этого следует, что «научная фикция», согласно которой индоевропейский праязык представляет собой синхронную систему, может до известного предела быть полезной в качестве отправного пункта

---

[7] Ср.: «Archivio glottologico italiano», XLVI, 1961, стр. 12 и сл.

[8] Ср.: V. Pisani, [рец. на кн.:] R. Birwé, Griechisch-arische Sprachbeziehungen im Verbalsysteme, «Archivio glottologico Italiano», XLI, 1956, стр. 151 и сл., особенно стр. 159 и сл.

для некоторых исследований, но только при условии, что мы всегда будем отдавать себе отчет не только в гипотетичности, но и просто в иллюзорности подобной концепции. Однако необходимость в этой научной фикции сразу же исчезает, как только мы сталкиваемся с частными проблемами, требующими исторического обоснования. Например, мы можем пользоваться знаками *n̥*, *m̥* просто как общими указателями, резюмирующими реальные факты, представленные в санскритском *a* (*an*, *am*), в греческом α (αν, αμ), в латинском *en*, *em*, в германском *un*, *um* и т. д.; но если мы поверим в реальную консистенцию этих *n̥*, *m̥* и начнем исследовать вопрос, каким образом эти воображаемые фонемы перешли в явления, известные нам из исторических языков, мы воскресим старую, лишенную всякого основания проблематику «теории сонантов» (Sonantentheorie). В действительности — и тут я перехожу к ответу на логический парадокс Георгиева — мы сравниваем не языки, а отдельные явления, понимая под «явлением» любую фонему, морфему, синтаксическую конструкцию или структуру. Из этих сравнений естественно вытекают «реконструкции», и относительно каждой из этих реконструкций мы должны с точностью установить, являются ли они чисто вспомогательными показателями общности сравниваемых фактов (как *n̥*, *m̥*) или же представляют собой историческую реальность (например, **esti*).

Относительно систем и структур я хотел бы здесь уточнить, что они присутствуют в каждом языковом акте, в любом данном высказывании; естественно, что эти структуры будут почти идентичными в языковых актах одного индивидуума и других индивидуумов, принадлежащих к тому же самому языковому коллективу, в особенности если они получили одинаковое воспитание и т. п., так что из этих актов можно извлечь систему изоглосс, составляющую синхронный «язык» определенного коллектива в определенный исторический момент; повторяя и расширяя эту абстракцию, можно подвести под понятие «языка» языковые акты, основанные на одной и той же языковой традиции на все более широкой территории и для все более длинного отрезка времени, вплоть до того, что мы можем обрисовать «систему изоглосс», например, для итальянского языка от 1200 до 1960 г. Конечно, при этом количество изоглосс будет прогрессивно уменьшаться, и схема будет становиться все более бескровной и неточной. В этом смысле теоретически возможно наметить схему «индоевропейского праязыка», объединив изоглоссы, реконструированные для каждого отдельного элемента. Разумеется, что этой схемой можно воспользоваться для некоторых общих утверждений, например, о том, что «индоевропейский» язык в основном синтетический или что в нем рядом с парадигмами аналогическими (тип *lupus* : *lupi*; *dico* : *dixi* и т. д.) существовали парадигмы аномальные и супплетивные (типа *femur* : *feminis* и т. п., *sum* : *fui* и т. д.). Но не следует забывать, что все это — импрессионистические впечатления, исходящие из абстракции и мало подходящие или вовсе не приемлемые в исследовании, которое претендует на историчность, т. е. на соответствие действительности.

Итак, сравнительное индоевропейское языкознание имеет полное право на существование лишь в том случае, если оно будет ограничиваться сравнением явлений и реконструкцией «праявлений», а не «праязыков» в смысле строго единообразных языковых систем.

Обратимся теперь к другому кругу проблем, а именно к понятию языкового родства. По этому вопросу я могу сослаться как на мою старую

статью «Языковое родство» («Parenté linguistique»)[9], так и на то, что я недавно высказал по поводу рецензии Х. Рикса на книгу Харсекина[10] (Charsekin, Zur Deutung etruskischer Sprachdenkmäler, Wiesbaden, 1963). Харсекин предлагает для толкования этрусских памятников «комплексный» метод, основанный на соединении «этимологического» и «комбинаторно-билингвистического» методов; по поводу первого из этих методов Рикс пишет, что он неприемлем, так как нам неизвестны языки, родственные этрусскому. Термины «родственный» и «неродственный» обозначают, по Риксу, исключающие друг друга понятия, если мы припишем им единственно правильное содержание, а именно: языки родственны, когда они развились из одного и того же источника. Однако предположим, например, что мы ничего не знаем о предыстории современного английского языка. Находя в нем такие слова, как *bind*, *both*, *reck*, с одной стороны, и *cross*, *marry*, *pass*, с другой, представляющие собой старые, давно укоренившиеся в языке элементы, а не недавние заимствования, мы должны решить, с каким же языком английский находится в родстве, с англосаксонским, к которому восходят первые три слова, или со старофранцузским, к которому восходят последние три. А почему же нельзя сказать, что он находится в родстве с обоими языками? Если мы должны были бы толковать английский текст, не имея об этом языке никаких предварительных знаний, разве не было бы запрещено на основании положения Рикса прибегать к сравнению с французским (или с англосаксонским)? Или, может быть, мы должны сначала решить, находится ли английский в родстве с германскими языками или с французским, чтобы наше сравнение было «законным»? Речь идет при этом не только о лексическом родстве. Если в английском мы находим конструкцию *forty-nine* вместо *nine-and-forty*, мы вправе считать, что совпадение с французским *quarante neuf*, а не с англосаксонским *nigon and feowertig* или с немецким *neun und vierzig* является одним из случаев «родства» французского и английского. То же самое можно сказать и об отсутствии склонения, замененного в английском, как и во французском, фиксированным порядком слов и сочетаниями с предлогами, о смешанном происхождении суффиксов, глагольных (например, *-ize*) и именных (например, *-ty*) и т. д.

Аналогичный случай представляет собой румынский, содержащий элементы не только латинского, но и славянского происхождения, которые мы находим в фонологии и лексике, в структуре языка (например, сохранение или частичное восстановление склонения, в котором, между прочим, можно обнаружить также следы фракийского влияния), а также в морфологии. Мы не упомянули при этом о связях с другими балканскими языками, в особенности с албанским. Во имя чего Рикс, а с ним и многие современные лингвисты хотели бы запретить нам говорить об англо-французском или румыно-славянском родстве? Ответ очевиден: во имя такой концепции языкового родства, которая возникла (в чем многие из названных лингвистов не отдают себе отчета) на основе шлейхеровского понимания языка как естественного организма, уподобления языкового развития эволюции животных и растительных родов и видов и вытекающей отсюда теории генеалогического древа языков, т. е. таких идей, которые сегодня никто не решился бы сознательно защищать[11].

[9] «Lingua», III, 1952, стр. 13 и сл. (перепечатано в кн.: V. Pisani, Saggi di linguistica storica, стр. 29 и сл.).

[10] «Studi etruschi», XXXIII, 1965, стр. 533 и сл.

[11] Ср. мою статью «Augusto Schleicher e alcuni orientamenti della moderna linguistica» в кн.: V. Pisani, Saggi di linguistica storica, стр. 1 и сл., а также в «Archivio glottologico Italiano», XLVI, 1961, стр. 3 и сл. Этим я не хочу сказать, что Рикс разделяет идеи Шлейхера, но современные концепции о родстве, принятые Риксом, восходят к этим идеям.

Рикс делал различие между родством и заимствованием. Первое, по его мнению, связано с происхождением из единого источника, второе, очевидно, хотя Рикс этого не говорит прямо, есть нечто привнесенное в данный язык — в случае, если речь идет о заимствовании из родственных языков — уже после того, как он отделился от языка или языков, из которых приходит заимствование, вместе с которыми, согласно генеалогической концепции, он восходит к единому «прародителю». Но что представляет собой этот «прародитель»? Если мы отвергнем идеи Шлейхера о праязыках, подобных языку Адама и Евы, который, согласно библейскому преданию, был древнееврейским, праязыках, возникших благодаря деятельности «Духа народов», сперва создавшего языки, чтобы потом приступить к созданию истории, если мы не захотим принять этих идей и начнем применять к «праязыкам» опыт наблюдения над реальными языками и диалектами, нам следует исходить из положения, что каждый языковой факт, как и всякий другой результат человеческой деятельности, исходит из одного определенного места, в конечном счете от одного индивидуума, и распространяется (если не погибает, едва появившись) через других индивидуумов внутри коллектива, или от одного коллектива к другому со всеми возможными вариациями, которые возникают благодаря способу передачи языковых явлений через целый ряд индивидуальных речевых актов. Каждый языковой факт образует таким образом свою изоглоссу, которая обычно не совпадает с площадью распространения других изоглосс и может не совпасть с границами диалекта и даже языка. Это означает, что каждый языковой факт есть результат заимствования, и определение его в рамках данной традиции как исконного или заимствованного зависит только от относительной хронологии, т. е. от произвольно выбранного нами пункта во времени. Так, например, в рамках непрерывной традиции, идущей от латыни времен Плавта вплоть до современного итальянского, слово *carrus* рассматривается как кельтское заимствование в латыни (где оно произносилось *currus*), но как исконное слово в итальянском, потому что между «латинским» и «итальянским» мы проводим границу, искусственно разделяющую эти языки (это разделение, конечно, искусственно лишь по отношению к разговорным языкам, об этом см. ниже). Нем. *Kicher* считается заимствованием (от латинского *cicer*) в германском, но исконным словом в немецком, поскольку (и это тоже старое шлейхеровское наследие) между германским и немецким проходит граница, отмечающая момент вычленения немецкой ветви от общегерманского ствола [12].

Таким образом, язык как система изоглосс возникает в каждый данный момент путем объединения распространившихся указанным образом языковых явлений как в отдельных речевых актах, так и в языковой норме коллектива, создающейся из взаимодействия этих речевых актов. Если можно доказать на практике истинность буддийского учения, согласно которому каждое явление есть не что иное, как результат комбинаций Дхарм, или простейших сил, составляющих системы, находящиеся в постоянном изменении, таким доказательством может служить язык или, отвлекаясь от этой абстракции, индивидуальные речевые акты, в которых Дхармы выступают как различные элементы — фонемы, морфемы, структурные модели и т. п., организованные в изменчивую систему, которая в свою очередь является Дхармой, одним из прообразов других систем.

[12] Ср.: V. Pisani, Sull'imprestito linguistico в кн.: «Rendiconti dell' Istituto Lombardo di scienze e lettere», Classe di lettere, LXXIII, 1939—1940, стр. 1 и сл. (перепечатано в кн.: V. Pisani, Linguistica generale e indeuropea, Milano, 1947, стр. 27 и сл.).

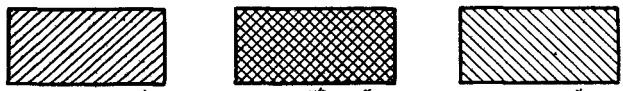
Естественно, что при создании каждого речевого акта основную роль играют элементы, которые говорящий находит в окружающей его среде. Это и составляет непрерывность языковой традиции в каждом данном обществе. Но, не говоря уже о творческих возможностях говорящего, в числе составляющих речевого акта могут оказаться элементы, происходящие из другой языковой традиции, особенно в том случае, если говорящий непосредственно или опосредствованно, плохо или хорошо, владеет еще одним или несколькими языками («опосредствованными» называю те случаи, когда слова, звуки или модели чужого языка попадают в язык индивидуума через посредство его двуязычных собеседников). На каком же основании мы будем отказывать в праве гражданства элементам любого происхождения, которые прочно вошли в язык как существенная его часть? Почему я должен считать не вполне итальянскими такие слова, как *zio* (из θεῖος), артикль (имитация греческого артикля), суффикс в слове *guerreggiare* (восходящий к греческому-ίζειν) и т. п., только потому, что они греческого происхождения, так же как палатализацию и монофтонгизацию *k* и *ae* в слове *cielo* по сравнению с латинским *caelum* (произносилось *kaelum*), или форму *semo* из *sĭmus* вместо *sŭmus* (как в оскском *sim* вместо *sum*, см. выше), или претериты на-*etti* в южноитальянских диалектах: *facetti*, *dicetti* и т. п. (ср. оскск. *prúfatted* — лат. *probavit*), только потому, что они восходят к оскским и умбрским образцам? Итак, мы должны сказать, что итальянский в первую очередь происходит от народной латыни и, следовательно, находится с французским, испанским и т. д. в отношениях родства первой степени, с оскским и умбрским (мертвыми языками) состоит в родстве второй степени, с греческим — в родстве третьей степени и т. д.

В таких случаях большая или меньшая степень родства будет зависеть от большего или меньшего количества общих для двух языков элементов и от большей или меньшей важности роли, которую они играют в системе — причем критерий «важности», может быть, окажется отчасти субъективным. При определении степени родства имеет большое значение также географический фактор, т. е. территория, на которой говорят на языке, образовавшемся в результате слияния. В случае франко-германского симбиоза, из которого образовался английский, важность обеих составляющих примерно одинакова; тем не менее мы считаем английский германским языком, и в этом определении играет не последнюю роль тот факт, что по-английски говорят там, где раньше говорили по англосаксонски. Если бы в результате других исторических обстоятельств — завоевания северной Франции англосаксами — то же слияние языков произошло на территории Франции, очень возможно, что возникший язык был бы определен как романский.

Здесь мне хотелось бы внести одно уточнение. На IV Международном съезде лингвистов в Милане в 1963 г. по поводу моего доклада о германской языковой общности А. Шерер заметил [13], что между германскими языками существует ярко выраженное сходство (ausserordentlich enge Zusammengehörigkeit): «оно проявляется прежде всего в способе оформления языкового представления (немец, который говорит по-французски или по-итальянски, должен заново „передумывать“ почти каждое предложение, в случае же, если он говорит по-английски, это случается гораздо реже)». Но по поводу английского будет столь же справедливым утверждение, что итальянец (или француз), который захотел бы составить фразу на этом языке, также не должен был бы часто прибегать к

[13] Ср. «Le protolingue», «Atti del IV Convegno Internazionale di linguisti», Milano, 1965, стр. 50.

мысленным преобразованиям в целях приспособления к чужой синтаксической модели, как он это делает в случае перевода на немецкий. Другими словами, английский язык, сложившийся из германских и французских элементов, легко приспосабливается как к германским, так и к романским языковым навыкам. Я сказал бы даже, что в том, что касается «внутренней формы», он ближе скорее к романским языкам, что можно легко заметить при обучении английскому и немецкому итальянских школьников. В общих чертах взаимоотношения между этими языками можно изобразить схематически следующим образом:



французский английский немецкий

Возвращаясь к вопросу о языковом «родстве» и, следовательно, к отнесению какого-либо языка к той или иной семье, я хотел бы обратить внимание на то, что мы относим к индоевропейским языки, о которых у нас имеется очень мало сведений, как, например, фригийский, фракийский и даже хеттский или ликийский и т. п., только потому, что часть элементов, содержащихся в дошедших до нас письменных памятниках, соответствует аналогичным индоевропейским формам. Спрашивается, однако, в какой мере содержат они элементы «неиндоевропейского анатолийского»? Тот же вопрос возникает в отношении языков, которые нам хорошо знакомы, но часть предыстории которых остается нам неизвестной. Так, например, латинский язык содержит ряд элементов индоевропейского происхождения; но какая доля всего языкового материала должна быть отнесена к неиндоевропейскому субстрату Италии, и не только в лексике, но и в фонетике (например, *a* в словах *quattuor*, *pateō* и т. д.), в морфологии (например, *b* в *legēbam*, суффикс-*ārio* ~) в синтаксисе? Мы читаем множество исследований, посвященных происхождению латинских футурума и имперфекта на *-b-*, германских слабых перфектов на *-d-*, греческого пассивного аориста на -θη-, исследований, исполненных учености и остроумия, выводы которых тем не менее оказываются весьма сомнительными. Причины этой неясности и произвольности заключаются в том, что авторы этих исследований исходят из предпосылки, что эти морфемы должны быть обязательно индоевропейского происхождения. Но разве здесь нельзя предположить более или менее отдаленного неиндоевропейского происхождения? При этом под «отдаленным происхождением» я подразумеваю также возможность возникновения какой-либо из этих форм в период индоевропейской общности, но из элементов, отличных от «протосанскритских» (об этом см. ниже). Это предположение может навести нас на мысль о плодотворности сопоставления германского претерита на *-d-* (восходящего к *-t-*, ср. такие формы, как гот. *kunþa*, *wissa*, *þaúrfta*, *ga-daúrsta*, *ohta*, *mahta*, *aihta*, *brahta* и т. п., где не мог действовать закон Вернера) с оскским перфектом на *-tt-* как форм, происходящих из центральноевропейского субстрата, подвергшегося индоевропеизации.

Возвращаясь к вышеизложенным «географическим» соображениям, я хотел бы подчеркнуть важность предложения, выдвинутого Дж. Девото [14],— «написать языковую историю Румынии, исходя из ее территориальных границ, независимо от непрерывности ее языковых традиций», параллель-

[14] Сб. «Omagiu lui Iorgu Iorgan», București, 1958, стр. 236.

но с «историей румынского языка». Мне кажется, однако, что именно эта «языковая история Румынии» составила бы в конечном счете подлинную «историю румынского языка».

Следует отметить, во-первых, что само перенесение значения слова «родство» принудило бы нас принять в расчет также случаи более или менее тесного «родства», кроме просто «генеалогического». Но это малодоказательно. Во-вторых, было бы полезно учитывать хронологию проникновения различных элементов, исходящих из наиболее важного источника, питающего данный язык. Однако наиболее существенным из всего сказанного представляется мне то обстоятельство, что при рассмотрении понятия языкового «родства» мы пришли к выводам, аналогичным тем, которые были изложены в ответе на критику Георгиева, а именно: мы сравниваем я в л е н и я (в указанном выше смысле этого слова), определяя для каждого из них, каким образом они складываются в систему в индивидуальном речевом акте или в целом ряде таких актов, из которых мы извлекаем отвлеченное понятие «языка».

*

Обратимся теперь к некоторым наблюдениям, касающимся глубокого различия между письменным языком или литературным языком вообще и языком разговорным. Уточним сразу же, что литературный язык не обязательно должен быть письменным, как, например, первоначально язык ведических гимнов и возможно также язык гомеровских аэдов.

Когда в 813 г. Турский собор приказал произносить проповеди на народном языке вместо латыни или когда в романских странах писатели вместо латыни впервые стали пользоваться соответствующими народными языками — провансальским, старофранцузским, итальянским — как языками письменными, произошла сознательная ломка языковой традиции; можно сказать, что в таких случаях в один прекрасный день кто-то решил: «довольно писать (проповедовать) по-латыни, начнем писать (проповедовать) на родном языке». Однако совершенно очевидно, что в истории обиходной речи никогда не было такого дня, когда кто-нибудь мог сказать: «с сегодняшнего дня мы не будем больше говорить на народной латыни, а заговорим по-провансальски, по-французски, по-итальянски». В этом заключается четкое различие между письменным, точнее литературным языком и разговорной речью, т. е. тем языком, которым пользуются члены человеческого общества для нормального общения: первый всегда ориентируется, с большим или меньшим успехом, на определенные образцы и поэтому приобретает относительно стабильную форму, так сказать застывает в одном из своих обличий, второй, напротив, находится в непрерывном, лишенном четких градаций, изменении. Пользуясь сравнением, которое имеет лишь относительную ценность, как всякое сравнение, можно сказать, что литературный язык подобен течению воды, прерываемому время от времени водопадами, между которыми лежат спокойные затоны, тогда как разговорный язык — это река, текущая по более или менее крутому склону, с большей или меньшей быстротой, но без того, чтобы можно было говорить о внезапном изменении этого движения. Как-то Фосслер заметил, что романские языки это современная латынь. Если под «романскими языками» мы будем понимать языки и особенно диалекты, употребляющиеся в сфере ежегодного обиходного общения, эта формулировка вполне приемлема в том смысле, что между разговорной латынью и этими языками нельзя заметить внезапного перехода.

Разумеется, литературный и разговорный языки находятся в постоянном взаимодействии, и первый всегда сохраняет известный контакт со

вторым, второй же в известной степени ориентируется на первый как на образец, получая таким путем некоторую стабильность, всегда лишь относительную — распространяющуюся вширь на большую территорию (тем самым и на диалекты этой территории), а также вглубь, на различные социальные слои населения. Так образуется относительное языковое единообразие как в горизонтальном (географическом), так и в вертикальном (историческом) направлениях. Не касаясь пока этих проблем, остановимся прежде всего на причинах различия между литературным языком и разговорным и на различной степени их стабильности.

Как уже было сказано, относительная стабильность литературного языка, существующего в письменной или в достаточно прочной устной форме, обусловлена его ориентацией на установленные образцы, рядом с которыми действуют, в значительно меньшей степени, модели другого происхождения, главным образом исходящие из разговорного языка. Традиционные модели литературного языка внедряются в виде правил не только на практике, но и путем их кодификации в грамматиках, словарях, стилистиках и т. п. Под влиянием этих литературных моделей находится прямо или косвенно всякий, кто берет в руки перо, пусть даже для того чтобы написать одну из тех «nugae», которыми исписаны стены Помпеи, или чтобы создать какой-нибудь стих или формулу, так или иначе связанную с литературной традицией.

Однако разве в языковом творчестве повседневной речи отсутствуют модели? Разумеется, нет, иначе каждый говорящий выражал бы только свои моментальные впечатления при помощи звукоподражательных средств, и общение между людьми, представляющее основную функцию языка, оказалось бы невозможным, так же как оно по существу невозможно между двумя людьми, из которых один говорит только по-французски, а другой только по-немецки[15].

Но все это не означает, что говорящие избирают в качестве модели нечто нематериальное, подобно платоновским идеям. Эти модели говорящие создают себе сами, извлекая их из речевых актов своих сограждан, так же, как люди учатся ходить, действовать определенным образом, одеваться по принятой моде и т. д., не по книгам, содержащим соответствующие нормы, но следуя поведению других людей. Таким образом, не существует образцового «языка» для повседневного общения, с синхронной схемой, подобной прокрустову ложу; схема эта, как мы уже говорили, должна отображать только то, что есть общего в единичных речевых актах, т. е. изоглоссы, порожденные в процессе речевой деятельности.

В то же время, как уже было сказано, между письменным или устным литературным языком и разговорной речью существует постоянный контакт, своего рода двуязычие, более или менее ярко выраженное, которое свойственно людям всякого общества, обладающего каким-либо литературным языком. Поэтому модели литературного языка могут воздействовать более или менее непосредственно на разговорную речь, в результате чего различные ее разновидности сохраняют или приобретают более единообразую форму внутри общества, пользующегося одним и тем же литературным языком. Нет никакого сомнения, что резкие диалектные раз-

[15] По этому поводу можно привести факты, указанные Максом Мюллером во второй главе его «Lectures on the science of language» (London, 1861) относительно быстрого изменения языка у некоторых полудиких племен Северной и Центральной Америки. По поводу отсутствия сдерживающего влияния традиции я мог бы добавить в качестве примера случай, рассказанный мне А. Вассерманом из Виллабасса (Больцано). Речь идет о двух мальчиках, живших на затерянной в горах Альто Адидже ферме, которые, не имея возможности часто говорить со своими родителями, целый день проводившими на полевых работах, в конце концов создали себе язык, понятный только им двоим.

личия, возникшие в разных областях Римской империи в результате усвоения латыни иноязычным населением и разных способов романизации, находили себе противовес в латинском обиходном языке (Umgangssprache), который, хотя и обладал многочисленными региональными и социальными вариантами, тем не менее ориентировался в той или иной степени сознательно и активно на письменный язык литературы, школы, администрации. То же самое можно сказать и о немецких диалектах, особенно о нижненемецких в их отношении к верхненемецким, испытывавших сильное влияние со стороны литературного языка, особенно после эпохи Лютера; то же мы видим и в Италии, где диалекты, несмотря на резкое различие между ними, часто препятствующее взаимопониманию между говорящими на разных диалектах, объединяются благодаря наличию общеитальянского разговорного языка, который, хотя и обладает региональными вариантами, принимает все более унифицированный характер под воздействием литературного языка, являясь, таким образом, наследником латинского Umgangssprache, по крайней мере в тех социальных кругах, которые прежде всего пользуются этим языком [16].

Поучителен также пример языков славянских народов, принявших православие и сохранявших долгое время общие культурные традиции благодаря церковному литературному языку, основанному на древнеболгарском эпохи Кирилла и Мефодия и послужившему образцом для таких литературных языков, как русский, сербскохорватский и т. д., возникших, впрочем, сравнительно недавно [17]. Чтобы не утомлять читателя излишними примерами, укажу в заключение еще на ту роль, которую, начиная с эпохи Гомера, сыграл литературный греческий язык в процессе приспособления различных диалектов к ионическо-аттическому образцу, вплоть до образования койне.

*

Эти общие замечания в достаточной мере показывают, насколько важным мне представляется учитывать возможность наличия литературного языка при рассмотрении индоевропейской проблемы, тем более, что существование индоевропейского литературного языка кажется все более вероятным благодаря целому ряду специальных исследований [18]. Возвращаясь к этой проблеме, мы должны прийти к согласию, чтобы оперировать в наших дискуссиях четко определенным понятием, а не смутными представлениями. Этим вопросом является понимание термина «индоевропейский».

Говоря об «индоевропейских языках», мы уже определили содержание этого термина как присутствие в этих языках некоторого, большого или меньшего, но в общем определяющего, количества изоглосс, восходящих к индоевропейскому, точнее к индоевропейской языковой общности, так

[16] Ср.: V. Pisani, In margine a due libri di storia della lingua italiana, «Paideia», XVIII, 1963, стр. 6 и сл. О письменном и разговорном языке см.: В. Г. Костомаров, О разграничении терминов «устный» и «разговорный», «письменный» и «книжный», сб. «Проблемы современной филологии», М., 1965, стр. 172 и сл.

[17] Об унифицирующей функции церковнославянского см. особенно: R. Picchio, A proposito della Slavia ortodossa e della comunità linguistica slava ecclesiastica, «Ricerche Slavistiche», XI, стр. 105 и сл.

[18] Проблеме поэтического индоевропейского языка будет посвящен сборник статей, объединенных заглавием «Indogermanische Dichtersprache», составляемый Научным книжным обществом Дармштадта. См. библиографию по этому вопросу в диссертации: R. Schmitt, Studien zur indogermanischen Dichtersprache, Saarbrücken, 1965; ср. также дипломную работу моей студентки: L. Porrino, Studi sul linguaggio poetico indeuropeo, представленную на филологический факультет Миланского университета в 1965 г.

же, как романские языки определяются наличием в них основных изоглосс, ведущих свое начало от того относительного языкового единства, которое мы называем народной латынью. Но что собой представляет этот «индоевропейский» или это «индоевропейское единство»? Точнее, что мы должны себе представить за этими словами?

Большинство из нас понимает более или менее сознательно под данным термином последний этап этого единства, когда входившие в него диалекты находились еще в непосредственной или опосредствованной связи друг с другом и еще не имели места первые «расхождения», вызванные миграциями, политическим или каким-либо иным обособлением, которое могло возникнуть при объединении некоторых племен вокруг какого-либо нового центра, иногда в результате завоеваний иноязычных народов и образования новых объединений, которые я называю вторично-этническими (deuteroetniche), возникших вследствие этих «расхождений». Разумеется, этот «последний этап индоевропейского единства» мог продолжаться несколько веков, потому что это единство вряд ли могло рассыпаться мгновенно, как бомба в момент взрыва. Процессы, описанные выше, могли быть гораздо сложнее. Сравнение с народнолатинским языковым единством также довольно шатко, поскольку невозможно предположить в основе индоевропейского языкового единства такую же централизованную социальную и государственную организацию, какая существовала в Римской империи. Более подходящим было бы в этом отношении сравнение с германским или еще лучше восточно- и южнославянским единством. Несмотря на то, что у восточных и южных славян мы находим множество диалектных вариантов, которые в дальнейшем еще более расходятся или изменяют свои границы вследствие событий политического или иного характера (например, нашествия мадьяр и татар, а позже турков, создания различных государств и т. п.), все же между этими диалектами сохранялась глубокая языковая близость, допускающая возможность общения, которое выражалось в употреблении вплоть до начала XIX в. общего литературного языка — церковнославянского, конечно, зачастую испытывавшего влияние со стороны местных говоров (как уже говорилось выше).

Точно так же в дошедших до нас древних индоевропейских языках, языках литературных (что я хотел бы подчеркнуть), отражаются элементы говоров, обладавших многими общими чертами, однако не сводимых к абсолютному единству ни в синхронном плане, ни в их историческом развитии, которое, конечно, в отдельных случаях могло протекать согласованно, однако не всегда и не для одних и тех же групп. При этом в роли, аналогичной церковнославянскому в истории славянских языков, особенно восточно- и южнославянских, для индоевропейских говоров выступал устный литературный язык, отразившийся наиболее ярко в уже упомянутом «индоевропейском поэтическом языке», в ведической поэзии и в санскрите брахманов (даже в его разговорной форме) и оставивший несомненный след в древнейших литературных языках различных индоевропейских народов. Эти литературные языки, включая, разумеется, и ведический, испытывали со своей стороны воздействие индоевропейских говоров, которые в свою очередь явились результатом усвоения древних индоевропейских диалектов населением тех областей, куда они были привнесены, а с другой стороны, представляли собой продолжение говоров, уже существовавших внутри индоевропейской языковой общности, но отличных от литературного языка по вышеуказанным причинам.

В этой связи следует обратить внимание на очень существенное замечание Ю. Покорного, согласно которому в современных кельтских языках появляются следы влияния субстрата, отсутствовавшие в старых язы-

ках, поскольку эти последние, известные нам только по литературным памятникам, были консервативны как всякий литературный язык и фиксировали изменения, происходившие в разговорном языке лишь случайно. Эти изменения утвердились в литературном языке значительно позднее, в результате вытеснения старых правящих классов низшими классами, подобно тому как мода на длинные брюки, сохранявшиеся в народе со времен Средневековья, но замененные у высших классов короткими штанами и чулками, становится всеобщей после Французской революции в результате крушения дворянства и возвышения низшего сословия.

Этот «индоевропейский» или это «индоевропейское единство» следует, таким образом, отличать от того, что мы можем назвать «протоиндоевропейским», т. е. от языка, который послужил образцом для «индоевропейского единства», распространившегося на обширной территории, подобно тому как латынь города Рима служила моделью в процессе образования народной латыни. Подобно тому как народная латынь в ее непосредственных преемниках — современных романских диалектах обнаруживает присутствие элементов древних языков тех народов, которые восприняли латынь Рима в более или менее измененном виде в зависимости от времени и способа романизации, точно так же сквозь различные известные нам индоевропейские языки просвечивают не только остатки «субстратов», лежащих в основе индоевропейских диалектов, отделившихся от своей предполагаемой прародины и давших начало индоевропейским языкам, т. е. греческим диалектам, языкам древней Италии и т. д., но также и следы древних языковых стратификаций, предшествовавших распространению протоиндоевропейского на этой древней родине, т. е. существовавших в древних германских, балтийских, славянских диалектах, а также обнаруживающихся в отдельных элементах, общих для этих диалектов и для латинского, греческого и т. д. [19]. И если я, во избежание путаницы, возникшей от злоупотребления термином «Urindogermanisch», а также для приближения к исторической реальности, употребляю термин «протосанскрит» или «пресанскрит» вместо «протоиндоевропейский», я это делаю с тем, чтобы подчеркнуть, что в санскрите, в наименьшей степени подвергшемся влиянию со стороны неарийских народов за пределами этой «древней родины», я вижу наиболее непосредственное продолжение ведущего языка (lingua pilota), под эгидой которого создавалось индоевропейское языковое и общественное объединение.

Таким образом, когда мы реконструируем фазу языкового единства, предшествовавшего образованию различных древних индоевропейских языков, мы должны помнить как с чисто грамматической, так и исторической точек зрения, т. е. рассматривая язык в его «внутреннем» и «внешнем» аспектах, ни один из которых нельзя анализировать изолированно от другого, не впадая в ошибку, существование трех слоев: 1) диалекты индоевропейского единства, во всем их пространственном и временном многообразии; 2) «протосанскрит» как разговорный язык; 3) «литературный индоевропейский язык», восходящий к литературному употреблению «протосанскрита», особенно среди сословия жрецов и под их влиянием (через бардов, аналогичных индийским sūta), также среди военного класса, но, с одной стороны, испытывавший несомненное языковое влияние со стороны разговорных диалектов, входящих в индоевропейское единство, с другой стороны, в свою очередь оказывавшего уни-

[19] Например те, которые я пытался отыскать в моих «Studi sulla preistoria delle lingue indoeuropee» (стр. 547—653), работе более чем тридцатилетней давности (она вышла в Риме в 1933 г. и была написана в 1930 г.) и нуждающейся в добавлениях и исправлениях, и которые можно найти в моих более поздних работах, среди них «Geolinguistica e indoeuropeo», довольно старая книга (она появилась в 1939 г.).

фицирующее воздействие на эти диалекты, в зависимости от степени политического, культурного и религиозного престижа этого класса, состоящего, по крайней мере отчасти, из «протобрахманских» завоевателей. Поэтому в каждом древнем индоевропейском языке можно различить: а) элементы «протосанскритского» происхождения, сохранившиеся во всех индоевропейских языках, за исключением случаев их вытеснения иноязычными формами, постепенно проникавшими в индоевропейское единство; б) элементы «индоевропейского» происхождения, т. е. общие всем или почти всем индоевропейским диалектам, т. е. входящие в группу а) и сохранившиеся в них, а также элементы, появившиеся в результате преобразований, явившихся следствием складывания индоевропейского единства и происходящие или из языков автохтонного населения той территории, на которой распространился индоевропейский или — почему бы и нет? — из языков соседних областей, оставшихся в основном неиндоевропейскими (это могли бы быть, например, угро-финские); в) элементы, появившиеся после распада этого единства, в число которых можно включить формы, общие нескольким языкам благодаря последующим языковым контактам или происходящие из общих для некоторых языков субстратов и суперстратов.

Во всех этих наслоениях нужно также всегда учитывать социальный фактор, так как одни явления могут происходить из литературного языка, другие — из языка правящих классов, третьи — из языка низших классов, которые в определенный момент, достигая более высокого социального положения, привносят в литературный язык, иногда в корне изменяя его, свои языковые нормы, зачастую сохраняющие более глубокие следы соответствующих субстратов.

Разумеется, что для эпохи «европейского единства», продолжавшейся века и, может быть, тысячелетия, следует иметь в виду также возможность образования изменчивых «подъединств», аналогичных по своей сути и по вызвавшим их причинам германским политическим и языковым «Grosstämme», на которые указывает В. М. Жирмунский в своем «Введении в сравнительно-историческое изучение германских языков» (М.—Л., 1964). Эти политические и языковые союзы представляют собой, таким образом, переплетение диалектов и смешанных языков («Mischssprachen») на основе истории культуры, которая определяется или военно-политическими завоеваниями или объединяющим воздействием экономических, религиозных и других факторов.

В заключение можно сказать, что языковые союзы основываются на существовании культурных объединений и могут привести к возникновению новых языков, внутри которых находят свое продолжение некоторые или многие явления (слова, фонемы, фонологические схемы, морфемы, синтагмы, структуры) древнейших ячеек и группировок, сохранившихся в процессе постоянных схождений и расхождений, наблюдаемых нами в истории языков [20].

Эти положения нужно учитывать также при характеристике «протосанскрита», т. е. того ядра, которое составляет по выше рассмотренным причинам самую глубокую и древнюю основу индоевропейского единства и образовавшихся из него языков. Согласно старой мифологической концепции Шлейхера, протоиндоевропейский, как и протосемитский, протоугрофинский, протокитайский и т. д., представлял собой конечный результат языкотворчества «народного духа», который, доведя до совершенства язык, обратился потом к созданию истории. Оставленный на про-

[20] Чтобы выразить здесь мысль, которую я намереваюсь изложить в другом месте, старое понятие «праязыка» необходимо заменить понятием «языкового союза».

извол судьбы, язык с этого момента находится в состоянии упадка, сохраняя, однако, неизменной свою сущность и оставаясь непроницаемым по отношению к другим языковым традициям, как и подобает всякому естественному организму. Исходя из этих предпосылок и совершенствуя методы Боппа и других романтических искателей «начал», пытавшихся построить предысторию главным образом морфологических элементов языка, Шлейхер пытался реконструировать различные стадии развития индоевропейской морфологии, начиная от моносиллабической, через агглютинативную к флективной, и выяснить изначальную природу (главным образом местоименную) суффиксов и окончаний. Интересно отметить что если мифологическая концепция Шлейхера сегодня не признается уже никем, ее последствия все-таки еще чувствуются в «генеалогических» методах исследования праиндоевропейских языковых фаз. Эти методы, благоразумно отвергнутые еще младограмматиками, например Бругманом, мы находим, например, в попытках Г. Хирта, опираясь на «научную фикцию» («wissenschaftliche Fiktion») реконструируемого индоевропейского праязыка, установить происхождение того или иного морфологического элемента или такого морфонологического явления, как чередование гласных, или в исследованиях Е. Куриловича, более тонких, но по-моему столь же неубедительных, где он пытается описать предысторию индоевропейской апофонии. Действительно, что мы можем знать о путях, приведших к тому индоевропейскому языку, который мы более или менее удачно реконструируем? Кто может с уверенностью сказать, было ли развитие системы этого языка автономным и прямолинейным или представляло собой процесс слияния двух и более языковых типов, как это полагают К. К. Уленбек и другие исследователи [21]?

Так, например, недавно появилась очень интересная книга Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани «Система сонантов и аблаут в картвельских языках» (Тбилиси, 1965) с предисловием Г. В. Церетели, где он подчеркивает типологическое сходство картвельского и индоевропейского и, в частности, их апофонических систем. К этой теме я предполагаю еще вернуться; здесь же мне хочется поставить следующий вопрос: это сходство, лежащее не только в чисто фонологических аналогиях, но, что более существенно, в морфологической функции апофонии, которая во всех языках с течением времени ослабляется, не могло ли быть как раз одним из элементов, принадлежащих тому языку В «кавказского» типа (точнее: южнокавказского), который рассматривался Уленбеком и другими как составная часть индоевропейского? Было бы интересно провести систематическое сравнительное исследование индоевропейского с другими языковыми группами, но уже не с целью реконструкции фантастического «языка-прародителя», согласно устаревшему генеалогическому принципу, а для того, чтобы попытаться отыскать древние изоглоссы, указывающие на контакты и слияния языков и языковых групп, существовавших на территории Евразии в период, предшествовавший установлению индоевропейского, угро-финского, семитского и прочих объединений [22].

Перевела с итальянского *Т. Б. Алисова*

---

[21] Исследования таких праиндоевропейских субстратов индоевропейского были начаты в работах: P. G. Scardigli, Elementi non indoeuropei nel germanico, Firenze, 1960; R. Lazzeroni, Considerazioni sulla formazione del lessico indoeuropeo occidentale, «Studi e saggi linguistici», IV, 1964. Ср. также мою статью «A proposito di etimologia lituana. Questioni di metodo e prospettive storiche», «Studi Baltici», X (в печати).

[22] Хороший обзор этого вопроса см. в книге Б. В. Горнунга «К вопросу об образовании индоевропейской языковой общности», М., 1964; ср. мои замечания в «Paideia», XX, 1965, стр. 26 и сл.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1966

В. СКАЛИЧКА

К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ

0. В настоящее время типологии стали придавать большое значение. Возрастает количество публикаций, в названиях которых появляется слово «типология», вместе с тем возрастает также количество проблем, возникающих в связи с повышенным интересом к типологии. Что такое типология? Имеются ли универсалии в языках? Где, в которых сторонах языка следует искать типологические различия? Каковы предпосылки типологии? Необходимо ли понятие типа в типологии? Таковы вопросы, которым посвящена настоящая статья.

Существует мнение, что различия типологических школ вытекает из различия тех задач, которые последние перед собою ставят [1]. Неправильность этого суждения видна хотя бы из того, что ученые, которые ставят перед типологией очень схожие задачи, конструируют совсем разные типологии, например ван Гиннекен и Н. Я. Марр, Э. Сепир и Дж. Гринберг. Самая важная задача типологии — это сопоставление языков существующих, а также тех языков, реальное существование которых можно предположить или же, напротив, следует признать весьма маловероятным. С этой точки зрения можно сравнивать разные концепции типологии. Точкой отправления типологической работы являются не второстепенные или прикладные задачи типолога (например, требования теории перевода, требования истории языка вообще и т. п.), а теория языка, теория грамматики, семиологии и пр. Эта теория не различается у отдельных типологов в такой степени, чтобы было невозможно сравнивать и оценивать различные типологические школы.

1. Прежде всего необходимо определить, что является общим для всех языков, иначе говоря — каковы языковые универсалии, и наоборот, что именно является специфичным только для некоторых языков. В сборнике американских лингвистов сделана попытка показать такого рода универсалии, трактовать разные виды их: 1) явления, общие для всех языков (или универсалии в нашем понимании); 2) явления, общие для многих языков; 3) явления, общие для всех языков при наличии определенного условия (если есть A, то есть и B); 4) явления, общие для многих языков при наличии определенного условия (если есть A, то, вероятно, есть и B) [2]. Притом, к сожалению, явлениям первой категории уделяется сравнительно немного внимания. Можно сказать, что языки — системы, которые пользуются акустическими сигналами, далее фонемами (т. е. дискретными рекурентными единицами) и грамматикой; эти системы являются иконическими, и можно добавить, что они представляют собою полные системы (т. е. они выражают все, что надобно выразить); причем они могут расчленяться (но не обязательно расчленяются) на отдельные уровни

[1] Г. П. Щедровицкий, Методологические замечания к проблеме типологической классификации языков, сб. «Лингвистическая типология и восточные языки», М., 1965.

[2] «Universals of language», ed. by H. Greenberg, Cambridge (Mass.), 1963; см. также: Б. А. Успенский, Структурная типология языков, М., 1965, стр. 11—17, 179.

(фонологический, морфематический, уровень слова, предложения, высказывания), и их единицы могут подвергаться (но не обязательно подвергаются) классификации (на морфемы, слова, предложения) [3].

Заметим, что в последние годы много писалось о сравнении близкородственных, например славянских, языков, причем часто использовались термины «типология» или «конфронтация» [4]. Если такое использование термина рассматривать в связи с вопросом об универсалиях, то становится ясным, что в данном случае речь идет о совсем других проблемах, чем в общей типологии. Универсалии славянских языков (или других близкородственных языков) принципиально отличаются от универсалий языка вообще. Если говорить о типологии вообще как о макротипологии, то типологию близкородственных языков можно назвать микротипологией.

Попытаемся рассмотреть отдельные стороны языка с точки зрения универсалий. В отношении лексики все языки очень похожи друг на друга. Подавляющее большинство слов имеется во всех языках — в двуязычных словарях только в порядке исключения необходимо прибегать к толкованию (например: русск. *заречье* — нем. *das Gebiet jenseits das Flusses*), обычно же соответствующие слова в разных языках означают то же самое лишь с небольшими расхождениями (например, русск. *рука* — нем. *Hand* или *Arm*).

В области лексики невозможно говорить о типологии в традиционном значении [5]; если все же признать возможность конструирования типологии в этой области [6], то ее придется рассматривать как микротипологию.

Конечно, если считать словообразование частью лексики, то это будет область лексики, которая очень важна с точки зрения собственно типологии (т. е. макротипологии). Например, значение «подкова» выражается в русском языке *под-ков-а*, в немецком *Hufeisen* «копыто-железо», в финском *hevosenkenkä* «лошади-ботинка», в венгерском *patkó* (славянское слово), во французском *fer* «железо», в испанском *herradura* «подковывание» < *herrar* «подковывать» < *hierro* «железо».

В синтаксисе положение коренным образом отличается от лексики, хотя, как и в лексике, в синтаксисе различных языков существуют общие принципы сочетаний элементов; во всех природных языках есть то, что можно назвать подлежащим, сказуемым и т. д. Но в синтаксисе разных языков существуют также различия, прежде всего в тех частях синтаксиса, которые находятся на рубеже синтаксиса и морфологии. Отдельные языки, например, коренным образом отличаются в отношении порядка следования слов в предложении. В одних языках слова сочетаются при помощи согласования, в других при помощи порядка слов, а в третьих — при помощи служебных слов и т. п.

Совсем другая картина вырисовывается в морфологии. Морфология отдельных языков полностью расходится. Это объясняется тем, что самая важная функция морфологии заключается не в обозначении действительности, а во включении каждого слова в тот или иной грамматиче-

---

[3] U. Weinreich, On the semantic structure of language, в кн.: «Universals of language», стр. 114.

[4] См., например: М. М. Лекомцева, Д. М. Сегал, Т. Д. Судник, С. М. Шур, Опыт построения фонологической типологии близкородственных языков, сб. «Славянское языкознание. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов (София, сентябрь 1963)», М., 1963.

[5] См. об этом: V. Skalička, Wortschatz und Typologie, «Asian and African studies», I, Bratislava, 1965.

[6] См.: St. Ullmann, Descriptive semantics and linguistic typology», «Word», 9, 3, 1953.

ский ряд (по роду, числу, времени и т. п.). Без морфологии язык может обойтись.

Еще более разнообразная картина наблюдается в фонетике. Фонетика имеет в языке чисто служебную функцию. И если она выполняет свою функцию, то с точки зрения языка совсем безразлично, какова ее внутренняя система.

Таким образом, можно подвести итог: типология имеет отношение в первую очередь к областям морфологии (отсюда понятно, почему очень часто встречается термин «морфологическая классификация») и фонетики; синтаксис и лексика являются лишь второстепенными областями применения типологии.

2. До сих пор говорилось о различиях вообще. Однако для серьезной типологической работы необходимо точно описать различия языков, чаще всего весьма сложные. К первостепенным задачам типолога относится: 1) исследование фактов отдельных языков, 2) изучение взаимоотношений этих фактов («структурация»), 3) познание количественных отношений этих фактов («квантификация»). Без решения этих очень трудных задач не может быть типологии.

2.1. Первая задача, познание фактов, осознавалась типологами уже в самом начале типологической работы. Они просто стали перечислять явления отдельных языков. Например, в турецком языке есть большое количество окончаний, немногочисленны случаи омонимии окончаний (например, мн. число выражается всегда окончанием *-lar*), нет префиксов, немногочисленны случаи согласования, есть правило regens post rectum и т. п. Описание и перечисление явлений и отсюда вытекающая классификация языков — вот основа классификационного метода типологии (В. Гумбольдт, Г. Штейнталь, Ф. Н. Финк). При применении такого метода возникает вопрос о причине языковых различий. Типологи нередко ищут ее в психологических особенностях отдельных народов (Ф. Мюллер, Ф. Н. Финк).

Следует обратить внимание еще на одну характерную черту приведенного подхода, которую можно выразить следующим образом: если языковые различия рассматривать как результат различий в психологии народов, то следует предположить, что возможность языковых различий будет неограниченна. Такой подход представлен, например, в работах Л. Вейсгербера.

Против такого метода нельзя не высказать серьезные возражения. Различия языков исчислимы — их количество не бесконечно. Вопрос о связи лингвистических и внеязыковых явлений в высшей степени спорен. Так, например, языки западной Африки очень похожи на китайский язык; языки же южной Африки (языки банту) походят на индоевропейские языки; турецкий язык имеет некоторое сходство с языками Южной Америки, например кечуа. Языки западной Африки (например, эве, йоруба и т. д.) резко отличаются от языков южной Африки (например, суахили). Очевидно, что невозможно толковать эти различия и сходства на основании исторических событий или психологических различий и сходств.

Мы высказали серьезные возражения против такого сопоставления лингвистических и психологических явлений как на основании отчетливо выраженной лингвистической концепции (Ф. Н. Финк), так и без таковой (Л. Вейсгербер, Б. Л. Уорф). Конечно, необходимо отметить, что можно наблюдать известное влияние психики на язык, главным образом в области лексики (например, народы, не ознакомленные с философией или техникой, не имеют в своем словаре слов, относящихся к философии и технике).

В общем, однако, надо сказать, что до тех пор, пока не существует исчерпывающей типологической теории, работы названных языковедов будут представлять бесспорный интерес, так как фиксируют много ценных наблюдений и мыслей в отношении сопоставления языков (хотя при этом следует иметь в виду, что отдельные типологи отличаются друг от друга по методу, и степень вероятности их заключений также неодинакова, причем в их работах наблюдается значительная субъективность и неточность выводов).

Если проблему психологических истолкований отодвинуть с первого плана, то явления языка будут для нас не чем другим, как материалом для построения типологии. Поэтому необходимо собирать этот материал по мере возможности исчерпывающим образом. Однако не совсем выяснено, какой метод собирания языковых фактов является наиболее подходящим. Мы склонны предложить использование следующего метода: 1) явления фонологии — фиксация количества фонем, количества гласных и согласных, количества и способа осуществления фонологических противопоставлений, звуковых комплексов и слогов; 2) соединение и сегментация — фиксирование способа соединения фонем, морфем и слов; 3) классификация — классификация лексических и грамматических морфем; классификация частей речи (имен существительных и т. д.); 4) измерение грамматизма языка, т. е. установление степени избыточности в использовании грамматики — избыточности с точки зрения других языков и языка вообще.

2.2. Второй и третьей задачей, как мы сказали выше, является структурация и квантификация, т. е. познание отношений между явлениями и познание количественной стороны явлений.

Разные типологические школы выполняют эти задачи по-разному. Одни рассматривают отдельные явления и дают квантификацию последнего (А. В. Исаченко), другие рассматривают несколько явлений (Т. Милевский, Б. А. Успенский), третьи занимаются квантификацией нескольких явлений (Э. Сепир), иные занимаются точной квантификацией нескольких явлений (Дж. Гринберг) или же устанавливают взаимосвязанность отдельных явлений языка (Р. Якобсон). Вклад всех этих школ в науку общей типологии весьма значителен.

2.2.1. По вопросу о квантификации часто высказываются сомнения. Даже лингвисты, в принципе стремящиеся к применению точных методов, отвергают квантификацию. Б. А. Успенский, например, считает, что «явствует возможность построения структурной типологии неквантитативными методами» [7]. В новой своей книге Б. А. Успенский формулирует это положение не в столь категорической форме: «В то же время сама абстрактная модель может строиться нестатистическими методами (хотя в конечном итоге и отражает, возможно, некоторую интуитивную статистику)» [8].

Типология этого автора построена на основе классификации языковых элементов. Но надо сказать, что классификация элементов — это количественный прием. Признавая, что «элементы разных языков делятся на две группы» [9], нельзя не поставить вопрос, какова степень дифференциации этих элементов. Уже при эмпирическом подходе легко установить, что разные языки делят свои элементы на корневые и служебные, но по-разному. В одних языках эта классификация довольно четкая, в других не совсем ясная. В одних языках она выражается средствами фонологии (корневые элементы длиннее служебных) и морфологии (корневые стоят в середине слова или в начале слова; в одном слове только

[7] Б. А. Успенский, Принципы структурной типологии, [М.], 1962, стр. 15.
[8] Б. А. Успенский, Структурная типология языков, стр. 49.
[9] Б. А. Успенский, Принципы структурной типологии, стр. 21.

один корневой элемент и т. д.). В других языках, наоборот, эта классификация не такая четкая (например, в русском языке корневой элемент может находиться в начале и в середине слова, в то время как в турецком и финском языках только в начале слова, что в последнем случае придает корню более отчетливую выраженность в качестве языковой единицы; в русском языке могут находиться в одном слове два корневых элемента — в турецком же только один и т. д.). Отсюда вытекает, что квантитативный подход нужен и в проблемах классификации языковых явлений.

2.2.2. Третья задача типологической работы — это структурация, т. е. познание отношений между явлениями языка. Одни типологические школы (например, Р. Якобсон) эту задачу подчеркивают, другие не обращают на нее внимания (например, Т. Милевский). Есть и такие, которые считают, что структурные правила обнаруживаются путем индуктивной квантификации (т. е. простого сложения примеров, взятых из нескольких языков — Дж. Гринберг). Б. А. Успенский пользуется термином «универсалии» при наличии определенных «условий действия» последних [10].

Структурация представляет собой весьма трудную задачу. Между явлениями языка существует несколько видов отношений, и мы теперь попытаемся их объяснить.

А. Существуют отношения, которые можно формулировать следующим образом: если есть A, то есть и B. Например, если в языке представлено согласование по роду (*большой город — большая деревня*), то есть и грамматический род.

Очень часто эти отношения приобретают следующую форму: явление A служит выразителем явления B. Например, если отсутствуют личные окончания имен, а окончания вообще отличаются от местоимений то имеются различия в оформлении имен существительных и глаголов в их отношениях к лицу. Пример: окончания русского существительного выражают падеж и грамматическое число, притяжательность выражается местоимениями (*мой*, *твой*). Если, напротив, различие между личными окончаниями имен и местоимениями выражено слабо, то и различие в оформлении имен существительных и глаголов будет слабым; и имя существительное и глагол оформляются окончаниями лица: фин. *talomme* «наш дом» и *sanomme* «мы скажем». Еще один пример: если в языке существует развитое придаточное предложение, то имеется и различие между именем и глаголом; если придаточные предложения не развиты, то различия между именем и глаголом выражены слабо, что получает свое отражение в обилии инфинитивов и причастий.

Б. Другой тип отношений можно выразить так: если есть A, то, вероятно, есть и B или точнее: чем больше A, тем больше и B. Отношения этого рода делятся с точки зрения формы их выражения следующим образом:

а) Изоморфизм. Если одна проблема строения языка решается определенным образом, то, вероятно, и другая проблема будет решаться подобным же образом. Если, например, существует много классов склонения, то представлено и много классов спряжения. Если имеется синонимия и омонимия окончаний падежей (= тождественное явление выражается по-разному, т. е. «аномалия»), то, вероятно, и падеж с числом будут выражены при помощи лишь одного окончания (тоже «аномалия»). Если же такой синонимии и омонимии нет (= то же самое значение выражается при помощи одинакового средства, т. е. «аналогия»), то, вероятно, категории падежа и числа будут выражены при помощи отдельных, т. е. двух окончаний.

[10] Б. А. Успенский, Структурная типология языков, стр. 186.

б) Компенсация. Если в языке имеется два средства для выражения одного грамматического явления, то вероятно, что какой-либо один язык использует не больше одного из этих средств. Например, если в языке имеется много согласных, то, вероятно, будет мало гласных. Если имеется грамматически значимый порядок слов,то, вероятно, не будет проявляться согласование.

В. Отношение случайности: если есть *A*, то может быть и *B* и non-*B*. Например, если язык обладает большим количеством согласных, то количество падежей может быть большим и небольшим. Это отношение (или, можно сказать, отсутствие всякого отношения) тоже важно с точки зрения типологии.

3.1. Структурация явлений языков, по нашему убеждению, не исключает не новое для типологии понятие языкового типа. В классификационной типологии этот термин обозначает «класс». В практическом же описании языков он обозначает «характер» данного языка. Для многих языковедов тип представляется совокупностью явлений, которые в языках появляются одновременно (так можно понимать это, например, в изложении Б. А. Серебренникова).

Рассматривая вопрос о типе, Б. А. Успенский пользуется термином «метаязык». По его мнению, существует иерархия от простого к сложному: аморфная структура служит метаязыком для инкорпорирующей, инкорпорирующая для агглютинативной, агглютинативная для флективной.

Очень интересный подход Б. А. Успенского в ряде мест уязвим, а именно: 1) в типологии языков идет речь не об одном, а о многих параметрах, взаимосвязь между которыми не так проста; 2) аморфная структура есть не что иное, как внутренне противоречивое определение, данное типологами прошлого,— в действительно существующих языках нет ничего подобного; 3) инкорпорация — это только один типологический параметр, а не вид структуры языка.

Есть типологи, которые обходятся и без понятия типа, либо пользуются этим термином для выражения значения «разновидность» (например, Т. Милевский). Для других же тип — только метафизическая единица. О. П. Суник, которому «теория „нечистых типов“ ...представляется... явно неудачной попыткой выйти из того теоретического тупика, к которому привела традиционная морфологическая классификация», допускает, что тип «на уровне конструктов» мог бы быть полезным для «новых отраслей современного прикладного языкознания», но подчеркивает, что «лингвистов интересует прежде всего собственно лингвистическая, апостериорная классификация» [11]. К сожалению, О. П. Суник a priori полагает, что сущность языкознания апостериорна.

3.2. Мы исходим из того, что явления в языке находятся в определенных отношениях друг к другу. Существуют, например, благоприятствующие друг другу явления, как это отмечалось выше. Иначе говоря, в таких случаях на основании одного явления можно предсказать наличие какого-нибудь другого явления. Если в языке существует явление *A*, то мы предполагаем, что будет и явление *B*. Таким образом, если, например, в языке есть согласование, то можно предположить, что будет иметься также свободный порядок слов. Если, наоборот, есть свободный порядок слов, то можно предположить, что появится и согласование. Совокупность таких благоприятствующих друг другу явлений мы называем типом.

---

[11] О. П. Суник, Вопросы типологии агглютинативных языков, сб. «Морфологическая типология и проблема классификации языков», М — Л., 1965, стр. 29, 31.

По нашему убеждению прежде всего важно то, что в языках выступают все типы одновременно. Это положение в настоящее время общеизвестно, и отрицать его можно только с точки зрения монодимензиональной типологии, т. е. типологии какой-нибудь одной особенности языка.

Не совсем ясно, каким образом следует объяснять одновременное появление различных типов в одном языке. О. П. Суник объясняет «Теорию „нечистых типов"» как «неудачную попытку выйти из... тупика». Явления какого-либо одного языка, принадлежащие другому, не преобладающему в данном языке типу, часто объясняются как реликты, пережитки прежнего состояния [12]; так, например, агглютинативные черты индоевропейских языков пытаются объяснить тем, что старый индоевропейский язык был агглютинативен. Но такое объяснение невозможно, если принять во внимание сложность языков. В одном языке, например в русском, можно наблюдать элементы разных типов. Объяснить же последние как реликты развития русского языка нельзя.

В нашем понимании появление различных типов в языке объясняется просто: 1) если допустить, что явления языка квантитативны, то и тип в языке должен осуществляться только в определенной степени. Осуществление одного языкового явления на 100% часто невозможно — это значит, что одновременно появляется и другой тип, которому свойственно отсутствие данного явления. Например, агглютинативному типу свойственно развернутое словопроизводство. См., например: фин. *oppia* «учиться», *opettaa* «учить», *opiskella* «учиться (в школе)». Однако образовать все слова при помощи словопроизводства невозможно, вследствие чего словопроизводство (и, таким образом, агглютинативный тип, которому оно свойственно) реализуется только в известной степени; 2) взаимоотношения лингвистических явлений в большинстве случаев только вероятны, а не обязательны. Отсюда вытекает возможность частичного, не универсального распространения того или иного явления. Так, например, в агглютинативных языках существует только одно склонение — но это не обязательно. Например, в армянском языке есть, наоборот, много типов склонения.

4. Попытаемся продемонстрировать типы, существующие в языках. По нашему убеждению, их существует пять: а) флективный тип, отвечающий традиционному пониманию этого термина; б) агглютинативный; в) изолирующий тип, который проявляется очень выразительно в западноевропейских языках, например в английском и французском; г) полисинтетический тип, известный из китайского и других языков Юго-Восточной Азии; д) интрофлективный тип, известный из семитских языков. Относительно существования этого типа высказывал сомнение И. А. Мельчук, по мнению которого невозможно сравнивать семитские «корни» согласных (например, *к — т — б*, *р — дж — л*) и чередование индоевропейских гласных (англ. *foot — feet*) [13]. Но здесь разница не больше, как количественная. В английском имеется только три таких слова (*foot*, *tooth*, *goose*), так что невозможно выделить «морфемы» *-оо-* и *-ее-*. В арабском же есть значительное количество слов, в которых появляется чередование. Однако и в английском языке можно наблюдать большую самостоятельность гласных, например *began — drank — rang — shrank — sang*. С другой стороны, семитские гласные часто тоже имеют в слове смысловое назначение, например во мн. числе: *раджулун* «мужчина» — мн.

[12] См., например: Б. А. Серебренников, Причины устойчивости агглютинативного строя и вопрос о морфологическом типе языка, сб. «Морфологическая типология..», стр. 25.

[13] И. А. Мельчук, О «внутренней флексии» в индоевропейских и семитских языках, ВЯ, 1963, 4.

число *риджāлун*, *риджлун* «нога» — мн. число *арджулун*. «Разбитое» мн. число арабского языка очень похоже на спряжение «сильных» глаголов (strong verbs) германских языков. На этом основании мы считаем возможным допустить существование интрофлективного типа даже в индоевропейских языках.

4.1. Попытаемся перечислить некоторые качества отдельных типов. Наше перечисление не будет ни полным, ни исчерпывающим, так как при современном состоянии типологической теории такое описание пока дать невозможно.

А. Тип агглютинативный: 1) сильное противопоставление корневых и служебных элементов; 2) слабое противопоставление словообразовательных элементов и окончаний; 3) слабое противопоставление частей речи; 4) небольшое количество формальных слов; 5) небольшое количество случаев согласования; 6) твердо установленный порядок слов; 7) большое количество словообразовательных элементов; 8) малочисленность сложных слов; 9) отсутствие синонимии и омонимии грамматических элементов; 10) слабая выраженность категории предложения; 11) ясная выраженность категории слова; 12) синтаксический порядок: подлежащее — дополнение — глагол; 13) обилие причастий, инфинитивов и глагольных имен; 14) большое количество согласных фонем.

Взаимосвязь этих явлений прослеживается весьма отчетливо. Имеются отношения тавтологии (например, между 1 и 2, 2 и 3, 1 и 4, 1 и 7, 1 и 9, 2 и 9), отношения изоморфизма (5 и 9), отношения компенсации (5 и 6, 1 и 4, 7 и 8).

Б. Тип флективный: 1) слабое противопоставление корневых и служебных элементов; 2) четко выраженное противопоставление словообразовательных элементов и окончаний; 3) сильное противопоставление частей речи; 4) наличие формальных слов; 5) сильно развитое согласование; 6) свободный порядок слов; 7) ограниченное количество словообразовательных элементов; 8) малочисленность сложных слов; 9) сильно развитая синонимия грамматических элементов; 10) появление грамматического рода или классов существительных; 12) ясно выраженная категория слова; 13) ясно выраженная категория предложения; 14) порядок следования синтаксических единиц в предложении: подлежащее — сказуемое — дополнение; 15) развитость подчиненных предложений; 16) большое количество гласных фонем.

В. Тип изолирующий: 1) сильное различение корневых и служебных элементов; 2) сильное противопоставление словообразовательных элементов и окончаний; 3) совокупность первых двух свойств предполагает наличие третьего свойства: относительной краткости слова; 4) слабое различение частей речи (существует «конверсия»); 5) употребление формальных слов вместо окончаний; 6) слабо выраженное согласование; 7) твердый порядок слов; 8) малочисленность словообразовательных элементов; 9) малочисленность сложных слов; 10) слабо выраженная синонимия и омонимия грамматических элементов; 11) не очень четкая выраженность слова как языковой единицы; 12) четко выраженное предложение; 13) словопорядок: подлежащее — сказуемое — дополнение; 14) частое употребление подчиненных предложений; 15) большое количество гласных.

Г. Тип полисинтетический: 1) слабая классификация корневых и служебных элементов; 2) длинное слово; 3) корни вместо окончаний; 4) употребление корневых морфем в качестве словообразовательных суффиксов; 5) употребление корневых морфем в качестве формальных слов; 6) слабое различение частей речи; 7) слабо выраженное согласование; 8) твердый порядок слов; 9) большое количество сложных

слов; 10) синонимия и омонимия корней; 11) слабая выраженность слова; 12) частое использование инкорпорирования; 13) преобладание односложных морфем.

Д. Тип интрофлективный: 1) сильное противопоставление корневых и служебных элементов; 2) слабое противопоставление словообразовательных элементов и окончаний; 3) небольшое количество формальных слов; 4) небольшое количество сложных слов; 5) разбитие морфемы путем вставки внутрь морфемы фонемы или фонем, посредством чего передается иное значение, чем значение данной морфемы; 6) словообразовательные средства вставляются внутрь корневой морфемы; 7) грамматические элементы вставляются в середину корневой морфемы.

5. Мы попытались перечислить те основные качества отдельных языковых типов, которые благоприятствуют друг другу. Теперь же попробуем показать, в каком виде эти качества представлены в отдельных языках.

Говоря в плане общей типологии о языке, обыкновенно имеют в виду либо несколько языков, либо все языки мира. Однако, по моему мнению, ни то, ни другое недостаточно, так как хотя и желательно охватить языки всего мира, но вряд ли можно считать, что таким образом будет зафиксирован весь необходимый для типологии материал. Основным является, на наш взгляд, тот факт, что в природных языках воплощена только часть возможностей структуры языка, не говоря уже о том, что нам не известны тысячи существовавших, но вымерших языков. Тенденции, вскрываемые типологией, подсказывают многое о возможных, но реально не осуществленных структурах отдельных предполагаемых языков, а также о пределах этих возможностей и о вероятности появления тех или других структур. Задачи типологии можно считать выполненными, только если принять во внимание эти обстоятельства.

Количество языков, реальное существование которых надо признать весьма невероятным или маловероятным, по-видимому, очень велико. Примером реально невозможной структуры могут служить чистые типы — как уже говорилось выше, некоторые свойства типов могут проявляться только в той или иной степени; это касается, например, словопроизводства, словосложения, синонимии и омонимии окончаний. К таким же языкам относятся, например, структуры, лишенные изоморфизма (например, структуры с сильной синонимией и омонимией падежных окончаний, но с двумя различными окончаниями для выражения падежа и числа; структуры с окончаниями у имен существительных, но без окончаний у глаголов), или структуры, лишенные компенсации (например, структуры с многочисленными гласными и многочисленными согласными, структуры с развитыми и часто употребляющимися придаточными предложениями и столь же употребительными конструкциями с инфинитивами или причастиями).

К языкам, структура которых находится в пределах вероятных возможностей языковой структуры вообще, относятся не только языки природные, но и языки искусственные (эсперанто и др.) и даже языки, реально не существующие. Количество последних очень велико, но не бесконечно.

Основная задача типолога — установить, какое место занимает любой природный язык среди языков, существование которых вероятно.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1966

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Ф. П. ФИЛИН

К ПРОБЛЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ ЯЗЫКА

Вряд ли кто из современных лингвистов станет отрицать, что язык — явление социальное. Уже одно то, что язык как средство общения, накопления и хранения информации и в других своих функциях обслуживает общество и человека в обществе, ясно свидетельствует об этом. Однако общество обслуживает и техника, которую человек создавал и создает на основе познания законов природы. Все, что человек использует в общественной жизни, что служит обществу, в известном смысле может быть названо социальным. Но может ли нас удовлетворить такое широкое понимание социального при исследовании природы языка, его построения, законов его развития? На этот коренной вопрос языкознания как науки нет однозначного ответа. Более того, точки зрения лингвистов в их крайних проявлениях противоположны. Одна из крайностей — вульгарно-социологическая трактовка языковых явлений.

В нашей лингвистической литературе после 1950 г. немало писалось о вульгарно-социологических ошибках Н. Я. Марра и его последователей. Впрочем справедливости ради следует сказать, что главное в обороне (до 1950 г.) и нападении, атаках и контратаках была защита от теории Н. Я. Марра принципов сравнительно-исторического языкознания, изучения современного состояния языков и их истории «классическими» методами, без применения совершенно неоправдавшего себя палеонтологического анализа с его мифическими четырьмя элементами. Что же касается лингво-социологических проблем, то они были в поле внимания почти всех советских языковедов 20—40-х годов, последователей Н. Я. Марра и его открытых или скрытых противников. К сожалению, у нас нет работ, в которых были бы объективно и спокойно исследованы и оценены достижения и недостатки лингво-социологических наблюдений того времени. О достижениях в пылу разгрома «нового учения о языке» забыли, недостатки были гипертрофированы. Ни один серьезный языковед времени «нового учения о языке», разумеется, не утверждал, что в с е изменения в языке и мышлении непосредственно обусловлены изменениями в обществе, классовыми противоречиями и т. п. В понятие «классовые языки», конечно, не вкладывалось представление о двух русских, двух немецких и т. п. языках как различных языковых системах. Этим неточным термином обозначалось наличие в каждом языке классового общества некоторых особенностей, привносимых в язык различными классами, что отрицать невозможно. Ошибки вульгарно-социологического характера заключались не в этом. Лингвисты, занимавшиеся проблемами социального в языке, нередко были склонны в ряде случаев преувеличивать роль социальных факторов как движущих сил в развитии языка и недооценивать факторы внутреннего порядка, обусловленные относительной самостоя-

тельностью языковой системы. Такая неправильная акцентировка выражалась прежде всего в теоретических рассуждениях общего характера (без лингвистической аргументации), а в некоторых случаях и в попытках в конкретно-языковых исследованиях объяснять возникновение отдельных инноваций и сохранение некоторых архаизмов в фонетике и грамматике как непосредственное отражение сдвигов в структуре общества. Вульгарно-социологический налет был и на стадиальной теории развития языка и мышления (допущение некоторого параллелизма в смене общественных формаций и смене языковых стадий), хотя сама по себе идея об общечеловеческих этапах в истории языка и мышления вовсе не обязательно предполагает вульгарно-социологическую трактовку языковых явлений.

Преувеличению социальных факторов как причин языковых изменений противопоставлены недооценки или прямое отрицание какого-либо значения этих факторов, что составляет другую крайность в рассмотрении проблемы социальной обусловленности языка. Для языковедов этого направления характерна абсолютизация языка как автономной системы, исключительное внимание к исследованию структуры языка, механизма собственно языковых изменений вместе с сознательным и последовательным исключением всего «экстралингвистического». Разумеется, собственно лингвистические методы описания и исследования языковых явлений вполне естественны и закономерны, поскольку язык имеет свои собственные («внутренние») законы построения. Это положение никогда не было и не могло быть предметом серьезных дискуссий. Представители любого лингвистического направления в прошлом и настоящем всегда устанавливали парадигмы склонения и спряжения, типы словообразования, построение предложений и т. д. и т. п. независимо от структуры общества, уровня общественного развития носителей изучаемого языка.

Структура языка как относительно устойчивой на данном этапе его существования системы состоит из элементов различных «уровней» и закономерных связей между ними. То, что организует языковую структуру, составляет ее основу, находится вне прямой зависимости от социальной структуры общества, не копирует ее. Изменения, которые происходят в языке, прежде всего вызываются наличием в его системе внутренних противоречий и потенций развития, унаследованных от прошлого состояния. И в самой речевой практике говорящие и слушающие прежде всего и главным образом преследуют цели передачи и восприятия информации и обычно не думают о сущности используемых ими речевых средств. Учащиеся, овладевающие родным или неродным языком, осваивают правила его построения, обычно не размышляя при этом о сложной социальной природе языка. Абсолютное большинство людей, в совершенстве владеющее языком, имеет смутное представление о языкознании как науке или вовсе не имеет такового. Конечно, не этот для всех очевидный факт делит языковедов на разные лагери. Достаточно ли описания механизма построения языка, основывающегося даже на самых точных «современных» методах, для его полного и всестороннего научного познания, вот в чем вопрос. Действительно ли язык в своем построении и в изменениях настолько автономен, что его изучение может быть исчерпано без какой бы то ни было опоры на социологические науки. Если на этот вопрос дается положительный ответ, о чем заявляется или что стыдливо подразумевается, то «чисто лингвистическое» описание языка из методики, приемов исследования превращается в онтологию, методологическую концепцию. Если язык автономен, то его можно сравнивать с различного рода природными системами и называть «живым организмом», замкнутой в себе системой знаков, шифром, кибернетическим устройством и т. п. В таком слу-

чае языкознание преимущественно или даже исключительно может опираться на методы, которые используются в естественных науках, и может быть выведено из состава гуманитарных наук. Мнения, согласно которым языкознание принадлежит к наукам естественным или стоит близко к ним, неоднократно высказывались в прошлом — Шлейхером и его последователями, многими младограмматиками, отстаивавшими концепцию фонетических законов, не знающих исключений, но особенно широко распространены они в наше время. Причины возникновения таких мнений сложны. Если не принимать во внимание разного рода «экстранаучных» обстоятельств (боязнь отстать от моды и выглядеть «устарелым», желание быть «оригинальным новатором» во что бы то ни стало и т. д., и т. п.), нужно учитывать, что в процессе познания того или иного явления таится опасность абсолютизации тех или иных его особенностей. Иными словами, в каждом отклонении от всестороннего познания предмета имеются свои гносеологические корни. В наше время, когда бурно развиваются естественные науки и прежде всего математика, получающая все большее распространение в разных областях знаний, на первый план начали выступать те особенности языка, которые поддаются математическим методам изучения или о которых можно полагать, что они доступны для «структурной» формализации, для математического и структурального моделирования.

Успехи современной математики породили веру во всесилие этой науки, стали побуждать многих лингвистов делать попытки распространять математические приемы исследования на все стороны языка, не считаясь с тем, что для математической обработки доступны лишь однородные элементы материи и отношения между этими элементами. Недавно А. В. Исаченко писал: «Для современного этапа развития лингвистической теории характерно то, что решающие импульсы за последнее десятилетие исходят не от языковедов, а от логиков и математиков. Этим самым лингвистическая теория оказалась в значительной степени оторванной от своей эмпирической базы. Основные мысли порождающей и трансформационной грамматики были иллюстрированы на элементарнейших примерах, взятых преимущественно из английского языка. Лингвист, внимательно следящий за развитием алгебраической лингвистики, не может порой освободиться от мысли, что теоретики из рядов логиков и математиков либо умышленно закрывают глаза над всем многообразием [на все многообразие? — *Ф. Ф.*] реальной языковой структуры, либо — не будучи обременены лингвистическим опытом — просто не замечают, что их схемы покрывают лишь незначительный участок языка, оставляя незатронутыми весьма важные, на наш взгляд, области языковой структуры» [1].

Абсолютизация формализованных методов приводит к тому, что они начинают считаться «строго объективными», «единственно научными» не только в исследованиях внутренних законов развития языка. Например, И. И. Ревзин полагает, что «объективные методы» должны применяться не только к «внутренней», но и к «внешней» лингвистике, которые (обе лингвистики) не следует противопоставлять [2]. Известно, что предметом «внешней» лингвистики является изучение воздействия на язык разного рода общественных факторов, изучение взаимосвязи мышления и языка, языка и этноса и т. д., а также функционирования языка в обществе, использвания его обществом. Чтобы выполнить такую задачу, нужно

[1] А. В. Исаченко, К вопросу о специфике структурного изучения грамматического строя славянских языков, «Slavia», XXXIV, 3, стр 1965, стр. 403.

[2] И. И. Ревзин, Структурная лингвистика и единство языкознания, ВЯ, 1965, 3, стр. 45.

было бы полностью математизировать и формализировать все общественные науки. Из намерений видеть формальные методы как универсальные вытекает и категорическое утверждение, согласно которому языкознание не может иметь отношения или, как пишет И. И. Ревзин, не может быть «приложением к некоторой совокупности более или менее последовательных социологических концепций» [3]. И. И. Ревзин полагает, что советские языковеды в разные периоды развития советского языкознания отдавали дань «очередной социологической доктрине» (?!), что «объективные» (т. е. формализованные) методы неизбежно приводят к недоверию «ко всякой социологической фразеологии и лингвистической публицистике», что с «публицистико-социологическими» традициями, «публицистическим языкознанием» должна вестись непримиримая война и т. д. Верно, конечно, что в работах многих советских языковедов разного времени можно найти социологические высказывания и положения, не подкрепленные лингвистическим анализом, а также и всякого рода ошибки. Однако простое недоверие к социологии никак не поможет в решении социологических проблем, в том числе и проблемы социологии языка. Бранные эпитеты (которые, казалось бы, особенно не к лицу научным работникам, подчеркнуто претендующим на «строгую объективность») не могут скомпрометировать какое-либо научное направление. Недостаток советских языковедов не в том, что они занимались и занимаются социологией языка, а в том, что их исследования в этой области не проводились в нужном объеме и с нужной энергией. Что же касается попыток распространить формализованные методы и на «внешнюю» лингвистику и считать их единственно научными и в этой области, то пока что такого рода заявления не выходят за пределы голословных утверждений.

Разумеется, мы вовсе не против формализованных методов там, где их можно применять, как и любых других методов и приемов, позволяющих изучать язык в новых аспектах, открывать новые явления. В конце концов пригодность или непригодность тех или иных приемов решит исследовательская практика. Мы решительно возражаем лишь против абсолютизации формализованных методов, против безоговорочного отнесения языкознания к разряду естественных наук. Использование приемов естественных наук в науках общественных не влекло и не повлечет за собой поглощения естествознанием наук социальных. Наличие в языке как объекте исследования сторон, которые подлежат изучению физиологии, физики (акустики), математики и т. д., вовсе не выводит его из разряда общественных явлений, имеющих специфические особенности, обусловленные развитием общества. Как известно, естественные науки изучают материю и различные формы ее движения (физические, химические, биологические). Открываются новые стороны движения материи, показывающие их чрезвычайную сложность. Математические методы дают возможность более точно исследовать законы, управляющие материей, помогают в достижении новых открытий. Но как бы ни велико было значение математики, все же эта наука не заменяет собой и никогда не может заменить физику, химию, биологию и другие естественные науки. Между прочим, любопытно, что некоторые сторонники конструирования «чистых нематериализированных отношений», «чистых моделей», «чистых структур» и пр. в пылу увлечения считают и математику недостаточно «структурной» и призывают к «структурализации» самой математики.

Если в естественных науках математические методы оставляют широкий простор для дальнейшего совершенствования методов, свойственных той

[3] И. И. Ревзин, указ. соч., стр. 47.

или иной отрасли естествознания, то тем более это относится к наукам гуманитарным [4], поскольку общество в его бесконечно разнообразных проявлениях подчиняется законам развития, не сводимым к физическим, химическим и биологическим формам движения материи. Объективность, точность методов исследования не может исчерпываться формализацией исследовательских приемов, основанной на математике, поскольку общественные явления всегда неизмеримо сложнее однородных количественных элементов, составляющих количественно измеряемые отношения между ними, «структуры», «бинарные» и иные «оппозиции» и т. д., и т. п. Само противопоставление формальных методов, как будто бы единственно научных, методам «качественным», «не формальным», как якобы ненаучным, неверно, метафизично. «Качественные» или «содержательные» методы предполагают индуктивное выведение из непосредственного изучения бесчисленного множества фактов опыта теоретических заключений, выводов. Как правильно отмечает М. Розенталь, в современных формальных способах исследования «главную роль играют средства логического выведения из одних понятий и определений новых; здесь нет такой непосредственной и прямой связи с данными наблюдений и опыта, как в тех методах, которые мы называем „содержательными", в этом их сила и одновременно их определенная ограниченность» [5]. Преобладающее значение в человеческом познании всегда имели и имеют методы «содержательные», а формальные методы, безусловно важные и нужные, играли и играют вспомогательную роль. И вновь надо согласиться с М. Розенталем, когда он пишет, что «широкое и интенсивное развитие формальных методов познания имеет своей оборотной стороной необходимость подчеркивать решающее значение содержательного подхода к познанию, поскольку математизация знаний может питать и питает иллюзию, будто математические формулы и есть сущность природы» [6]. Сказанное полностью относится к современному положению в языкознании. Широко распространившееся мнение, будто бы «структурная» формализация лингвистических исследований, «математическое моделирование» языковых явлений и есть тот стержень, который позволяет сохранять единство языкознания и добиваться синтеза различных направлений, включения в современную лингвистику и достижений «традиционного», «классического» направления, является преходящей иллюзией. Если и в естественных науках формальные методы имеют определенную ограниченность, то тем более это относится к наукам общественным.

*

После этих предварительных замечаний, которые имеют, на наш взгляд, непосредственное отношение к предмету настоящей статьи, попытаемся показать, какие стороны языка связаны с развитием общества.

---

[4] Иногда приходится встречаться с утверждениями, будто бы деление науки на естественные и гуманитарные дисциплины устарело. Сторонники подобных взглядов относят языкознание безоговорочно к наукам «естественным», а в существовании гуманитарных наук, т. е. дисциплин, в основе своей базирующихся не на математических методах, вообще сомневаются, вынося их за рамки «настоящей» науки. Эти взгляды не новы. Еще Лейбниц пытался создать всеобщую картину мира, основываясь на «точных» измерениях. Как бы далеко ни продвинулась вперед математика, математическое объяснение сущности природы и общества никогда не заменит собой диалектико-математического метода. Точность знаний и математические формулы вовсе не синонимы.

[5] М. Розенталь, Теория познания и современные научные достижения, «Коммунист», 1965, 8, стр. 27.

[6] Там же, стр. 28.

Обычно различают язык как определенным образом организованную структуру, систему средств выражения мысли, и назначение, общественные функции языка. Эти функции языка имеют ярко выраженный социальный характер, поскольку язык — средство общения между людьми, поскольку без языка невозможно существование общества. Возможности использования языка так же разнообразны и безграничны, как и жизненные потребности общества. Слово передает информацию о чем-либо, закрепляет накопленные знания, доставляет наслаждение и неудовольствие, лечит и убивает, воодушевляет и разочаровывает, приказывает и выражает какое-либо желание и т. д., и т. п. Разделение человечества на огромное число этнических единиц с присущими каждой единице особым языком или диалектом всегда составляло и составляет одну из острых социальных проблем. Известно, какую роль играет национальный вопрос в современной истории. В условиях капиталистического общества язык господствующей нации нередко оказывается орудием угнетения и подавления наций подчиненных, колониальных и полуколониальных народов, вражды между народами. Очень сложными оказываются языковые проблемы в освободившихся от колониальной зависимости странах. От их правильного решения зависит прогресс этих стран. Неправильные решения в языковой политике влекут за собой нежелательные последствия — вплоть до кровавых столкновений, как это недавно имело место в Индии после попытки объявить хинди государственным языком для всех областей. Хорошо известны случаи, когда и в Европе споры о языковых границах приводили к столкновениям между государствами, и языкознание, в частности диалектология, становилось далеко не безобидной наукой.

В социалистических странах, проводящих ленинскую национальную политику, язык становится мощным рычагом национального прогресса и культурного подъема. Всем хорошо известны огромные достижения в языковом строительстве СССР: десятки бесписьменных языков стали письменными, литературными языками, старые письменные языки получили свое дальнейшее развитие и совершенствование. Резко усилилось взаимодействие и взаимообогащение языков народов СССР, причем в этом процессе особую роль играет русский язык. Развиваются различные формы двуязычия и многоязычия. Каждый национальный язык, обогащаясь под воздействием русского языка и других языков, укрепляет свои позиции, поскольку его функции вместе с расцветом национальной культуры, науки и техники постоянно расширяются. В то же время некоторые языки малых народностей, существовавшие сотни и тысячи лет, проявляют тенденции к отмиранию, так как носители этих языков, активно включаясь в жизнь страны, постепенно переходят на русский язык и другие широко распространенные языки. Растущее общение народов СССР с народами других социалистических стран, усиливающиеся связи с несоциалистическими государствами, вообще интенсификация международных отношений во всем мире делают проблему языковых контактов все более и более актуальной, серьезно расширяют коммуникативные и иные функции английского, русского, испанского и некоторых других «международных» языков, активизируют в ряде стран эсперанто, все более остро ставят вопросы, подлежащие ведению интерлингвистики.

Огромные изменения происходят в назначениях литературных языков и диалектов. До революции огромное большинство русского населения говорило на территориальных диалектах, которые были не только территориальными, но и социальными, поскольку основная масса их носителей принадлежала к классу крестьян. Территориальный диалект для неграмотных и полуграмотных крестьян был главным средством общения с населением других местностей, с горожанами и интеллигенцией, в бы-

ту, на работе, во всех случаях жизни. Правда, диалектологи часто отмечали воздействие на говоры городской речи, однако архаические основы говоров в общем держались стойко. В наше время сфера употребления территориальных диалектов чрезвычайно сузилась. Более или менее выдержанная система архаических говоров сохраняется лишь у небольшой части населения. Прежнего состояния диалектной речи теперь больше не существует. Большинство современного сельского населения говорит или на литературном языке или на своеобразных «койне», переходных от прежних диалектных систем к литературному языку. Почти все наши диалектологические исследования, учебники и учебные пособия, словари отражают не современное, а прошлое состояние речи сельского населения. В целях установления систем архаических говоров, собирания материала для истории русского языка современная языковая ситуация обычно диалектологами игнорируется.

Вместе с быстрым подъемом массовой культуры разрушена база старого городского просторечия, представлявшего собою своеобразный сплав профессионализмов, словарных, стилистических и иных неологизмов с территориальными говорами. Термин «просторечие» стал теперь обозначать ненормативные и стилистически сниженные средства языка, которыми для определенных целей и при определенной ситуации пользуются все, кто говорит на литературном языке. Именно в этом значении употребляется в современных толковых и иных словарях русского языка стилистическая помета «просторечное».

Довольно широкое распространение имели в старое время ярко выраженные социальные диалекты — арго: воровская «блатная музыка», с одной стороны, и условные языки ремесленников и мелких торговцев — с другой, а также и другие виды арго. Об условных языках ремесленников имеются интересные замечания у В. И. Ленина в труде «Развитие капитализма в России». С развитием капиталистических отношений в деревне мелкие промышленники из-за боязни «пагубной конкуренции» «всеми силами скрывают выгодные занятия от односельчан, употребляют для этого разные хитрости..., не пускают никого в свои мастерские, работают на подволоке, не сообщают о производстве даже родным детям» [7]. Сохранению производственных и торговых секретов способствуют условные языки. Характеризуя валяльное производство в с. Красном Арзамасского уезда Нижегородской губернии, В. И. Ленин пишет в примечании: «Небезынтересно отметить здесь особый жаргон красносельцев; это — характерная черта территориальной замкнутости, свойственной мануфактуре. „В селе Красном фабрики *по-матройски* называются *поварнями*... *Матройский* язык принадлежит к числу многочисленных ветвей офеньского, из которых главных три: собственно *офеньский*, употребляющийся преимущественно во Владимирской губернии, *галивонский* — в Костромской и *матройский* — в Нижегородской и Владимирской губерниях“ („Труды куст. ком.“, V, стр. 465). Только крупная машинная индустрия вполне разрушает земляческий характер общественных связей и ставит на их место национальные (и интернациональные) связи» [8]. В наше время остатки условных производственных языков доживают свои последние годы. К сожалению, изучение арго, некоторые из которых своими корнями уходят в отдаленное прошлое, у нас оказалось незаслуженно заброшенным и проводится лишь немногими энтузиастами.

Если база территориальных и социальных диалектов и старого городского просторечия резко сузилась и функции их сходят на нет, распро-

---

[7] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 3, стр. 333—334.
[8] Там же, стр. 392.

странение литературного языка стало всеобщим, что обусловило его широкую демократизацию. Литературный язык стал главным средством языкового общения подавляющей части населения. Это обстоятельство с большой остротой ставит многообразные проблемы культуры речи, которые стали актуальными как никогда в истории русского народа.

Мы указали здесь только на некоторые стороны многообразного использования языка и диалектов в обществе, на крупные перемены, происходящие в этой области. Разумеется, в каждом языке имелись и имеются своеобразия в его назначениях и в то же время должны быть и общие закономерности. К сожалению, общественные функции языков и их история очень плохо изучены, наблюдения, относящиеся к этому предмету, разрознены и не обобщены. В то же время вряд ли кто будет отрицать, что общественно-функциональная сторона языка является важным объектом исследования [9]. Объектом какой научной дисциплины, с применением каких методов исследования? Мы отвечаем: безусловно, объектом языкознания в его увязке прежде всего с историей, а также с другими общественными науками. Без глубокого познания истории общества, т. е. без опоры на «последовательную социологическую концепцию», концепцию исторического материализма в его конкретном применении к определенным общественным коллективам, научное изучение общественных функций языка невозможно. Методы (приемы) их изучения могут быть различными. Разумеется, не исключаются и методы исследования количественной стороны интересующих нас процессов посредством различного рода вычислительных операций, особенно получение объективной и полной статистической информации. Важно только подчеркнуть, что применение математических и вообще кибернетических методов может играть лишь подсобную роль в познании общественных функций языка, языковой действительности во всей ее сложности и противоречивости. Какие бы методы ни применялись в изучении языка, язык от этого не перестает быть общественным явлением, а языкознание не выйдет из круга общественных наук. Впрочем реализация структурных и математических приемов исследования общественных функций языка — дело будущего, и какие результаты тут могут быть достигнуты, сказать трудно. А пока среди многих структуралистов распространены взгляды, согласно которым указанные функции относятся к кругу «экстралингвистических» факторов, которые «чистый лингвист» может игнорировать. Однако назвать ли эту сторону языкознания «экстралингвистикой» или

[9] За последние годы появились исследования закономерностей развития национальных языков СССР, обусловленных социалистическим строем и ленинской национальной политикой. Из этих работ прежде всего нужно назвать «Розвиток мов соціалістичних націй СРСР» (Київ, 1963) и «Русский язык — язык межнационального общения народов СССР» (Киев, 1962) И. К. Белодеда, «Сближение наций и национальные языки в СССР» (М., 1963) К. Х. Ханазарова (см. краткий обзор М. С. Джунусова и М. И. Исаева «Социологические вопросы развития национальных языков» в ИАН ОЛЯ, 1965, 5). Из последних работ, имеющих прямое отношение к проблемам социальной лингвистики, следует назвать содержательную коллективную монографию «Закономірності розвитку українського усного літературного мовлення» (Київ, 1965); сб. статей «Современные литературные языки стран Азии» (М., 1965). Институт народов Азии АН СССР в конце 1965 г. провел интересную дискуссию на тему «Проблемы изучения языковой ситуации в странах Азии и Африки». Печатается книга «Вопросы взаимодействия и взаимообогащения языков народов СССР в советскую эпоху», утвержден к печати I том коллективного труда «Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху», готовится к печати монография «Русский язык и советское общество» и ряд других работ не только в Москве и Ленинграде, но и во многих других научных центрах. Надо полагать, что изучение социологических аспектов истории национальных языков получит должное развитие в советском языкознании.

еще как-нибудь похуже — от этого проблемы социальной лингвистики, языкового строительства и языковой политики не исчезнут.

Общественные функции языка не являются лишь чем-то внешним относительно его структуры, системных связей, закономерностей его развития. Нельзя себе представлять, что язык как структура — это одно, а его использование в обществе — это совсем другое. Конечно, если подходить к языку статически, вне учета его истории, можно и не интересоваться социальными проблемами его использования. Так поступали и поступают языковеды, которые ограничиваются изучением «механизма» языка, внутренних законов и правил его построения [10]. Однако отрыв лингвистики от социологии суживает возможности познания самих внутренних законов построения и развития языка. Общественные функции языка активно воздействуют на его структуру, во многом предопределяют направление ее развития. Иными словами, язык социально обусловлен и в самом своем построении. Природа языковых изменений оказывается двойственной. С одной стороны, язык развивается согласно своим внутренним законам, заложенным в нем возможностям изменяться в том или ином направлении. С другой стороны, не все возможные изменения реализуются. Та или иная их реализация предопределяется общественными факторами, связанными с функциями языка в обществе.

Самый факт наличия на земном шаре огромного количества разнообразных языков говорит о многом. Возникновение в древнейшем первобытном обществе первичных языков с их неодинаковыми структурами, многократный распад древних языковых единств на различные диалекты и диалектные зоны, формирование из диалектов новых языков, прежняя близость между которыми нередко заменяется самостоятельным развитием этих языков вплоть до полной потери взаимопонимания между говорящими на данных языках, непрерывные взаимовлияния языков, их скрещение или вытеснение одного языка другим, изменение племенных языков в языки народностей, а языков народностей в языки наций, возникновение и развитие литературных языков и их мощное воздействие на структуру диалектов, прогресс языка, выражающийся в способности фиксировать и передавать возрастающий в обществе объем знаний,— это и многое другое обусловлено отнюдь не имманентными свойствами языковой системы.

Лингвисты чаще имеют дело с результатами языковых изменений. В X—XIII вв. во всех славянских языках глухие гласные ъ и ь в слабой позиции исчезли, а в сильной изменились в полные гласные разного качества. Почему это произошло, в точности неизвестно. Одни исследователи полагают, что падение глухих явилось следствием прекращения действия тенденции открытого слога или изменения характера древнего славянского ударения, другие усматривают причину этого важного явления в «нарушении равновесия» в древней фонематической системе славянской речи, переведшего ъ и ь в категорию «избыточных» фонем, подлежавших устранению, третьи (В. М. Марков) считают, что ъ и ь потеряли свою фонологическую значимость из-за возникновения в группах согласных новых вставочных («неорганических») гласных, фонетически совпавших с ъ и ь и нейтрализовавших эти фонемы в структуре славянского слога, и т. д. Вероятность тех или иных собственно структурно-языковых причин падения ъ и ь несомненна, и вполне возможно, что в будущем об этих причинах мы станем судить не только гипотетически. Гласные ъ и ь

[10] По-моему, хорошо раскрыл соотношение синхронического и диахронического языкознания М. И. Стеблин-Каменский в статье «К теории звуковых изменений», ВЯ, 1966, 2.

в сильной позиции могли измениться в различные гласные, что и произошло на самом деле. Заложенные в самой фонематической системе славянской речи потенциальные возможности реализовались в разных славянских коллективах неодинаково. Тот или иной вариант этой реализации был предопределен сложившимися к X—XIII вв. этническими (может быть отчасти и политическими) границами, а это уже переводит нас в область социологических категорий.

Современное деление славянских языков на группы, со свойственными этим группам общими закономерностями, не совпадает с древнеславянскими диалектными зонами. Формирование современных славянских языков, представляющих собой родственные, но самостоятельные языковые системы, и их группировок на базе древних диалектных зон, пучки изоглосс которых неоднократно изменялись, не может быть понято, если мы будем подходить к языку только как к замкнутой структуре, подчиняющейся имманентным законам и правилам своего построения. Первопричиной образования украинского языка, близкородственного русскому и белорусскому языкам и в то же время представляющего собой особую систему, конечно, являются исторические события, которые объединили и в то же время обособили южную часть населения древней Руси. Не было бы такого обособления, языковая картина современного восточного славянства была бы иной.

Лингвистическая география обнаружила и еще обнаружит бесконечное количество примеров, показывающих зависимость формирования диалектных единств и разнообразных связей между языками и диалектами от так называемых внешних по отношению к языку причин. Все бесконечное разнообразие взаимодействия между языками и диалектами обусловлено социальными причинами. Результаты языкового взаимодействия реализуются не только в виде заимствований, подчиняющихся внутренним законам языка; они самым существенным образом могут сказываться на структуре языка или диалекта, определять его дальнейшее развитие.

Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани в недавно опубликованной интересной книге «Система сонантов и аблаут в картвельских языках. Типология общекартвельской структуры» (Тбилиси, 1965) установили близость типологии фонологической системы и структуры корня картвельских и индоевропейских языков. Как отмечает в предисловии к этой книге Г. В. Церетели, это сходство или даже идентичность могли быть обусловлены разными причинами, в том числе длительным контактом между картвельскими и индоевропейскими языками. Связь между картвельскими и индоиранскими языками можно считать установленной с XIV в. до н. э. Так или иначе, объяснение типологического сходства картвельских и индоевропейских языков, если оно окончательно доказано, настоятельно требует выхода за пределы «чистой» лингвистики в историю. Генетические связи языков мира, так называемые языковые союзы, в которых в результате общественных контактов возникают общие явления, нередко очень существенные для структуры неродственных языков, все другие формы языковых связей теснейшим образом связаны с историей племен, народов и наций, общества.

Авторы главы о тюркских языках книги «Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху», т. I (в печати) отмечают, что в связи с массовыми заимствованиями русских слов несколько изменяется состав фонем тюркских языков, происходит перераспределение частотности исконных фонем, имеют место изменения в сочетаниях гласных и согласных, усиливается нарушение гармонии гласных и т. п. Заметные сдвиги происходят в синтаксисе. Несмотря на такое изменение, тюркские языки, конечно, остаются тюркскими языками. При-

меров такого рода процессов развития, происходящих в результате воздействия одного языка на другой, можно было бы привести очень много.

Огромное значение для научного понимания структуры языка, законов его развития имеет история культуры. Возникновение древнерусского государства, усиление связей между древней Русью и Византией и Болгарией, распространение христианства на Руси приводят к заимствованию кирилловского алфавита, а вместе с ним к развитию письменности. Развитие письменности имело огромные последствия для древнерусского языка и возникших позже восточнославянских языков. Как известно, языком церковных книг был язык старославянский, сложившийся прежде всего на древнеболгарской почве. Мы не будем здесь касаться сложной проблемы, является ли наш литературный язык в своей генетической основе народным древнерусским языком со значительными старославянскими напластованиями или обрусевшим старославянским языком (споры об этом еще продолжаются). Однако то, что русский литературный язык, сама его структура является сложным сплавом русского народного языка с видоизменявшимся на русской почве языком старославянским, признается, как кажется, всеми. Следует также учитывать воздействие на русский литературный язык других языков, особенно в свое время французского (не только в наличии огромного количества заимствованных слов, но и в лексических и фразеологических кальках, лексической семантике, отчасти в синтаксисе и т. п.).

Такой путь развития русского литературного языка неизбежно отдалил его от народных говоров. Лудольф в своей «Grammatica russica» 1696 г. очень хорошо подметил, что в Москве конца XVII в. в быту говорили «по-русски», а в книгах писали «по-славянски». Расхождение между литературным языком и народными говорами стало таким, что необразованные люди далеко не всегда могли понимать литературную речь из-за наличия в ней множества неизвестных слов, значений слов, необычных конструкций, несвойственных их речи фонем. Случаи такого непонимания можно наблюдать и в настоящее время, а в эпоху почти сплошной неграмотности населения они были обычными. Различия между литературным языком и говорами превращались в социально-лингвистические категории, поскольку литературным языком до революции обычно владели представители господствующих классов и довольно узкие круги интеллигенции. Любопытный пример комического непонимания друг друга графа и старухи-крестьянки имеется в пьесе А. А. Шаховского «Новый Стерн», полемически направленной против Карамзина и его школы: «(граф) „Добрая женщина, ты меня трогаешь“— (старуха-крестьянка) „Что ты, барин, перекрестись, я до тебя и не дотронулась“»[11]. Как известно, глагол *трогать* в значении «вызывать сочувствие, сострадание, волновать» прочно вошел в словарный состав литературного языка, в то же время оставаясь вне пределов лексики современных архаичных говоров.

Вся сложная стилистическая система современного русского литературного языка, использование разнообразных речевых средств (этнографизмов, историзмов, диалектизмов и т. п.) для характеристики героев писателями, различия между письменной и разговорной речью (например, в синтаксисе) и иные виды проявления литературного языка социально обусловлены в своем происхождении и функционировании.

Когда мы говорим о фонологической и грамматической системах современного русского языка, то представляем их себе до известной степени в абстрагированном виде. Язык всегда проявляется в речевой деятель-

---

[11] Цит. по кн.: В. В. Виноградов, Очерки по истории русского литературного языка XVIII—XIX вв., 2-е изд., М., 1938, стр. 156.

ности индивидуумов. Соссюровская антиномия langue — parole, с противопоставлением обоих членов, как отрешенных друг от друга противоположностей, представляет собой порочный круг. На самом деле эти противоположности составляют диалектическое единство. В языковой системе всегда имеются противоречия, которые, по-видимому, нельзя предусмотреть ни в одной модели. Свободно владеющий языком обязательно делает разного рода отступления от принятых стандартов. Не случайно иностранцев нередко узнают по «слишком правильной» речи. Некоторые из «отступлений» постепенно становятся элементами системы, когда они переходят в разряд социально значимых, приобретают, так сказать, права литературного гражданства. До культурной революции в нашей стране в литературном языке господствовала норма произношения окончания прилагательных *-къй*, *-гъй*, *-хъй* (*горькъй*, *долгъй*, *тихъй*). В говорах были распространены варианты *-кой*, *-гой*, *-хой*, *-кай*, *-гай*, *-хай* и некот. др. В процессе культурной революции широкие народные массы стали овладевать литературным языком прежде всего через печать, в результате чего возникло «отклонение» — произносить *-кий*, *-гий*, *-хий* (т. е. так, как написано). Это «отклонение» теперь получило весьма широкое распространение и становится стандартом. Системы языка постепенно развиваются благодаря наличию в них разного рода противоречий. Без этого не было бы развития, язык превратился бы в нечто окостеневшее, неподвижное.

В 20—30-е годы некоторые советские лингвисты, разрабатывая проблему социальной обусловленности языка, сделали ряд интересных наблюдений. Л. П. Якубинский, например, отметил, что сложноподчиненные предложения получают интенсивное развитие только вместе с возникновением и развитием письменности [12]. Известно также, что образование отвлеченных имен существительных характерно именно для письменных, литературных языков и слабо представлено в бесписьменных диалектах. В подобных случаях социальные причины (такие, как возникновение письменных разновидностей языка) непосредственно воздействуют на структуру языка, его правила.

Когда речь идет о том, имеем ли мы дело с языком или диалектом (в кругу родственных языков), приходится обращаться не только к языковым, но и к «экстралингвистическим» данным. Попытки отличать язык от диалекта на основании генетического принципа, территориальных признаков, степени понимания или непонимания, принципа «автономности» и т. п., довольно многочисленные в лингвистической литературе, без учета всей совокупности социальных факторов, обычно субъективны и вызывают споры, которые нередко выходят за рамки науки. Как известно, белорусский и русский языки очень близки друг к другу (особенно в своих народно-разговорных разновидностях) и до сих пор имеют некоторые общие развивающиеся в них закономерности. Между этими языками существует широкая полоса переходных говоров, отнесение которых к русской или белорусской языковой территории с собственно лингвистической точки зрения весьма условно. И все же существование белорусского и русского языков, как самостоятельных лингвистических единиц, является безусловным фактом, поскольку имеются русская и белорусская нации. То, что в дореволюционное время по-великодержавному настроенные языковеды не признавали белорусский язык, считая его «наречием» русского языка, лишь подтверждает необходимость при определении границ между языком и диалектом обращаться к данным всех других общественных наук, к самой жизни. В отличие от русского и белорусского язы-

[12] Л. П. Якубинский, История древнерусского языка, М., 1953, стр. 266 исл.

ков, северные и южные немецкие диалекты настолько отличаются друг от друга, что их носители, если они не прибегают к литературному языку, плохо или вовсе не понимают друг друга, и все же эти диалекты составляют части одного немецкого языка. Мы до сих пор не знаем в точности, сколько в настоящее время языков имеется на земном шаре или даже во многих отдельно взятых странах. Эта неполнота знаний обусловлена не только слабой лингвистической изученностью некоторых областей земли, но и всякого рода социальными факторами.

Социальная обусловленность языка, его принадлежность к общественным явлениям проявляется и в том, что язык в той или иной степени является хранителем «информации» о прошлом человечества, об истории племен, народов и наций. Язык — неоценимый источник для решения сложных этногенетических проблем, вопросов истории культуры, прошлой и современной, особенно для освещения эпох, о которых нет сведений в письменных документах. Справедливо считается, что без правильного решения языковых проблем не могут успешно развиваться литература, а также все то, что скрывается за емким понятием «культура речи». Совершенно очевидно, что самоограничение исследователей, которые считают своей единственной (или основной) задачей изучение имманентных сторон языка, построение «моделей», с точки зрения развития общей науки о языке и общественной практики никак нельзя считать оправданным. И вовсе неприемлемы концепции, по которым причинность языковых изменений якобы не является предметом изучения, историзм не обязателен для понимания сущности языка, никакого прогресса в языковом развитии нет[13]. Подобные взгляды, которые высказываются и некоторыми советскими лингвистами, в лучшем случае обусловлены узостью мышления языковедов этого направления, за деревьями не видящих леса.

Чем успешнее языкознание разрабатывает проблемы языка, связанные с его общественными функциями и самой его социальной сущностью, тем большим внимание оно пользуется в обществе. Между прочим, это относится и к тому, какое внимание уделяют языковедческим работам историки, литературоведы, представители других общественных наук. Хорошо известна былая популярность среди «общественников» исследований таких корифеев отечественной лингвистики и филологии, как А. А. Шахматов, Н. Я. Марр, И. Ю. Крачковский и ряда других ученых. Известны многим нелингвистам историко-лингвистические и социолого-лингвистические работы Л. П. Якубинского, Б. А. Ларина, Г. О. Винокура, Н. И. Конрада, В. М. Жирмунского, В. И. Абаева и некоторых других исследователей. Имеют широкий «выход в общественность» труды В. В. Виноградова, наиболее крупного и яркого представителя социальной лингвистики в наше время, основателя лингвостилистики, получившей международное признание. И все же факт остается фактом: за последние годы интерес к языкознанию со стороны представителей других общественных наук (прежде всего, со стороны историков) заметно снизился. Объяснение этому нужно искать прежде всего в резком падении удельного веса среди лингвистических работ исследований, относящихся к проблеме «язык и общество» (в самом широком ее понимании).

В настоящей статье затронуты только некоторые вопросы, связанные с проблемой социальной обусловленности языка. Мне хотелось лишь подчеркнуть, что связи между общественными функциями языка и языковой системой не являются случайными. Общественные функции языка влияют на его структуру непосредственно или через разного рода опосред-

[13] Критику этих взглядов см. в работе: Р. А. Будагов, Проблемы развития языка, М.— Л., 1965.

ствования. Самостоятельность, независимость языка от внешних условий относительна, поэтому и различие между «внутренней» и «внешней» лингвистикой условно. Каждый естественный язык развивается не по строгим логико-математическим программам, а стихийно на протяжении многих веков и тысячелетий, в каждый момент своей истории испытывая воздействие со стороны разного рода общественных факторов, представляя собой традиционную, полученную в наследство «систему» со всякими противоречиями, непоследовательностями, «избыточностями», отклонениями от изменчивых стандартов и т. д., и т. п. Не случайно естественный язык очень мало поддается сознательному регулированию и логическому упорядочению. Язык — весьма сложное и многоаспектное явление. Естественно, что изучение его ведется и должно вестись в самых разных направлениях, в зависимости от задач исследования.

Для развития современной науки характерно возникновение новых дисциплин на стыках старых. Природа языка такова, что оказалось возможным выделять в нем элементы и отношения между ними чисто количественного характера, поддающиеся изучению математическими (формализованными) методами. Исследования в этой области представляют не только теоретический интерес, но и сулят открытия практического характера. Так возникла прикладная или математическая лингвистика на стыке языкознания и математики. Мы надеемся, что разыскания в этой области приведут к осуществлению практически приемлемого машинного перевода с одного языка на другой и других важных достижений, связанных с автоматизацией некоторых видов интеллектуальной работы. Правда, пока накоплены (в опубликованном и рукописном виде) горы алгоритмов и их теоретических обоснований, а «выходы» в практику заставляют себя ждать гораздо дольше, чем было широковещательно обещано.

В известной связи с математической лингвистикой получают широкое распространение структуральные методы исследования языка. Правда, то, что имеет обозначение «структурализм», как известно, представляет собой совокупность очень разных лингвистических направлений. Во всяком случае все эти направления объединяет стремление к изучению языка как знаковой структуры, состоящей из разных иерархически расположенных уровней и представляющей собой систему оппозиций, к «точным» (формализованным) методам описания, к исключению из языкового анализа «экстралингвистических» факторов и некоторые другие особенности. Кое-какие успехи в структуральном изучении языка несомненны (прежде всего в области фонологии). Вероятно, структуральная лингвистика имеет будущее. Эффективность структуральных методов будет проверяться тем, как много можно добиться посредством этих методов новых положительных знаний об устройстве языка, о законах его исторического развития. На мой взгляд, успешному развитию структуральной лингвистики серьезно мешает шумная реклама, которой увлекаются некоторые ее представители, чрезмерное обилие абстрактных схем, не подтвержденных глубоким анализом языковых явлений, тенденция к разрыву между моделированием и сложной языковой действительностью, языковой «эмпирикой», далеко не всегда оправданное заимствование математической терминологии и склонность к заумному терминотворчеству, к наукообразности изложения мыслей и некоторые другие «избыточности».

Надо поддерживать исследования на стыке языкознания и математики. В то же время нельзя забывать и о других не менее важных «стыках». Это — области, связанные с изучением проблем языка и мышления, языка и психики и др. Нужно развернуть также широкие разыскания на стыке языкознания и истории. Языкознание не должно и не может развиваться однобоко, с обязательным креном в какую-либо сторону.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4, 1966

АРН. ЧИКОБАВА

К ВОПРОСУ О ПУТЯХ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ

За последние сорок лет в зарубежной лингвистике все интенсивнее становится процесс брожения, происходят сдвиги в понимании основных вопросов науки о языке. Обусловлены эти явления в первую очередь причинами внутреннего порядка, т. е. положением вещей, как оно сложилось в языкознании к началу нашего века. Немалую роль играет влияние извне — экзогенные факторы, достаточно мощные для того, чтобы вызвать постановку новых вопросов или же дать новое направление решению старых вопросов.

Сколь далеко идут при этом расхождения, можно судить по тому, что имеет место даже попытка выдвинуть новый термин («глоссематика») для обозначения науки о языке: тем самым подчеркивается, что старый термин («лингвистика») не в состоянии вместить нового понимания.

Советская лингвистика за последние десять лет постепенно втягивается в этот многосложный процесс, имея за спиной немалый груз собственных трудностей, порожденных более чем двадцатилетним безраздельным господством «нового учения» о языке и своеобразием последискуссионных лет. Сложные процессы в этих условиях не лишаются остроты, а наоборот, обрастают дополнительными трудностями.

*

Среди основных вопросов, к которым восходят противоречия, выделяются три:

1. История языка и описание языка, иными словами — диахронная и синхронная лингвистика, их взаимоотношение и роль в научном познании языка, методы, ими используемые, коротко: диахрония и синхрония.

2. Философия языка и общелингвистическая теория.

3. Прикладная лингвистика, структурные и математические приемы исследования. По этим вопросам то выдвигаются альтернативы, то перекрещиваются различные понимания.

От динамики к статике

Наука о языке возникла в XIX в. в результате исторического подхода к фактам языка. Применение исторической точки зрения обусловило выявление закономерностей, характерных для языка. Эти закономерности были обнаружены в развитии звукового облика слова, в развитии форм слов. Они имели принципиальное значение: закономерное значило научное, из нормативной дисциплины грамматика превратилась в позитивную объяснительную науку.

Историческая грамматика (и по задачам тесно с ней связанная сравнительная грамматика) явилась той основой, на которой возникла наука о языке. Использование принципа историзма

знаменовало коренной поворот в понимании языка как объекта, все стороны которого подвержены в той или иной мере изменениям и не могут быть поняты без учета этих изменений.

Историко-сравнительная грамматика выдвинула морфологию слова как важную отрасль лингвистики: в историко-сравнительном анализе форме слова отводилось исключительно важное место (в решении вопроса об историко-генетическом взаимоотношении языков).

В виде самостоятельной отрасли была выделена семасиология как учение о значении слова, точнее — его изменениях. Была создана фонетика (описательная, историческая) как учение о звуках и закономерностях их изменений.

Масштаб происшедших перемен, однако, ни в чем не нашел такого яркого выражения, как в создании научной этимологии слова (взамен фантастических интерпретаций и полного произвола в расчленении интерпретируемого слова, что было так специфично для вольного этимологизирования на протяжении более чем двух тысяч лет). С созданием научной этимологии связан громадный культурно-исторический интерес.

Благодаря историзму грамматика превратилась в науку: в учение о закономерностях языка, пусть и ограниченных рамками применения, но все-таки закономерностях.

Филологическая грамматика древних греков, к которой восходят грамматики всех европейских языков, не считала себя наукой: она считалась «искусством», т. е. технической дисциплиной (греч. ἡ τέχνη γραμματική, лат. ars grammatica); если у греков геометрия считалась «наукой» (θεωρία), грамматика не была θεωρία, а лишь τέχνη). Рациональная грамматика (XVII в.), связанная с картезианской философией, также не претендовала на роль науки: рациональная грамматика (resp. философская грамматика XVIII в.) оставалась искусством (l'art de parler «искусство говорить»).

Философские грамматики XVIII в., несмотря на наличие в них интересных наблюдений и отдельных обобщений, прекрасно уживались с фантастическими выкладками этимологистов, с произвольностью анализа фактов языка, которые при этом имели место. Философской грамматике нечего было противопоставить произвольным операциям этимологистов.

Философия языка, при всем ее богатстве мыслями о сущности языка, оказалась неспособной заложить основы научного изучения языка (примерно так же, как натурфилософия не была в состоянии заместить естественные науки, хотя и содержала немало глубоких мыслей).

«Языкознание вступило из философского периода в исторический»[1],— не без основания писал Б. Дельбрюк в 1893 г., резюмируя свой обзор развития лингвистической мысли за XIX в.

В 1880 г. появилось первое издание книги Г. Пауля «Принципы истории языка»[2] (= «Принципы языкознания»). «История языка» для Пауля равнозначно «языкознанию», «научному изучению языка». «Кое-кто [Фр. Мистели.— *А. Ч.*], возражая мне,— пишет Г. Пауль, — указывал, что, помимо исторического, существует еще и другой способ научного изучения языка. Никак не могу согласиться с этим. То, что понимают под неистори-

---

[1] B. Delbrück, Einleitung in das Sprachstudium, 3 Aufl., 1893 (русск. перевод «Введение в изучение языка» см. в кн.: С. К. Булич, Очерк истории языкознания в России, I, СПб., 1904). «Sprachstudium» в данном случае равнозначно «изучению языка» (а не «науке о языке»).

[2] H. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte, Halle, 1880 (русск. перевод: Г. Пауль, Принципы истории языка, М., 1960).

ческим и все же научным рассмотрением языка, есть по сути дела также историческое, но не совершенное изучение языка..»[3].

В 1906 г. А. Мейе писал, как бы наперекор утверждениям Дельбрюка: «Девятнадцатый век был веком истории, и успехи, достигнутые лингвистикой при применении исторической точки зрения, поразительны. Социальные науки формируются теперь, и лингвистика должна занять место, подобающее ей в соответствии с ее природой. Настало время, когда должно быть очерчено место лингвистических проблем с точки зрения социальной» [4].

Социальной точкой зрения отнюдь не исключается историческая; попытка А. Мейе противопоставить социальное историческому может быть понята лишь как признание недостаточности исторического, а не отрицание исторического: Мейе стоял на позициях историзма и обоснованию его посвятил не одну работу, написанную талантливо.

В 1936 г. состоялся IV Международный лингвистический конгресс, о котором итальянский языковед В. Пизани пишет, что «социологическая школа А. Мейе освещала этот конгресс лишь скупыми лучами заходящего солнца, в то время как в зените находилась фонология...; рядом с самой фонологией наблюдалось ее универсалистское распространение — структурализм В. Брёндаля и Л. Ельмслева» [5].

Итак, историзм — социологизм — структурализм — таковы вехи, знаменующие пути эволюции зарубежной общелингвистической мысли за какие-нибудь 50 лет, протекших от первого издания «Принципов истории языка» Пауля (1880) до тридцатых годов, когда стала формироваться фонология (в Пражской школе) и на исходе которых (1939) в Копенгагене появился первый выпуск «Лингвистических трудов» («Acta linguistica»), «международного органа структурной лингвистики» (под ред. В. Брёндаля и Л. Ельмслева).

Сдвиг, начавшийся еще в конце двадцатых годов, связан с концепцией Ф. де Соссюра, представленной в его посмертном труде «Курс общей лингвистики» [6] (1915). Концепция, изложенная в этом труде де Соссюра, сыграла в развитии общелингвистических воззрений Запада примерно такую же роль, какая отводится в развитии немецкой идеалистической философии критицизму Канта: западноевропейская лингвистика последних 40 лет или строится на идеях де Соссюра, т. е. в той или иной мере восходит к де Соссюру, или же развивается путем преодоления положений и идей де Соссюра.

Язык — система и примат синхронии

Для концепции де Соссюра исходным служило положение о необходимости различения языка и речи, синхронии и диахронии, внутренней и внешней лингвистики.

Исключительно важным по последствиям оказалось различение языка как социального феномена от речи как индивидуального явления: язык — система знаков, обладающих значимостью (валентностью); он служит предметом синхронного анализа, т. е. описательной грамматики. Диахроническая (или эволюционная) лингвистика имеет

---

[3] Г. Пауль, указ. соч., стр. 42—43 (стр. 20 нем. оригин.).

[4] A. Meillet, L'état actuel des études de linguistique générale, в кн.: «Linguistique historique et linguistique générale», Paris, 1921, стр. 18.

[5] В. Пизани, Общее и индоевропейское языкознание, М., 1956, стр. 84.

[6] F. de Saussure, Cours de linguistique générale, 1-e éd., Genève, 1915 (русск. перевод: Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933).

дело лишь с отдельными фактами языка: изменения, изучаемые в диахронической лингвистике, не образуют системы [7].

«Отношения в системе» и «отношения во времени» не могут одновременно изучаться, «синхроническая» и «диахроническая» точки зрения исключают друг друга: «Противопоставление двух точек зрения — синхронической и диахронической — совершенно абсолютно и не терпит компромисса» [8], — так считает де Соссюр.

Соответственно двум точкам зрения — синхронической и диахронической — де Соссюром выделены «лингвистика языка» и «лингвистика речи». Они не только выделены, но и противополагаются. Поэтому естественно ставить вопрос: что важнее — синхроническая лингвистика или диахроническая лингвистика? Ответ де Соссюра может быть лишь один: «синхронический аспект важнее диахронического» [9], ибо «язык есть система, все части которой могут и должны рассматриваться в их синхронической связи» [10]. Отсюда вывод: историческая грамматика лишена тех преимуществ, которые имелись у донаучной грамматики: «предмет ее лучше определен, чем у той лингвистики, которую основал Бопп» [11]. «Лингвистика слишком большое место уделяла истории; теперь ей предстоит вернуться к статической точке зрения традиционной грамматики... Прежняя грамматика видела лишь синхронический факт, лингвистика открыла нам новый порядок феноменов, но этого недостаточно...» [12].

Так был обоснован примат синхронической точки зрения, преимущество описательной грамматики перед исторической в концепции де Соссюра.

Для Пауля «исторический» был синонимом «научного». Подлинно научным де Соссюр признает лишь описание системы языка. История языка имеет дело не с системой, а с отдельными фактами. История языка в воззрениях де Соссюра не отклоняется, ей отводится определенное место, но место, более чем скромное. Антиисторизм находит, по мнению де Соссюра, принципиальное обоснование в характере изучаемого объекта: не разрозненные факты, а язык как целостное, как система — таков объект синхронической лингвистики, и этим обусловлен перевес описательного над историческим, синхронии над диахронией.

Итак, отход от историзма оказался связанным с понятием системы языка. В дальнейшем процесс нашел завершение в отрицании историзма: подлинно научным следует, мол, считать лишь описательный, синхронный, анализ языка.

Понятие системы объективно не дает оснований для антиисторизма. Понятие системности языка остается научно значимым, ценным независимо от того, какие выводы будут сделаны из него. Системный характер языковых фактов может повлиять на процесс изменений поскольку система влияет на историю (см. ниже, стр. 55).

---

[7] «*Синхроническая лингвистика*,— пишет Ф. де Соссюр,— займется логическими и психологическими отношениями, связывающими существующие элементы и образующими систему, изучая их так, как они воспринимаются одним и тем же коллективным сознанием.

Диахроническая лингвистика, напротив, будет изучать отношения, связывающие элементы в порядке последовательности, не воспринимаемой одним и тем же коллективным сознанием,— элементы, заменяющиеся одни другими, но не образующие системы» (разрядка моя.— *А. Ч.*) (см.: Ф. де Соссюр, указ. соч., стр. 103).

[8] Там же, стр. 90.

[9] Там же, стр. 95.

[10] Там же, стр. 93.

[11] Там же, стр. 90.

[12] Там же.

Несравненно важнее другое обстоятельство: на наш взгляд, описание системы не может игнорировать историю, если не хочет превратиться в механическую регистрацию непонятных фактов[13].

Тем самым подтверждается зависимость системы языка от ее истории, иными словами — подтверждается ведущая роль истории в научном познании языка. Это обстоятельство принципиальной важности в концепции де Соссюра не учитывается. Незамеченным остается оно и в воззрениях, восходящих к положениям де Соссюра.

Чтобы понять, каким же образом в этих условиях тезис де Соссюра о системности языка [14] был в состоянии привести к далеко идущим выводам, необходимо учесть некоторые явления и тенденции более общего порядка: выдвижение идеи целостности, как она стала пониматься и в других науках, во-первых, и негативные установки в отношении к историзму, во-вторых. Оба явления наметились в других науках.

1. Идея целостности, лежащая в основе понятия системы языка, оказалась доминирующей идеей в ряде наук.

Так, в психологии еще в конце XIX в. было выдвинуто положение о первичности целого (целостного) в сравнении с составляющими его элементами: первично восприятие, а не ощущение,— не из ощущений строится восприятие, а ощущения выделяются из восприятия.

Гештальтпсихология (т. е. структурная психология) противополагается «ассоциативной психологии» как атомистической. Структурная психология сочеталась с описательными установками.

2. Вторая половина XIX в. характеризуется широким распространением позитивизма и связанного с ним психологизма.

Психологизм, т. е. стремление обрести в психологии объяснительные понятия (resp. принцип), господствовал не только в лингвистике, в частности грамматике, но и в литературоведении, теории права, а также в логике, гносеологии, теории математики [15].

В XX в. на смену психологистическому позитивизму пришел логический (точнее: логистический) позитивизм с его теорией анализа языка науки. С отрицания позитивизма и связанного с ним историзма начал датский структурализм, который уже в лице Брёндаля ориентируется на «логику речи» (в противовес «психологии речи» XIX в.), на универсальную (всеобщую) грамматику (в принципе противоположную исторической грамматике), на дедукцию (взамен индукции, которая характерна для всякой эмпирической науки).

Синхрония исключает диахронию,— с перспективой превращения синхронии в панхронию и тем самым в ахронию («всевременное» и «сверхвременное»).

---

[13] Пример такой регистрации — распределение имен по родам *шмель*, *зверь* — муж. род., *лань*, *тень*, *сеть* — жен. род, нем. «книга» (das Buch) ср. род, «пол» (*die Diele*) — жен. род, «дом» (*das Haus*) ср. род. Почему? Неизвестно: регистрируем без обоснования и обобщения.

[14] Кстати, системность языка признавалась и до опубликования труда де Соссюра. Идею целостности языка выдвигал еще Пауль: «психологический организм речевых представлений» в концепции Пауля соответствует понятию «языка» в воззрениях де Соссюра; согласно Паулю, отдельный речевой акт, «сказанное не имеет развития»; развитие возможно благодаря наличию «организма представлений» [Г. Пауль, указ. соч., стр. 49 (стр. 28 нем. оригин.)].

[15] Гуссерль пишет, что если он в первом томе «Философии арифметики» уделял много места психологическому анализу, то в дальнейшем, отказавшись от психологизма, счел необходимым обосновать «чистую логику и теорию познания...» (E. Husserl, Logische Untersuchungen, I, Halle a. Saale, 1900, стр. VI—VII).

Глава датского структурализма Л. Ельмслев, автор «глоссематики», определяя структуру как «явление чистой формы и чистых отношений», ссылается на «логическую теорию языка» и на определение структуры, данное Карнапом [16].

Рассматривая язык, как «систему соотношений», Ельмслев считает, что «остов соотношений и должен быть главным предметом языковедения»[17]. Для истории не остается места. Изучение языка исчерпывается описанием структуры. Исторический подход в принципе отклоняется.

Описание системы языка выдвигается в качестве основной задачи и в американском структурализме, который выступает под именем «дескриптивной (т. е. описательной) лингвистики».

Существует внутренняя связь между основным теоретическим постулатом американского структурализма и дескриптивной (описательной) установкой. Для дескриптивной лингвистики язык — средство общения («Разделение труда и вместе с тем вся деятельность человеческого общества обязана языку»[18]), но общение не подразумевает понимания как факта сознания: ментализм исключается антименталистскими установками бихевиористской психологии: значение языкового факта — это «ситуация» [19], слово как речевой сигнал относится к ситуации, физическое к физическому, элиминируя психическое (процессы и акты сознания).

«Для менталиста язык является выражением мыслей, чувств, волевых актов» [20]. Но, по мнению Блумфилда, «умственные образы чувствования и т. п. суть просто популярные термины для обозначения различных телесных движений» [21].

Сообразно с этим процесс речевого общения сводится к стимулу (действительному или же замещенному при помощи слова) и реакции (словесной или действительной). Описывается процесс речевого общения в терминах физиологии. Свою теорию Блумфилд называет материалистической (или лучше — механистической) [22].

С механистическим принципом согласуется основная методика дескриптивной лингвистики — анализ сегментов высказывания по принципу дистрибуции (расположения элементов). «Структурная лингвистика до сих пор все еще не поднялась над уровнем описательной дисциплины. Недаром в США синонимом структурной лингвистики служит термин „дескриптивная лингвистика“» [23].

Описание процесса речевого общения, как определенного вида стимула и реакции, анализ языка, как физической данности, по принципу дистрибуции, естественно, не нуждается в истории.

4. В связи с развитием кибернетики и тесно с ней связанной математической лингвистики в порядке дня стал ряд вопросов прикладного характера и прежде всего вопрос об автоматическом (машинном) переводе с одного языка на другой.

Естественный, конкретный, язык при этом переводится на абстрактный «язык», доступный машинным операциям. Проведение необходимой подготовительной работы (составление алгоритма, кодирование и т. п.) вовсе не нуждается в истории языка. Необходим лишь описательный анализ. Стало быть, и здесь — при решении прикладных за-

---

[16] Л. Ельмслев, Метод структурного анализа в лингвистике, AL, VI, 2—3, 1950—1951, стр. 62.
[17] Л. Ельмслев, указ. соч., стр. 58.
[18] L. Bloomfield, Language, New York, 1933, стр. 24.
[19] Там же, стр. 139.
[20] Там же, стр. 142.
[21] Там же.
[22] Там же, стр. 33.
[23] С. К. Шаумян, Структурная лингвистика, М., 1965, стр. 14.

дач — вопрос решается в пользу описательного анализа («описательной грамматики»), в пользу синхронии, а не диахронии, в пользу статики, а не динамики.

Машинный перевод — задача прикладной лингвистики, но его решение имело бы колоссальное значение. Теперь сфера применения языка ограничивается лишь рамками соответствующего языкового коллектива, за его пределами данный язык перестает быть средством общения. Машинный перевод снимает трудности общения, связанные с многоязычием, вопрос об едином языке будущего теряет остроту.

*

Если XIX в. считался в языкознании веком исторической грамматики, XX в.— по крайней мере за последние сорок лет — идет под знаком описательной грамматики, синхронного изучения языка. Так, по меньшей мере, в зарубежной лингвистике.

Отсюда не следует: ни то, что вопросы истории языка уже нашли должное решение в историко-сравнительном языкознании; ни то, что — с отходом от историзма — вопросы описательного анализа уже разрешены в современных течениях структурализма.

О проблемах, которые здесь имеются, будет сказано ниже.

«История языка — это и есть наука о языке» было ведущим положением. «Описание языка составляет содержание лингвистики» стало ведущим положением зарубежной лингвистики.

Изменилась точка зрения: вряд ли кто стал бы утверждать в XIX в., будто «к описанию языка сводится задача лингвистики», так же, как в наши дни никто не повторяет формулы Пауля: «история языка—это и есть наука о языке».

Дополнительные трудности советского языкознания

Лингвистика в Советском Союзе добилась немалых успехов по линии исследования конкретных языков, различных по структуре и происхождению: языков индоевропейских, тюркских, угрофинских, палеоазийских (или северных), иберийско-кавказских. Того же нельзя сказать про теорию.

Успехи в области разработки основных вопросов общелингвистической теории весьма скромны (Потебня, Фортунатов, Бодуэн де Куртенэ, Шахматов являлись не только глубокими исследователями конкретных вопросов, но и крупными теоретиками-лингвистами).

Лингвистической теории в Советском Союзе не повезло. Безраздельное господство «нового учения о языке» продолжалось более двадцати лет.

Обычно в критических суждениях о новом учении отмечают фантастичный характер палеонтологического учения об элементах и анализа по элементам, научную несостоятельность теории о едином глоттогоническом (языкотворческом) процессе и стадиальном развитии языков.

Единый глоттогонический процесс и стадиальное развитие языков призваны были отобразить лингвистические понятия, соответствующие понятиям единого исторического процесса и общественно-экономической формации, понятиям принципиальной важности и большого познавательного смысла. «Новому учению» не удалось лингвистически их обосновать даже в плане более или менее цельной схемы; это

естественно: ведь вопрос решался на основе данных лексики, и то анализируемых Н. Марром при помощи четырех элементов: фундаментальный вопрос истории развития человеческой речи Н. Я. Марр пытался решать средствами, которые совершенно игнорировали историю.

Но не только в этом была беда: не столько в неаргументированности теоретических положений «нового учения» был источник злоключений для советского языкознания.

Неудача отдельного специалиста в решении научного вопроса остается неудачей данного ученого. Иное дело, когда неверное решение навязывается другим специалистам как последнее слово революционной марксистской мысли, объявляется мерилом, которым следует определить не только приемлемость теоретического положения, но и общественное лицо инакомыслящего: неприемлющий «нового учения» — значит: «классовый враг», «внутренний эмигрант» со всеми вытекающими отсюда следствиями [24].

Монополизировать положение в советском языкознании — такова была цель. Цели соответствовали специфические средства; они не имели с наукой ничего общего, но обладали большой ударной силой.

В этих условиях ни о каком развитии общелингвистической теории не могло быть речи. Историко-сравнительные исследования были сведены на нет («Буржуазная компаративистика!» «Реакционная индоевропеистика», «Индоевропейская лингвистика — плоть от плоти, кровь от крови отживающей буржуазной общественности, построенной на угнетении европейскими народами народов Востока их убийственной колониальной политикой» [25] и т. д. и т. п.).

Во многом спорная, но очень интересная работа по вопросам описательной грамматики, которую так интенсивно вели сторонники «формальной грамматики», московские специалисты, русские предшественники структурализма, была подмята «новым учением».

Даже составление словарей инкриминировалось как «уход в лексикографию». Монополия была достигнута. Общелингвистическая теория не развивалась. Зато вкус к личной монополии привился — в масштабах не только всесоюзных, но и более ограниченных, местных.

Народились и карьеристы-конъюнктурщики, искусно пользовавшиеся обстановкой в целях, не имеющих ничего общего с наукой,— мастера вычитывать то, чего не имел в виду автор, и с большой легкостью умевшие формулировать тяжелое обвинение, «подводить под статью».

После лингвистической дискуссии (1950), положившей предел бесчинствам «нового учения», многие из них (не все марристы! не только марристы!) обрели более острое оружие: «искажение сталинских положений» они выискивали не менее искусно, чем тогда, когда, оперируя марристскими положениями, обвиняли в расизме и в прочих смертных грехах.

В этом самое тяжелое наследие марризма, и об этом забывать нельзя.

---

[24] «Новое учение о языке требует отречения не только от старого научного, но и от старого общественного мышления. Вот почему так трудно стать лингвистом-теоретиком» [Н. Я. Марр, Почему так трудно стать лингвистом-теоретиком?, в кн.: Н. Я. Марр, *Избр. работы*, II — *Основные вопросы языкознания*, [М.— Л.], 1936, стр. 426 (доклад прочитан публично в Тбилиси в 1928 г.; опубликован в сб. «Языковедение и материализм», Л., 1929)].

«Велика жатва, но нет жнецов. А где наши попутчики? Спросите их. Только одно могу сказать: теперь некуда уходить. От разлагающих старое учение семян яфетической теории нельзя спастись ни в какой стране, ни в какой научной эмиграции, ни внешней, ни внутренней» (Н. Я. Марр, указ. соч., стр. 414).

[25] Н. Марр, Об яфетической теории, в кн.: Н. Я. Марр, Избр. работы, III, 1934, стр. 1.

Было бы сильным преувеличением утверждать, что такие нравы изжиты окончательно, хотя бесспорно и то, что за последние десять лет они пошли на убыль [26].

Принципы советской науки исключают безразличие к методологическим основам нашей науки.

С принципами советской науки равным образом несовместима личная монополия в науке.

На возможности существования различных лингвистических школ в советском языкознании следует настаивать как на одном из необходимых условий развития теоретической лингвистической мысли.

Новое и критерий его научной ценности

В поступательном движении наука может развиваться или от притока (выявления) нового материала или же от применения новой точки зрения, оказавшейся плодотворной, а в оптимальных случаях от сочетания и того и другого.

Новое далеко не всегда находит выражение в названии течения (направления), но может и подчеркиваться в наименовании. В истории языкознания известны три таких случая: неограмматическое (т. е. новограмматическое, или младограмматическое) направление в Германии, неолингвистика (т. е. новая лингвистика) в Италии, «новое учение о языке» в СССР.

Представители неограмматического направления (Бругман, Остгоф, Лескин, Пауль) противопоставляли свои положения натуралистической концепции гегельянца Шлейхера, концепции, которая по масштабу поставленных проблем (развития языка) до сих пор остается непревзойденной.

Итальянская неолингвистика (Бартоли, Бонфанте, Пизани) критически относилась к весьма существенным для установок неограмматического направления положениям (порой эта критика звучит вполне убедительно, например в вопросе о реконструкции), хотя и не отказывалась от принципов историзма.

«Новое учение о языке» Н. Марра в своих негативных установках (по отношению ко всем течениям исторической лингвистики) рубило с плеча, отбрасывая историко-сравнительное языкознание и все связанные с ним понятия как принципиально неприемлемые (сравнительная грамматика — «буржуазная компаративистика», генеалогическая классификация «расовое учение»): лингвисты, мол, были, науки же о языке до сих пор не было.

Новые направления, независимо от того, называют они себя «новыми» или нет, стремятся отграничить свои позиции от предшествующих. Происходит это по-разному.

Исследовательская практика служит единственным критерием, который призван решить, что подлинно ценного в новом (что останется в науке и поможет ей вскрывать неизвестные дотоле закономерности — бытия, становления и развития языков) и что является эфемерным и преходящим: пошумит и пройдет.

Поэтому-то представляется научно правомерным и практически необходимым создать условия, необходимые для широкого применения

[26] Тягостное впечатление оставляют, в частности, шарахания из одной крайности в другую (например, в вопросе о структурализме), когда один и тот же специалист с одинаковым воодушевлением утверждает совершенно противоположные вещи.

Или же, когда одна и та же работа последовательно то обвиняется как несогласная с положениями сталинской работы, то как воплощение догматизма — сообразно конъюнктуре.

новых структурных и математических методов, сравнительно-типологического, дистрибутивного и трансформационного анализа и т. д.

Поисковые работы необходимы во всякой науке; лингвистика не может составлять исключения.

Следует при этом отметить, что принципиальные теоретические установки, послужившие исходными для выдвижения вышеупомянутых специальных методов, для советского языкознания неприемлемы, неприемлемы не в меньшей мере, чем психологизм в концепциях младограмматиков (например, Пауля) или психологизм в понимании семиологии у де Соссюра; но это обстоятельство не могло помешать тому, чтобы историко-сравнительная методика оставалась в качестве рабочего метода советской лингвистики.

Правда, в таком специальном методе, как дистрибуция, сильнее проглядывает органическая связь с бихевиористским антиментализмом (язык — форма поведения; значение языкового факта — ситуация); историко-сравнительная методика столь органически не связана с психологизмом (она возникла независимо от психологизма и задолго до психологизма). И все-таки новые приемы анализа, специальные методы должны быть испытаны в исследовательской практике: те методы должны быть внедрены, которые окажутся более эффективными в решении задач как синхронической, так и диахронической лингвистики. Судить о ценности специальных методов можно лишь «по делам», а не по словам.

Начинать же с теоретизирования, искать оправдания того или иного течения в отвлеченно конструированной теории, значит, становиться на принципиальные позиции (установки) философии языка.

Слов нет, философия языка (так же, как психология языка) немаловажна для общелингвистической теории, философию языка нельзя игнорировать [27], ее следует изучать, изучать с учетом конкретных достижений науки о языке и с позиций этих достижений, но изучать философию языка не значит отождествлять общую лингвистику и философию языка: общая лингвистика не есть философия языка, так же как натурфилософия не есть естествознание.

Исходные положения и основные выводы

Изложенные выше мысли не что иное, как личное убеждение специалиста, выработавшееся в процессе долголетней исследовательской работы над конкретным лингвистическим материалом своеобразных по структуре иберийско-кавказских языков, их исторического и описательного анализа.

Как личное мнение исследователя оно лишено каких-либо претензий, кроме одной,— представить цельное суждение по основным теоретическим вопросам языкознания.

Мнение это опирается на определенное понимание ряда узловых вопросов. Считаем нужным изложить его в виде ряда положений: право высказывать критические мысли по общим вопросам науки накладывает обязанность выдвигать возможные позитивные решения.

1. Языкознание — эмпирическая наука. Теория всякой эмпирической науки естественно строится на результатах исследовательской практики, критически осмысленной. Прямое назначение теории сделать исследовательскую практику более плодотворной (этим она отличается от философии языка: эта последняя подобных целей не ставит: теория здесь— самоцель).

[27] Кстати, ни философии языка, ни психологии языка не уделяется у нас того внимания, какого заслуживает их изучение.

2. Предмет лингвистики — язык, как давно сказано, «древнейший и правдивый свидетель истории», одно из самых человеческих — в человеке — порождений коллективной жизни человека, притом теснейшим образом связанное с его мышлением.

Научное изучение языка никогда не имело и поныне не имеет цели более важной, чем изучение языка в связи с жизнью языкового коллектива (язык — существенный признак племени, народа, нации), с одной стороны, в его связи с мышлением (и в статике и в динамике), т. е. в его связи с историей культуры и историей мысли, с другой стороны [28].

3. Порождение коллективной жизни человека, язык, естественно изучать в его развитии: бытие изучать в становлении.

Без историзма нет науки о языке. Лингвистика минус историзм — это лишь описательная грамматика и философия языка,— одним словом, то, что имелось еще до возникновения науки о языке.

Г. Шухардт, отнюдь не ортодоксальный последователь историко-сравнительного языкознания, рассматривая в своей рецензии синхронную лингвистику де Соссюра, между прочим, писал: «...у меня возникает вопрос: а существует ли что-либо, кроме истории языка, достойное называться языковедной наукой» [29].

4. Крен в сторону синхронии логическое завершение нашел в тезисе о панхронии и ахронии датского структурализма: структурализм=синхрония; в синхроническом структурализме история в принципе элиминируется.

5. В наши дни все усиливается тенденция синтезировать структурализм с историзмом: синхронический структурализм заместить диахроническим структурализмом. Это симптоматично. В этом наглядное доказательство жизненности принципа историзма: научное изучение языка не сводимо к синхронии, без диахронии не обойтись.

Структура языка небезразлична для истории: системность фактов языка может влиять на результаты изменений [30]; но развитие языка не определяется структурой: структура языка образует фон развития, в определенных случаях являясь одним из условий внутреннего развития, но далеко не единственным условием, и тем более решающим фактором развития.

Процесс развития обусловливается комплексом факторов: и внутренних и внешних (в частности, влиянием других языков).

Диахронический структурализм может внести определенный вклад в изучение языка, но не в состоянии заместить историю языка. «...я пред-

---

[28] Вопрос о смысле изучения языка в наши дни становится особенно актуальным. Когда, допустим, ставится вопрос о построении «общей теории отношений языковых систем» как «наиболее существенной задачи теоретического языкознания» естественно спросить, каков познавательный смысл такой теории? Универсалии? Но дедуктивные универсалии даже в оптимальных случаях представляют собою обобщения на недостаточном основании. Об этом особо.

[29] Г. Шухардт, О книге де Соссюра «Курс общей лингвистики», в кн.: Г. Шухардт, Избр. статьи по языкознанию, М., 1950, стр. 192.

[30] Троечная система аффрикат при наличии парной системы спирантов, в результате спирантизации, с неизбежностью приводит к утере рефлекса абруптивной аффрикаты в одном из картвельских языков, в сванском яз.: [ǯ] [č] [č̣] → [ž] [š] [—]. См.: Г. В. Рогава, Основные вопросы сравнительно-исторического изучения фонетики картвельских языков, «Иберийско-кавказское языкознание», IV, 1952, стр. 35—51 (на груз. яз.); В. Т. Топурия, Некоторые вопросы сравнительной фонетики картвельских языков, там же, XII, 1960, стр. 149—159 (на груз. яз.).

Факты обусловленности морфологических изменений особенностями структуры нами приводились в статье «О некоторых процессах трансформации аналитических образований в синтетические по данным иберийско-кавказских языков» (сб. «Аналитические конструкции в языках различных типов», М.— Л., 1965, стр. 253—261).

лагаю определить структурную лингвистику как науку, имеющую своим предметом динамический аспект синхронии языка», — говорится у С. К. Шаумяна [31]. Если уж в синхронии удается вычитать диахронию, то тем более, диахрония, взятая независимо от синхронии, заслуживает внимания благодаря своей познавательной ценности. Или историзм излишен, и тогда диахронический структурализм не оправдан. Если же диахрония необходима, тогда она научно значима и без структурализма.

Пытаясь совместить два понятия, взаимно исключающие друг друга, диахронический структурализм в дальнейшем развитии логически станет перед выбором — или доминантой считать структурализм (отводя диахронии весьма скромную роль) или же доминанту видеть в диахронии, планомерно учитывающей явления, вытекающие из системного характера языка. Вторая возможность представляется более перспективной.

6. Выступая в защиту диахронии (историзма), мы отнюдь не собираемся современное историко-сравнительное языкознание считать воплощением принципа историзма; равным образом, не склонны игнорировать синхронию, описательный анализ системы языка.

В истории развития языков выделяются два основных процесса: процесс дивергенции (дифференциации) и процесс конвергенции (интеграции). Они противоположной направленности и действуют одновременно.

Историко-сравнительное языкознание возникло в процессе изучения родственных языков, т. е. языков, порожденных процессом дифференциации (дивергенции). Историко-сравнительный метод в его наличном виде — это метод изучения процесса дивергенции.

Что же касается процессов конвергенции и их результатов в историческом прошлом языков, то эти процессы пока что могут быть изучены в весьма незначительной степени: историко-сравнительное языкознание не располагает методом изучения процессов конвергенции. Лингвистическая география, ареальная лингвистика в состоянии лишь частично восполнить пробел.

Ущербность историко-сравнительной лингвистики не в том, что она диахронична, а в том, что она недостаточно исторична: она изучает лишь один поток исторического развития. Процессы дивергенции и конвергенции действуют одновременно в одном и том же языке. Удельный вес каждого из них в различных исторических условиях неодинаков. В развитии языка мы имеем равнодействующую этих двух процессов.

Результаты действия двух процессов — к тому же противоположной направленности,— рассматриваемые с точки зрения лишь одного процесса, не могут претендовать на адекватное отражение подлинного исторического процесса.

7. Этот первородный грех сравнительной лингвистики отягощается стремлением восстанавливать — сравнительным путем— факты языка-основы («праязыка»).

Одно дело признавать язык-основу за регулятивное понятие, необходимость которого постулируется реальностью понятия родственных языков.

Совсем другое дело пытаться восстановить этот язык-основу, относя к этому безответному существу наши выводы, уснащенные звездочками. Даже такой известный из истории, реально существовавший язык-основа, каким считается народная латынь, не будь он известен

[31] С. К. Шаумян, указ. соч., стр. 369.

по памятникам, путем сравнения романских языков не удалось бы восстановить.

Цель сравнения родственных языков не реконструкция языка-основы (например, праязыка индоевропейских языков), а выявление более древних, чем сравниваемые данные, фактов истории.

Науке нужна не ущербная, однобокая история. Познавательный смысл имеют факты реальной истории, а не лишь теоретически мыслимые, безотносительно к тому, соответствует им в реальной истории что-нибудь или нет.

Индуктивной науке, какой, на наш взгляд, является лингвистика, естественно ориентироваться на подлинную историю.

8. В системе науки о языке, основанной на исторической лингвистике, остались нерешенными, как уже отмечали выше, основные вопросы описательного анализа системы языка: рядом с новыми корпусами историко-сравнительного языкознания, воздвигнутыми в XIX в., продолжали и продолжают стоять здания филологической (и рациональной) грамматики, отстроенные в основном до нашей эры, в древней Александрии. Архитектурный ансамбль выглядит весьма своеобразно.

Попытки подновить эти старые здания подпорками из логических понятий, в дальнейшем же понятиями индивидуальной психологии, существенных изменений в положение дела не внесли.

На смену формальной логике и индивидуальной психологии в наши дни приходит математическая логика, но ее интересует не конкретный язык во всей его реальной данности, а универсальные схемы, вылущенные из действующей системы.

9. Язык — система знаков, физических по материалу, социальных по назначению. Знаки языка — отнюдь не копии, отображение предметов, но условное (по отношению к предмету) их обозначение. Знаки эти — физические по своему материалу, произносимые и слышимые, мы воспринимаем как выражение мыслей, в их отношении к обозначаемым фактам действительности; отношение это не меняется от индивидуума к индивидууму, оно носит общественный характер, имеет санкцию коллектива.

Если бы языковой знак не был физическим по своему материалу, то не мог бы стать средством общения [32].

Если бы языковые факты не были знаками, если бы они не обладали значимостью, языковые факты являлись бы предметом изучения естественных наук. Проблема знака органически связана с проблемой значения, одной из главных проблем науки о языке. Проблемы значения не существует для естественных наук [33].

10. Знаки относятся к обозначаемым фактам действительности, с одной стороны, они соотносятся между собою, с другой стороны.

Отношения второго рода образуют систему языка. Отношения между знаками неодинаковы: в морфологии и словообразовании, фонетике и лексике.

---

[32] Арн. Чикобава, Общее языкознание, II — Основные проблемы, Тбилиси, 1945, § 72—76, стр. 144—170 (на груз. яз.); его же, Проблема языка как предмета языкознания, М., 1959, § 61, стр. 172—173.

[33] Знаковую природу языка в советском языкознании отвергали, опираясь на неправильное толкование положения: «язык — действительность мысли», забывая при этом, что авторы этой формулы не защищали тезиса об идентичности языка и мышления.

С понятием системы связано возникновение структурализма (предлагалось даже назвать новое направление «системологией» в 1 вып. «Acta linguistica», 1939).

С изучением системности связано возникновение фонологии как структурной фонетики: системное в фонетике учитывалось и раньше, но принципом анализа стало в фонологии. Ныне понятия системы и структуры различаются (Ельмслев, Фёрт). Не все системное структурно (наличное разграничение системы и структуры спорно).

11. Описательный анализ системы языка призван решить задачи двоякого рода:

а) выявить закономерности, выражающие отношения между фактами языка, между знаками системы (пример такой закономерности: «в именах существительных среднего рода винительный падеж совпадает с именительным»);

в) дать последовательную систематику фактов, объединяющую однородные факты и явления по существенному признаку (результаты такой систематики даны в понятиях: «часть речи», «член предложения», «гласные», «согласные», «спиранты», «аффрикаты», и т. п.).

Положения, выдвигаемые в первом случае, по своему познавательному значению однородны с положениями историко-сравнительной грамматики.

Во втором же случае научная значимость понятий, полученных в результате классификации, определяется тем, насколько существенным является для факта признак, положенный в основу классификации (principium divisionis). Это же в свою очередь зависит не только от понимания той отрасли грамматики, объекты которой классифицируются, но и от понимания объектов описательного анализа и точек зрения, которые являются исходными.

Максимум расхождений в описательной грамматике приходится на понятия, являющиеся результатом классификации — в соответствии с принципами, по которым существенный признак выделяется (логико-семантический, психологистический, лексико-грамматический, грамматический или же их сочетания).

12. Научно правомерным для систематики фактов языка нам представляется принцип гомогенности: в морфологии — морфологический, в синтаксисе — синтаксический, в лексикологии — лексико-семантический, в фонетике — фонетический...

Например, определяя подлежащее как «независимый именительный падеж», синтаксическое понятие строят по морфологическому признаку: принцип гомогенности не соблюдается [34].

Здесь нет возможности останавливаться на вопросах, которые возникают в связи с этим. Вопросов много. Они требуют подробного анализа[35]. Отметим лишь следующее:

Морфология и синтаксис, а также фонология с фонетикой наиболее характерны для структуры языка. Но описание системы языка этим не может быть исчерпано. В нем подобающее место должны

[34] Не говоря уже о том, что в некоторых языках подлежащим может быть не только независимый именительный, но и независимый эргативный падеж (в грузинском и в других картвельских языках).

[35] Такой анализ отдельных вопросов описательной грамматики нами давался в ряде работ; например, основные вопросы описательного синтаксиса разбираются в труде «Проблема простого предложения в грузинском языке», I, Тбилиси, 1928 (на груз. яз.). См. также «Основные вопросы структуры грамматики» («Сообщения Груз. филиала АН СССР», I, 2, 3, 1940), стр. 157—162, 241—248 (на груз. яз.). Систематический анализ основных вопросов будет представлен в работе «Строение лингвистики как интегральной науки о языке».

занять лексикология, стилистика и описательная семасиология.

Семасиология возникла как учение о развитии значения, т. е. как историческая дисциплина.

Но описательной семасиологии пока что в лингвистике не имеется (соответствующими вопросами больше всего занимается философия языка, естественно, со своей точки зрения).

Отсутствие описательной семасиологии — большой пробел, в сильной степени затрудняющий, например, последовательное проведение морфологической точки зрения в морфологии, синтаксической — в синтаксисе.

13. Морфология и синтаксис — максимально структурны (фонология тоже — но в специфическом смысле).

Лексика, семасиология — минимально структурны.

Максимально-структурное можно изучать лексико-семантическим способом: результаты будут минимально значимыми.

Минимально-структурное, наоборот, — изучать как структуру: научная значимость результатов будет минимальной.

Не в том принципиальная ущербность структурализма, что он фиксирует внимание на структуре, на важности изучения структуры (это, напротив, ценно), а в том, что он стремится универсализовать структурный подход.

Сводить в языке все к структуре так же мало оправдано, как подменять специфику структурного подхода лексико-семантическим анализом.

14. Структурно-математические приемы описательного анализа призваны помочь решению в первую очередь кибернетических проблем лингвистики, проблем прикладного языкознания (таких, например, как проблема машинного перевода, проблемы большой практической важности).

Данные обычной описательной грамматики при этом используются, но язык обычной грамматики до машин «не доходит».

Преимущество в этом отношении на стороне структурно-математических средств. Но фундаментальные вопросы описательной системы языка пока что не нашли решения ни в глоссематике, ни в дескриптивной лингвистике.

Строение (отраслевой состав) дескриптивной лингвистики (описательной грамматики), основные понятия и принципы их построения продолжают оставаться сугубо спорными, не имеют обоснованного решения; и в этом в немалой степени повинны исходные бихевиористические принципы (особенно — антиментализм).

Трансформационный анализ в применении к языковому материалу, несмотря на выявление интересных моментов в результате экспериментирования [36], как метод описательного анализа языковых фактов, может рассматриваться лишь как вспомогательный.

Из всего сказанного следует лишь один вывод: структурализм, являясь синхронной лингвистикой, не дал решения вопросов описательной грамматики, описательного анализа языка.

Теория описательной лингвистики ждет решения (она может быть создана и без математического аппарата: зарождение структурной лингвистики предшествовало математической лингвистике — Пражская школа) [37].

---

[36] В принципе аналогичные приемы нашли применение в работах талантливого московского языковеда А. Пешковского в двадцатых годах нашего столетия.

[37] Пусть и спорные, но интересные поиски выявления и решения структурных вопросов морфологии и синтаксиса были начаты, как сказано выше, в двадцатых

В виду имеется анализ структуры языка индуктивным методом: для лингвистики как эмпирической науки индуктивный метод не может быть чуждым.

15. Для науки наших дней характерной считается тенденция к интеграции.

Не приходится, однако, думать, будто тенденция к дифференциации, к нарождению новых специальностей — целиком дело прошлого. Нарождение математической лингвистики (в путях применения теоретико-вероятностных и теоретико-множественных методов анализа), как самостоятельной отрасли знания, процесс зримый. Некоторые стороны языка естественно делают перспективным применение математических методов анализа [38].

Будущее покажет — получим в результате новую отрасль лингвистической науки или же математическая лингвистика разовьется в промежуточную («межзональную») самостоятельную научную дисциплину.

В первом случае математическая лингвистика будет являть собой ответвление лингвистики, т. е. часть лингвистики.

Часть же, если верить математикам, не бывает больше целого и не может заместить целое. Этот же вывод—единственно возможный и для второго случая: будучи самостоятельной научной дисциплиной, математическая лингвистика была бы так же правомерна, как геохимия, геофизика в ряду наук о Земле, каковы география, геология: геофизика не замещает геологию. Словом: сама постановка вопроса «или — или» в данном случае не оправдана.

16. Правомерна иная постановка вопроса: «и — и». Она отвечает интересам развития научной мысли вообще, интересам развития лингвистики как гуманитарной, общественно-исторической науки, в частности.

«И — и» не должно быть понято, как механическое совмещение несовместимого, а органическое единство ценного, что добыто в результате применения различных специальных методов.

Единство общеметодологических принципов советской лингвистики не исключает, а подразумевает поиски новых специальных методов, с одной стороны, усовершенствования старых, оправдавших себя в исследовательской практике, с другой стороны.

Метод — не самоцель, а средство (греч. η μεθοδος «путь исследования»). Ценность специального метода в науке познается по результатам: ценны те методы, которые дают возможность выявить новые закономерности, дают возможность видеть дальше, понимать глубже.

17. Вопрос решается не тем, кто, какой специалист — известный, неизвестный—сказал, где и на каком языке сказано, когда сказано (еще Бекон выступал против различного рода «идолов» в мышлении).

Вопрос решается тем, как относится это сказанное к объективной действительности, к познанию ее закономерностей: без этого мерила наука

годах представителями школы Фортунатова и близкими к этой школе по укладу лингвистических мыслей молодыми лингвистами.

[38] Речь идет о серьезном подходе. Бывает, к сожалению, и иное: «В МП (т. е. машинном переводе.— *А. Ч.*), как и в примыкающей к нему области, известной под названием „математическая лингвистика", точное исследование языка с помощью каких-либо математических методов часто подменяется игрой с формулами и внесением в лингвистику квази-математического жаргона, который не требуется для точности и ясности. Этот жаргон особенно вреден тем, что он отпугивает непосвященных и в то же время нередко служит наукообразным прикрытием вполне тривиального содержания (например, грамматики, очень мало отличающейся от школьной)» (Н. Д. Андреев, В. В. Иванов, И. А. Мельчук, Некоторые замечания и предложения относительно работы по машинному переводу в СССР, сб. «Машинный перевод и прикладная лингвистика», 4, М., 1960, стр. 8).

превратилась бы в арену своевольных утверждений и безудержного эстрадного бахвальства.

Научное мышление наиболее ценное (из форм человеческого мышления), ибо оно наиболее значимое в жизни человека и для жизни человека.

Прогресс науки невозможен без поисков, поисков самого широкого масштаба. Без таких поисковых работ ни одна наука, в их числе и лингвистика, не в состоянии развиваться.

Поиски не исключают ошибок (не ошибается лишь тот, кто ничего не ищет). Ошибки в поисках — досадная неудача специалиста (но не позор; позорна в науке ложь).

Поиски приводят к положениям то к бесспорным, то к весьма спорным, словом — к инакомыслию. Необходима терпимость к инакомыслящим, когда исходные принципы и процессы исследования отвечают общим требованиям науки.

Необходима терпимость к инакомыслящим (в вопросах науки) и нетерпимость ко всяким проявлениям личной монополии (к действиям по принципу «Cujus regio, ejus religio!» «Чья страна, того и религия!», проще говоря: «В чьей лодке сидишь, того песню пой!»).

Нетерпимость к инакомыслящим в лингвистике, кстати, не есть черта, характерная лишь для специалистов старших возрастных групп. Она не чужда и другим возрастным группам: порою молодой специалист, написавший одну-две удачные работы и полный решимости рассматривать Вселенную с точки зрения своих свершений, требуя того же от других, являет собою пример жуткой нетерпимости, которая порождается ограниченностью мысли (и нередко сочетается с отсутствием чувства юмора).

18. Вопросы теории науки — это вопросы самые трудные во всякой науке (в том числе и в математике).

Лишь в условиях подлинного сотрудничества языковедов нашей страны могут быть достигнуты должные успехи в теории советской лингвистики, как интегральной науки о языке — успехи, соответствующие немалым достижениям, которые у нас имеются в исследовании конкретных языков.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1966

П. С. КУЗНЕЦОВ

ЕЩЕ О ГУМАНИЗМЕ И ДЕГУМАНИЗАЦИИ

Настоящая статья скорее на моральную тему, чем на собственно научную. Возможно, что правильнее было, если бы на страницах «Вопросов языкознания» печатались исключительно научные статьи, не вызывающие необходимости рассуждать о моральных критериях и морализаторских приемах их авторов. Но поскольку в статье В. И. Абаева, опубликованной в № 3 настоящего журнала за 1965 г., было немало рассуждений о лингвистах и лингвистике не только научного, а, так сказать, и «экстралингвистического» характера, которые трудно оставить без ответа, я вынужден также выступить с некоторыми размышлениями этического порядка [1].

Итак, непосредственным поводом для написания этой статьи явилась статья В. И. Абаева «Лингвистический модернизм как дегуманизация науки о языке». Можно бы и не говорить об этой статье, если бы она была единичной, отражала бы взгляды только ее автора, а не определенной группы ученых. Фактически почти во всех положениях статья В. И. Абаева совпадает с опубликованной в предыдущем номере журнала (1965, 2) статьей Ф. П. Филина «Заметки о состоянии и перспективах советского языкознания». Отличие лишь в большей сдержанности тона у Ф. П. Филина, чем у В. И. Абаева. Как показывает самое заглавие статьи, В. И. Абаев выступает в ней как поборник гуманизма. Известно, что гуманизм — это «мировоззрение, проникнутое человечностью, заботой о благе людей, уважением к человеческому достоинству» [2]. Правда, у В. И. Абаева несколько иное определение гуманизма, характеризующее его как общеидеологический, а не моральный принцип (стр. 38). И все же, выступая с «гуманистических» позиций, В. И. Абаев обращает по адресу противников такие выражения, как «пустота», «идейная опустошенность и оскудение», «формальные ухищрения», «формальные выверты» (стр. 24), «пустышка», «блеф», «лженоваторство» (стр. 25), «лингвистика в пустоте» (стр. 27), «я у мамы дурочка» (стр. 34), «убожество» (стр. 36) и т. д. и т. п. К сожалению, множество таких слов вместе с набором цитат и бездоказательных обвинений, занимают неоправданно большое место в статье В. И. Абаева и часто служат основным аргументом.

Прежде всего, возражая на словах против имевшего порой место в прошлом административного решения научных разногласий и считая законными научные споры (стр. 23; впрочем в данном случае он совершенно согласен с Ф. П. Филиным, см. стр. 17 статьи последнего), В. И. Абаев сам навешивает ярлыки на своих противников, обвиняя

---

[1] Можно, казалось, и не отвечать на статью, поскольку упущено время: ответы на такие статьи целесообразно давать сразу, в следующем же номере, а со времени ее опубликования прошел целый год. Но поскольку полного ответа на нее так и не было, а если кто и отвечал, то больше занимался развитием собственных идей, вследствие чего многие читатели могут подумать, что большинство лингвистов со статьей, хотя бы в какой-то ее части, согласны, целесообразно ответить на нее и теперь.

[2] «Энциклопедический словарь» (в трех томах), I, М., 1953, стр. 492.

их во всех смертных грехах — в формализме, идеализме, антиисторизме, бегстве от действительности, подражании буржуазной Европе и Америке: «Известно, что сила марксистской методологии особенно ярко и неотразимо раскрывается в общественных науках. Стало быть, чем настойчивее мы будем разрабатывать языкознание как общественную науку, чем теснее мы будем смыкать его с другими гуманитарными науками, тем очевиднее будет наше преимущество, тем больше мы добьемся успехов и побед. И наоборот, если мы будем культивировать лингвистику как замкнутую в себе формалистическую дисциплину, мы растеряем все наше методологическое превосходство и будем обречены плестись в хвосте лингвистического модернизма, трусить за рысаками европейско-американского структурализма» (стр. 42). «Модернизм антиисторичен. Историзм должен пронизывать сверху донизу советское языкознание» (там же). «Модернизм во всех его разновидностях исходит из примата формы над содержанием. Для нас центральным является содержание, значение. Все то в языке, что не соотносимо с понятием значения, не имеет познавательной ценности в гуманитарном плане» (там же).

Возражая против использования в языкознании точных, в особенности математических, методов исследования, В. И. Абаев утверждает: «Следует понимать, что если в физических явлениях математика — это путь приближения к действительности, то в гуманитарной области — это сплошь и рядом способ ухода от действительности. Именно с этой точки зрения надо оценить тот факт, что вся современная западная философия все больше пропитывается математикой. Стремление подвести весь гуманитарный комплекс под абстрактные математические формулы и определения — это выражение того самого бегства от истории, от реальности, от человеческого фактора, которое является характерным признаком заката современной западной философии, общественных наук, литературы и искусства» (стр. 34). Почти то же самое, но немного другими словами и более сжато сказано было раньше Ф. П. Филиным (стр. 21).

Выписки такого рода из статьи В. И. Абаева, как, впрочем, и из статьи Ф. П. Филина, можно было бы умножить. Впрочем спорить как с тем, так и с другим автором трудно: спорить можно с доказательствами, здесь же, как видно даже из цитат, просто утверждения, никак не обосновываемые.

Корни современных лингвистических воззрений заложены в прошлом. Это понимает В. И. Абаев (как, впрочем, и Ф. П. Филин). Он и обращается к прошлому, чтобы вскрыть генезис «современных пороков». Но история языкознания в той мере, как на нее делаются ссылки, дана в совершенно превратном, в столь же искаженном, сколь и необоснованном виде. Невольно сомневаешься, знаком ли В. И. Абаев с теми авторами, которых он подвергает такой жестокой критике. Оценки, которые он дает, столь же безапелляционны, сколь и несправедливы.

Прежде всего В. И. Абаеву не нравятся младограмматики: «Формализация языкознания отчетливо наметилась еще в конце прошлого столетия в младограмматической школе. Выразилось это в постепенном отходе от широких обобщений первого периода сравнительно-исторического языкознания, отходе от того, что можно назвать гумбольдтовской проблематикой, в сосредоточении внимания на формальной стороне языка, в фетишизации „звуковых законов“ и т. п.» (стр. 27). И далее: «Историзм основоположников сравнительного языкознания выступает у младограмматиков в выхолощенном виде. В. Гумбольдт и Я. Гримм говорили о неразрывной связи истории языка с историей и культурой народа. Младограмматики фактически игнорируют эту связь» (там же). И, наконец, общая оценка младограмматической лингвистики как «лингвистики в пу-

стоте» (там же). И чтобы еще более усилить оценку: «Пустота — это то слово, которое наиболее адекватно характеризует не только модернистскую лингвистику, но и весь вообще модернистический мир» (там же, примеч. 9). Впрочем в этой оценке В. И. Абаев не оригинален. Он заимствовал ее у Дж. Бонфанте. Но цитируя Бонфанте, В. И. Абаев не замечает, что цитирует положения, которые вряд ли могут быть поняты читателем без дополнительных разъяснений. Говоря о младограмматиках, Бонфанте в цитируемом В. И. Абаевом месте утверждает, что «они... не видят никакой связи между развитием французского языка и историей французского народа, его борьбой, религией, литературой, его обычаями и жизнью».

Надо, кстати, сказать, что я лишен возможности проверить цитату из Бонфанте. Конечно, следует доверять автору [3].

В оценке младограмматиков В. И. Абаев совершенно солидарен с Ф. П. Филиным. Ведь и последний неоднократно в качестве одного из недостатков младограмматиков отмечает «атомизм» и с сочувствием говорит об антимладограмматических тенденциях, рано проявляющихся в русском языкознании, в первую очередь у Бодуэна и его последователей (стр. 17—19).

Справедлива ли оценка, которую дают младограмматикам Ф. П. Филин и за ним В. И. Абаев? Можно прямо сказать, что нет. Конечно, Гумбольдт и Гримм, идеи которых так высоко ставит В. И. Абаев, сделали много. Но для плодотворной разработки и использования этих идей необходимо знать, что собой представляет язык, как он изменяется и в целом, и в деталях. Я. Гримм дал образец фонетического закона, образец закономерного изменения звуковой стороны языка. Но установленные им соответствия знали ряд исключений. У него и Ф. Боппа не было ясного представления о звуковых законах и границах их действия. Объяснены и подведены под определенные правила эти исключения и многие другие были младограмматиками и лингвистами близкого им направления. Закон Вернера дополнил закон Гримма в отношении германского передвижения согласных. Архаичность санскрита, во всех деталях языковой структуры предполагавшаяся не только основателями сравнительного метода, но и А. Шлейхером, в отдельных участках была опровергнута строгими построениями младограмматиков. Было убедительно доказано, что не три гласных латинского и греческого языков развились из одного праиндоевропейского *a*, представленного в санскрите, а напротив, в санскритском *a* совпали три праиндоевропейских гласных. Наличие *e* и в прототипе древнеиндийского языка свидетельствуется отражением палатализации задненёбных согласных перед санскритским *a*, соответствующим *e* греческого и других европейских языков. Это было убедительно доказано в 70-х годах одновременно и независимо друг от друга несколькими лингвистами [4]. Об этом не стоило бы писать, все это элементарные вещи, хорошо известные студентам младших курсов. Именно младограмматики стремились сделать языкознание более строгой и точной наукой, чем оно было до сих пор. Неправомерны и упреки младограмматикам в «ато-

[3] Но, как показал А. В. Гладкий в своей статье «О формальных методах в лингвистике» (ВЯ, 1966, 3), В. И. Абаев и в цитировании своих противников не всегда проявляет должную точность. Иногда важно знать, в каком контексте идет цитата. В. И. Абаев же проявляет удивительную для филолога старой школы неточность: цитируя различных авторов, притом не только лингвистов, то в подлиннике, то в переводе, он не указывает зачастую не только страниц или изданий, но даже названий работ, откуда взяты цитаты. Это относится к приведенной выше цитате из Бонфанте, это относится к цитате из А. Эйнштейна на стр. 36 и к некоторым другим.

[4] См.: Fr. Bechtel, Die Hauptprobleme der indogermanischen Lautlehre seit Schleicher, Gottingen, 1892, стр. 62.

мизме», в изолированном рассмотрении элементов различных сторон языка. В той мере, как могли, они связывали эти различные стороны. На этой связи основано и учение об аналогии, ограничивающей действие звуковых законов, и изучение морфологической роли различных чередований (Ablaut'a, Abtönung'a), фонетический источник которых эти ученые исследовали.

Столь же несправедливо и бездоказательно критикует В. И. Абаев Ф. де Соссюра, в котором, не без основания, видит родоначальника и предшественника современного так называемого структурализма и который (по мнению В. И. Абаева, впрочем, в данном случае вполне справедливому) «мог родиться только в недрах младограмматической школы» (стр. 27). Исходя из сказанного выше, ясно, что это значит в устах В. И. Абаева. Характерными же для соссюрианства чертами он считает: «1) взгляд на язык как на замкнутую систему знаковой техники, не связанную с объективной действительностью; 2) признание реального значения только за чистыми отношениями, независимо от характера и значения соотносимых величин; 3) разрыв между синхронией и диахронией, т. е. отказ от исторической точки зрения, явившейся величайшим завоеванием науки первой половины XIX в.» (стр. 28). Соссюр, оказывается, продолжает «антигумбольдтовское формалистическое направление, которое определилось в младограмматической школе» (там же), он «выступает как принципиальный и последовательный формалист» (там же), и, если авторы грамматики Пор-Рояля характеризовались «вынужденным», «статическим формализмом», поскольку «они не имели еще понятия об историческом, т. е. подлинно научном языкознании», то Соссюру и его последователям свойствен «формализм сознательный, принципиальный» (стр. 35) и т. д. и т. п. Впрочем и в оценке Соссюра и соссюрианства В. И. Абаев целиком следует Ф. П. Филину. Правда, этот последний прямо о Соссюре нигде в названной статье не говорит, но ясно, кого он имеет в виду, выступая против «абсолютизации системных связей» (стр. 17—18). Ведь именно Соссюр определил язык как систему знаков.

Справедливы ли все эти обвинения? Ясно, что нет. Разве что обвинение в формализме, если только понимать этот термин не как нечто одиозное, а по существу. Существо же состоит в том, что формальный подход к языку на известной стадии необходим, так как если мы не установим, каковы формальные разграничения, используемые языком, мы не сможем и объяснить их. Соссюр же никогда не отрицал связи языка с объективной действительностью, он лишь считал, что для объяснения того, что происходит в языке, важно знать, как устроен язык и как связаны между собой различные его элементы, и вполне понятно, почему и он и его продолжатели на первое место выдвигали изучение отношений между элементами, входящими в язык. Набор слов, никак не связанных между собой, никакого смысла не имеет, а в языке всегда передается какой-то смысл.

Совершенно необоснованно и обвинение в антиисторизме, в отказе от исторического аспекта исследования, в отрыве синхронии от диахронии (обвинение, повторявшееся неоднократно, но не сопровождавшееся серьезными доказательствами, и до В. И. Абаева, да и сам он уже выступал с ним во время дискуссии 1957 г.). Соссюр сам много и плодотворно работал в области сравнительно-исторического индоевропейского языкознания, его знаменитый «Mémoire», опубликованный им в совсем юном возрасте, по проницательности автора и стройности изложения, превосходит не только современные ему исследования, но и многие последующие; многие идеи, высказанные там, находят подтверждение лишь в наши дни. И никогда не утверждал Соссюр, что изучение современного состояния языка является единственной задачей лингвистики, он лишь подчеркивал,

что оно имеет научное значение и его нельзя оставлять лишь в ведении школьной грамматики, и требовал строгого разграничения явлений, характеризующих язык в данный исторический момент, и явлений, унаследованных от прошлого.

В. И. Абаев в своей статье совсем не касается акад. Ф. Ф. Фортунатова. А ведь и Фортунатов когда-то подвергался таким же обвинениям и даже, пожалуй, еще более резким, чем Ф. де Соссюр. Впрочем отголоски этого былого отношения к Фортунатову нашли отражение на страницах «Вопросов языкознания» и в последнее время. Даже такой вдумчивый и глубокий мыслитель, как А. Ф. Лосев, в своей в целом очень умной и тонкой статье, опубликованной уже после статьи В. И. Абаева, находит возможным обвинять Фортунатова в «отрыве звука от организма слова», в «фетишизации звуков» [5] — совершенно тот же упрек, какой В. И. Абаев сделал младограмматикам. Будучи несогласен с этим и некоторыми другими положениями статьи А. Ф. Лосева, я не считаю возможным полемизировать с ним здесь, чтобы не уходить в сторону от основной этической темы. Считаю необходимым лишь сказать, что Фортунатов, вышедший из младограмматической школы и близкий в то же время не только в идеях, но и в конкретных достижениях Соссюру, создавший московскую лингвистическую школу, которой так многим обязан и пишущий эти строки и его товарищи, такого упрека никоим образом не заслужили.

Если же обратиться к последним десятилетиям развития языкознания, и именно языкознания советского, после Великой Октябрьской социалистической революции, то единственным светлым лучом в темном царстве лингвистики, по Абаеву, оказывается, при всех его ошибках (которые В. И. Абаев не может не признать), «новое учение о языке» акад. Н. Я. Марра. «Как бы ни оценивать первый, марровский период,— пишет В. И. Абаев (имеются в виду периоды советского языкознания.— *П. К.*),— несомненно одно: он был порождением нашей революционной действительности... „Новое учение“ не существовало бы, если бы его создатель не был захвачен порывом революции» (стр. 22). И в этом также В. И. Абаев по существу следует Ф. П. Филину, согласно которому «как антитеза младограмматическому направлению создаются первые лингвистические теории Н. Я. Марра» (стр. 19).

Попытки «реабилитации» Марра за последние годы предпринимаются некоторыми представителями не только языкознания, но и философии. В его защиту звучали и некоторые выступления с трибуны дискуссии по проблеме «Язык и мышление», имевшие место в Москве в мае 1965 г. Философ А. Г. Спиркин прямо говорил о гениальном ученом Н. Я. Марре, воззрения которого, по его мнению, несправедливо были раскритикованы во время дискуссии 1950 г. [6].

Я не могу судить о Н. Я. Марре, как об исследователе древнеармянской и древнегрузинской филологии (главным образом литературы). Возможно, обращаясь к кавказским языкам, он обнаруживал порой интуитивную проницательность, как, например, в догадке о возможности существования в прошлом слоговых сонантов в грузинском языке, на что указывает

---

[5] А. Ф. Лосев, О методах изложения математической лингвистики для лингвистов, ВЯ, 1965, 5, стр. 28.

[6] Этих слов («гениальный ученый»), как и указания на несправедливость критики, правда, нет в ротапринтных тезисах доклада А. Г. Спиркина («Социально-историческая сущность языка и мышления»), а стенограмма дискуссии в целом еще не опубликована. Но бóльшая часть последнего, 7-го, пункта тезисов занята цитатой из Марра, после которой лишь глухо сказано: «Позитивное и ошибочное в воззрениях Марра на язык и мышление» (см. «Тезисы докладов и сообщений на научной дискуссии по проблеме „Язык и мышление“», М., 1965, стр. 12—13).

Г. В. Церетели в предисловии к монографии Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани [7]. Но в целом, не только в совершенно фантастических поздних, но и в ранних лингвистических работах Н. Я. Марр обнаруживает удивительную нестрогость и произвольность, особенно в установлении фонетических закономерностей и соответствий, так что я и теперь (в этом отношении) не изменил своего мнения, высказанного в работе, опубликованной свыше десяти лет тому назад [8], к которой и отсылаю читателя, не считая возможным останавливаться на этих вопросах здесь. Если же говорить об общих проблемах, поднятых якобы Н. Я. Марром, но решенных им не в соответствии с положениями марксизма-ленинизма, о проблемах связи языка и общества, языка и мышления, на что тоже указывали некоторые из выступавших на упомянутой выше дискуссии, то ведь и эти проблемы задолго до Марра были не только поставлены, но и указаны пути их решения Марксом, Энгельсом и Лениным. Правда, некоторые из важных в этом отношении работ основоположников марксизма-ленинизма были опубликованы лишь в конце 20-х начале 30-х годов нашего столетия, но, например, работа Ф. Энгельса «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека», где эти проблемы уже ставились, должна была быть известна Марру, так как вышла из печати в 90-х годах прошлого века, когда Марр еще не думал о перестройке языкознания на марксистской основе.

Главное зло в развитии советского языкознания В. И. Абаев видит не в Марре, а в «сталинском учении о языке», в чем он опять-таки солидарен с Ф. П. Филиным. Но если Ф. П. Филин говорит лишь, что «так называемое „сталинское языкознание“ еще более усложнило (сравнительно с учением Марра.— *П. К.*) проблему использования достижений мирового языкознания» (ВЯ, 1965, 2, стр. 19), а «застой» в период сталинского учения видит лишь в отношении сравнительно-типологического исследования неродственных языков (там же, стр. 25),— с последним вообще можно согласиться,— то В. И. Абаев прямо говорит об «уродствах» сталинского периода, о том, что содержание теоретических статей после дискуссии (имеется в виду лингвистическая дискуссия 1950 г.) «сводилось по преимуществу к цитированию и комментированию на разные лады работы Сталина», что «это означало не движение вперед, а новый застой теоретической мысли» (стр. 23) и что «когда с ликвидацией культа Сталина разработка „сталинского учения о языке“ стала беспредметной, в советском теоретическом языкознании явственно обозначились пустота, вакуум» (стр. 24). Это совершенно неверно. Многие, не только лингвисты, но и философы, говорили еще совершенно недавно как о главной задаче ликвидации последствий культа личности в языкознании о критике сталинского учения о языке и освобождении языкознания от положений этого учения. Но, во-первых, господство этого учения (если и признать, что оно имело место) охватывает очень небольшой отрезок времени, поскольку от лингвистической дискуссии 1950 г. до смерти И. В. Сталина прошло менее трех лет, после чего очень скоро ссылки на это учение стали все реже и реже, а там и совсем исчезли из лингвистических работ. Во-вторых, сталинское учение предоставляло лингвистам несравненно более широкое поле самостоятельной научной деятельности, чем «новое учение о языке» Н. Я. Марра; в частности, типологическое исследование

[7] Т. В. Гамкрелидзе, Г. И. Мачавариани, Система сонантов и аблаут в картвельских языках. Типология общекартвельской структуры, Тбилиси, 1965, стр. 036, примеч. 4 (грузинский текст — стр. 014, примеч. 5).

[8] П. С. Кузнецов, Ошибки Н. Я. Марра в его взглядах на родство и историческое развитие языков, сб. «Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании», ч. II, М., 1952.

неродственных языков, хотя некоторыми ведущими учеными не поощрялось, но никогда не считалось столь одиозным и никогда не подвергалось такому запрету, как сравнительное исследование родственных языков в период господства марровского учения. В-третьих, теоретические работы даже этих трех лет вовсе не сводились только (или преимущественно) к цитированию и комментированию работы И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», но в некоторых вообще таких ссылок не было [9], а из тех, в которых ссылки были, некоторые не ограничивались ссылками, но ставили и решали самостоятельно важные проблемы. Наконец, в-четвертых, так называемое «сталинское учение о языке» не содержало тех нелепостей, которыми полно было «новое учение о языке» Н. Я. Марра. Оно в простой и доступной форме сообщало многие такие положения, которые (или близкие к ним) уже высказывались нашими выдающимися лингвистами; прямых ошибок, в противоположность мнению некоторых ученых, в нем было очень немного (я лично могу указать, пожалуй, лишь две, и то касающиеся некоторых частных вопросов). Главная же беда была в том, что многие положения, высказанные как будто в предельно ясной форме, не были доведены до конца, содержали неясности и давали почву для различных и порой прямо противоположных толкований, в то время как любые высказывания И. В. Сталина в те годы воспринимались как непреложная истина и критическим обсуждениям не подлежали.

Таким образом, все то, что В. И. Абаев пишет по поводу так называемого «сталинского периода» в языкознании, это просто клевета на советское языкознание. И нужно сказать, что он не ограничивается языкознанием. Оказывается и «философы производили глубокие изыскания о несуществующем вкладе Сталина в философию», и «историки превозносили сверх всякой меры исторические заслуги Сталина», и «поэты и писатели вносили свою посильную лепту в прославление Сталина», и «кинорежиссеры посвящали ему бездарно-помпезные фильмы», а «живописцы — бездарно-помпезные картины», и «скульпторы понаставили по всей стране множество однообразно „величественных“ монументов Сталину», и «композиторы сочиняли кантаты о Сталине», и «фольклористы под видом народных песен о Сталине распространяли собственную стряпню». И, в общем итоге, «весь гуманитарный сектор, т. е. общественные науки, плюс литература, плюс искусство, в лице их отдельных представителей, выступал единым фронтом под знаком культа личности» (стр. 26). Но это ведь просто клевета и уже не только на языкознание, но и на всю советскую литературу, искусство, вообще культуру в целом.

К тому же здесь автор вступает в явное противоречие с самим собой. Он только что горячо вступился за попранные структуралистами права «гуманитарного сектора», а оказывается, вот он какой, этот сектор. Так за чьи же права, за права какого «гуманитарного сектора» вступается В. И. Абаев? И звучит просто профанацией сопоставление, которое он дальше делает, этого, как в кривом зеркале, изображенного «гуманитарного сектора» периода «культа личности» с единым гуманитарным сектором античного мира, средневековья, начала XIX в. К счастью, все это неверно, и были у нас за эти годы произведения литературы, поэзии, искусства, выдающиеся вовсе не тем, что они прославляли личность Сталина (об этом неоднократно писали в нашей печати).

Общий лозунг, под знаком которого проходит вся статья В. И. Абаева, в том, что касается языкознания, звучит: «Золотой век позади, назад

---

[9] В качестве примера могу сослаться на весьма ценную в лингвистическом отношении книгу В. И. Лыткина «Древнепермский язык» (М., 1952).

к Гумбольдту». Лозунг явно неверный, поскольку любая наука не может топтаться на месте, а тем более идти вспять.

Разделавшись с младограмматиками, соссюрианством, «сталинским учением о языке», В. И. Абаев обрушивается на различные современные зарубежные и советские направления, объединяемые под общим именем «структурализма», представители которых стремятся к все более строгому и точному исследованию структуры языка, к строгому обоснованию выдвигаемых положений с применением к языку точных современных методов, в частности математических. И здесь лишь некоторыми особенностями изложения отличается статья В. И. Абаева от упоминавшейся уже неоднократно статьи Ф. П. Филина. Появление таких течений у нас В. И. Абаев объясняет модой, стремлением к подражанию западным образцам во всем — в прическах, в танцах, в абстрактном искусстве. И в этом также В. И. Абаев вполне солидарен с Ф. П. Филиным, который также признает в данном случае роль «экстралингвистического фактора» моды (стр. 19). В. И. Абаев останавливается на этом факторе подробнее и целый раздел своей статьи посвящает выяснению вопроса, что есть мода и что такое отсталость (стр. 34—36), причем проблемы моды и отсталости трактуются и в других местах статьи [10].

Что же хорошо и что плохо, по Абаеву, в науке, в искусстве, в жизни (в быту)? Ответ прост: плохо — новое, модное, заграничное, а хорошо — старое, немодное, отечественное. Он подкрепляется рассуждениями о том, что «в общественных науках... нет и не может быть непрерывного поступательного движения, при котором каждое новое направление знаменует шаг вперед по сравнению с предшествующим» (стр. 25), что к общественным наукам такой подход: «новейшее — значит лучшее» совершенно неприменим (там же), призывом вернуться к Гримму и Гумбольдту, насмешками над модой, ссылками на В. В. Стасова, высмеивавшего русских декадентов своего времени, боявшихся «попасть впросак, попасть не в такт, что-то исповедовать „вопреки Европе“, наперекор тому, что в хороших местах, у бар, делается» (стр. 36). Предложенный рецепт удобен так же, как и противоположный: хорошо новое, модное, заграничное. Думать, не надо, надо лишь принять (аксиоматически) одно из двух противоположных решений, какое понравится, дело вкуса.

---

[10] В. И. Абаев, по специальности своей в первую очередь этимолог, проводит даже этимологические исследования с целью доказать, что слова *мода* и *модернизм* имеют общий этимологический источник и, следовательно, так называемый модернизм в искусстве и науке явился подражанием моде. Известно, однако, что слова *модерн*, *модернизм* заимствованы из французского языка, причем французское *moderne* «современный» не имеет того отрицательного оттенка значения, как в русском, что *moderne* во французском языке из позднелатинского *modernus*, образованного от *modo* «récemment» («недавно»), засвидетельствовано во второй половине XIV в., тогда как *mode* (от латинского *modus*) лишь в XV в., причем в современном значении слова не ранее XIX в. (см.: O. B l o c h, W. v o n W a r t b u r g, Dictionnaire étymologique de la langue française, Paris, 1950). Если бы история всех этих слов одного этимологического гнезда была известна В. И. Абаеву (помимо того, что они этимологически родственны по корню), вряд ли бы и тогда он мог на ней что-то построить, кроме чисто внешнего сближения.

Впрочем он вообще часто прибегает к чисто внешнему сближению для своих «доказательств». Так, например, стремясь доказать, что опыты использования математики в лингвистике и абстрактное искусство — явления одного порядка, он пишет: «Если языковед-модернист утверждает, что язык подлежит истолкованию в математических понятиях, то буквально то же самое говорит искусствовед-модернист: „Абстракционистские фигуры воплощают математические понятия“ („Курьер ЮНЕСКО“, июль — август 1961 г.)» (стр. 34). И здесь чисто внешнее сближение: речь идет о совершенно разных вещах — о различных действиях, применяемых к совершенно различным объектам. Общее лишь то, что и там и там — математика, этого достаточно.

Впрочем сам В. И. Абаев не вполне последователен, и неясно, какая именно точка в прошлом и почему представляется ему идеальной. Издеваясь над Соссюром, восстановившем в правах статическую (описательную) грамматику, он приходит к выводу, что «новаторство в понимании современного модернизма состоит главным образом в возврате к воззрениям до XIX в.» и что «Соссюр мог бы указать как на образец не только на французскую грамматику XVII в., но и на санскритскую грамматику Панини IV в. до нашей эры» (стр. 35). Как же здесь понять В. И. Абаева, где «модное», где «немодное», где «новое», где «старое»? Панини и французская грамматика XVII в. ведь старее, чем Гумбольдт.

Ученому надо оценивать выдвинутую теорию или гипотезу по существу, а не по степени модности. И напрасна критика грамматики Панини, поскольку она представляет собой образец строгого и точного подхода к языку, именно она стоит впереди многих грамматик различных языков, написанных более чем двумя тысячелетиями позднее. Именно благодаря трудам Панини и других древних индийских грамматиков, современный читатель даже при недостаточном знании санскрита может достаточно точно перевести санскритский текст на свой родной язык, чего он не сможет сделать при такой же степени знания языка с латинским и древнегреческим текстом. Именно благодаря трудам древнеиндийских грамматиков, вполне оцененным учеными лишь сравнительно недавно, санскритский текст анализируется так, как решается алгебраическое уравнение (недаром древняя Индия явилась колыбелью не только формальной грамматики, но и алгебры и позиционной системы счисления).

И неверно, что в отношении непрерывного или не непрерывного поступательного движения общественные науки отличаются от наук естественных и точных. В любых науках позднейшие теории не всегда бывают более совершенными.

Целиком ли отвергает В. И. Абаев математику в применении к лингвистике и вообще формальные методы решения лингвистических задач? Нет. Он допускает, что математическая лингвистика нужна для машинного перевода и что последний «требует особого подхода к анализу речи с точки зрения частотности, дистрибуции и пр., чтобы ее удобнее было „закладывать“ в электронную машину» (стр. 33). Сама жизнь привела его к этому. И использование статистики он тоже признает, утверждая при этом, что лингвисты всегда пользовались ею (стр. 31). Но вместе с тем он прямо заявляет, что различные задачи прикладного характера, в том числе и машинный перевод, «стоят в стороне от основных проблем теории и истории языка, и впутывать их сюда нет никакой надобности» (стр. 33). И в этих рассуждениях В. И. Абаев также вполне солидарен с Ф. П. Филиным. Говоря о проблемах автоматизации перевода с одного языка на другой, об автоматических поисках рефератов статей из научно-технических журналов, об автоматическом распознавании и синтезировании звуков речи, об автоматическом анализе текста, о статистическом обследовании разных сторон языка «и о многих других новых проблемах, которые непрерывно возникают», Ф. П. Филин считает, что «широкое внедрение математических приемов в новые лингвистические проблемы вполне закономерно», но, по его мнению, «дело оборачивается совершенно иной стороной, когда формализованные методы... пытаются объявить единственно приемлемыми в современном языкознании» (стр. 20).

Странные рассуждения для ученых, претендующих на то, чтобы быть марксистами! Неразрывная связь теории с практикой является одним из основных положений марксистской науки. «Теория без практики мертва, а практика без теории слепа». Теория проверяется практикой, а для плодотворного решения практических задач необходима теоретическая база,

так как без нее мы вынуждены просто эмпирически осуществлять огромное количество проб, попыток впустую («а вдруг что-нибудь выйдет!»), что нерационально.

Не останавливаюсь на странном сравнении В. И. Абаева обработки текста для закладки в электронную машину с приготовлением рыбных консервов (стр. 33). При детальном рассмотрении это рассуждение обращается против его автора.

Чтобы оценить возможности и пределы применения математических методов к лингвистике, надо знать математику, да и лингвистику тоже. «Математические (статистические) методы давно применяются в языкознании и полностью себя оправдывают»,— пишет В. И. Абаев (стр. 31). Но простой подсчет (слов, форм, звуков, конструкций), как он уже давно применялся в языкознании, не имеет ничего общего с математикой. Для определения степени надежности вывода, сделанного на основании такого подсчета, нужна теория вероятности. Да если даже взять статистику, опирающуюся на теорию вероятности, то и тогда возможное применение математики к лингвистике не будет исчерпано. «Историку и археологу,— продолжает В. И. Абаев,— постоянно приходится иметь дело с хронологией, т. е. опять-таки с математикой. Но это не приводит, однако, к появлению новых наук: математической истории и археологии» (стр. 32). Непонятно, о чем идет речь. Если просто о датах, то это не математика, поскольку просто цифры еще не делают математику. Лишь в сознании лица, не имеющего никакого представления о математике, представители ее только и делают, что считают. Между тем многие области математики, имеющие актуальное значение для современной науки, вообще не имеют дела с количественными отношениями. В. И. Абаев обнаружил как раз такое представление о математике, непонимание ее существа, методов и задач. Впрочем он не математик. Когда же дело касается лингвистики, автора нередко трудно, если не невозможно понять, и вовсе не вследствие сложности предмета рассуждения. Что значит, например, такое утверждение: «Звуки речи (фонемы) сами по себе не соотносимы с данными опыта...» (стр. 29)? Во-первых, в каком смысле употреблены здесь скобки? В смысле «или» или в смысле «то есть»? Считает ли В. И. Абаев, что звуки речи и фонемы — это одно и то же? Но большинство лингвистов думает иначе. Или ему безразлично, взять звуки или фонемы? Во-вторых, неясно, почему, на каком основании те или другие, или и те и другие не могут быть соотнесены с данными опыта? И в каком смысле здесь употребляется слово «опыт»?

Во всяком случае для того, чтобы сделать вывод, согласно которому сущность «математической лингвистики» состоит в скрещении псевдолингвистики с псевдоматематикой (стр. 32), следовало бы лучше знать и лингвистику и математику. Конечно, встречаются работы, употребляющие математические формулы не для пользы дела, а «для шику», и к тому же без должного понимания, но ведь не эти работы составляют ядро так называемой математической лингвистики.

Математика, точность являются как будто личными врагами В. И. Абаева: так яростно нападает он на них, в особенности, если точные методы описания и исследования применяются к языку, к поэзии, к искусству; «...а зачем мне с большой точностью знать то, что мне совсем не нужно?...» — спрашивает он (стр. 32). И затем поясняет: «Можно, например, подсчитать, сколько раз встречается в произведениях Пушкина тот или иной синтаксический оборот или художественный образ, или метафора, или сравнение и т. д., и результаты этих подсчетов представить в виде математических таблиц. Возможно, что такие таблицы не будут даже лишены какого-то интереса. Но дадут ли они хотя бы намек на социальную

значимость творчества Пушкина, на его роль в истории русской культуры? Такие математические упражнения в области литературы были бы с полным правом оценены как псевдолитературоведение» (стр. 33). И далее: «Не составило бы особого труда представить, скажем, увертюру к „Руслану и Людмиле“ в виде цепи числовых показателей. Но разве эти цифры дали бы хотя отделенное представление о чарующей прелести этой увертюры или о роли музыки Глинки в развитии русской национальной культуры? Разве не правы были бы те, кто назвал бы подобное математическое музыковедение лженаукой?» (там же).

Если В. И. Абаев не желает с большей точностью знать, как устроено восхищающее нас произведение искусства,— это его личное дело. Но разве можно считать лженаукой все то, чего просто не понимаешь? А люди, напротив, хотят не только наслаждаться и восхищаться бессмертным произведением искусства, но и знать, понимать, как оно устроено и почему оно оказывает на нас такое чарующее воздействие. И великие мастера искусства, художники слова понимали это и не гнушались строго формальным анализом своих собственных произведений, вплоть до статистических подсчетов. Часто обращался к формальному анализу и своих и чужих произведений тот же Пушкин, на произведения которого ссылается В. И. Абаев. Еще больше уделял внимания формальному анализу стиха, а вместе с тем создавал блестящие образцы поэзии и прозы, читавший в свое время курс теории стиха поэт и ученый Валерий Брюсов, закончивший свою деятельность уже в эпоху советской власти. Блестящий формальный анализ, и опять-таки вплоть до количественных расчетов и до определения расчетной и фактической длины своей знаменитой поэмы «Ворон», дал в статье «Философия творчества» Эдгар По (расчетная длина поэмы, оказалась приблизительно 100 стихов, фактическая — 108, отклонение меньше, чем на 10%).

Современный всесторонне развитый человек хочет знать все. Ему нельзя искусственно ставить преграды и говорить: «Это святая святых творческой лаборатории (или, уж лучше сказать, храма) художника, сюда вход воспрещен, это непостижимо, непознаваемо» и т. д. Именно на таком пути мы скатимся к агностицизму, к идеализму, а не на пути математики и формализации.

Спор, поднятый В. И. Абаевым, это тот же спор «физиков» и «лириков», развернувшийся не так давно на страницах «Литературной газеты», причем ученый В. И. Абаев выступает здесь скорее от лица «лириков». Спор в значительной мере был надуманным. Оказалось, что «физики» большей частью (за единичными, если не ошибаюсь, исключениями) вовсе не чужды «лирики», любят искусство, поэзию и прекрасно разбираются в них. Да и может ли быть иначе? Сама стройность и упорядоченность физического мира, которыми он обязан вовсе не божественному провидению, а без которых он не мог бы просто существовать (пусть имеют место нарушения симметрии, флюктуации, они лишь подтверждают общий закон), приводит к этому истинных «физиков». Это уже в I в. до н. э. прекрасно понимал выдающийся лингвист своего времени, который уже тогда стремился определять языковые отношения на строго формальных основаниях, Марк Терренций Варрон, несомненно, более глубокий и разносторонний, чем многие наши современники. В классификации, предложенной «Литературной газетой», он, вероятно, занял бы место одновременно и физика и лирика. Встав в споре аномалистов и аналогистов на сторону последних, он начинает свое рассуждение прямо поэтическим дифирамбом стройности, закономерности, периодичности всего, что происходит в мире, и уже отсюда переходит к стройности, закономерности того, что происходит в языке: «quae enim est pars mundi quae

non innumerabiles habeat analogias? Caelum an mare an terra, quae in his?...»[11]. За недостатком места не выписываю полностью.

И именно то обывательское представление о математике, о котором я уже говорил, очень часто проявляется у «лириков» по профессии, т. е. у поэтов, писателей. Чуть ли не в студенческие времена (кажется, в 20-х годах) мне попалось печатное стихотворение какой-то мелкой поэтессы, посвященное математику. Там говорилось, что вокруг весна, солнце, а ученый математик сидит у себя в кабинете и ничего этого не замечает, но зато «Он может каждую минуту извлекать кубический корень» (дальше этого ее математические познания, вероятно, не шли). Примеры можно было бы умножить чуть не до бесконечности, и притом не только для прошлого, но и для наших дней. Хочется вспомнить, вероятно, известное и В. И. Абаеву как иранисту, знакомому с санскритом, одно произведение древнеиндийской поэзии, вставную новеллу (др.-инд. upakhyāna) знаменитой эпической поэмы Махабхараты, а именно рассказ о Савитри, равного которому, притом одновременно и в поэтическом, и в этическом, и в логическом отношении, в мировой литературе, по-моему, нет. Это произведение, написанное на эпическом санскрите, который был мертвым языком еще более двух тысяч лет тому назад, к сожалению, мало известно нашему читателю, хотя уже более десяти лет тому назад вышел в Ашхабаде его русский перевод, изданный очень ограниченным тиражом[12]. Сюжет этого произведения по существу тот же, что сюжет Орфея и Эвридики, но отличается от последнего тем, что возвращает из царства мертвых не муж жену, а жена мужа, и, возвратив, не теряет, как Орфей потерял Эвридику.

Не вдаваясь в анализ этого произведения в целом (что, может быть и сделаю когда-нибудь в дальнейшем в другом месте), я хотел бы сейчас сказать о нем лишь несколько слов. Юная царевна Савитри, совершенная всем — красотой, умом, глубиной чувства и верностью долгу,— выходит победительницей из всех испытаний и, наконец, одерживает победу над самим богом смерти Ямой, поймав его, в результате длительного и с необычайным искусством проведенного спора, на логической ошибке.

Орфей молил подземных богов вернуть ему Эвридику прекрасной песней и звуком струн:

> ... pulsisque ad carmina nervis.
> Sic ait: «O positi sub terra numina mundi,
> In quem recidimus, quicquid mortale creamur...»
>
> (Ovid., Metamorph., X, 16–18).

Савитри же, исполненная не менее глубокой и искренней любви, чем Орфей, борется за возвращение Сатьявана знанием древних священных книг и умением их толковать, искусством спора и логики. На любое возражение Ямы она тут же находит контрвозражение. Яма, пораженный ее достоинствами, один за другим предлагает ей различные дары — обещает мужское потомство ее отцу (она единственная дочь, у него нет сына-наследника), возвращение зрения и царства отцу Сатьявана, но все время повторяет, что вернуть Сатьявана к жизни он не может. И, наконец, предлагая ей все новые дары, он совершает ошибку: он обещает ей самой многочисленное потомство, тогда как произвести это

---

[11] M. Terrentius Varro, De lingua latina, rec. G. Goetz et Fr. Schoell, Lipsiae, 1910, стр. 151; к сожалению, это замечательное место незнакомо тем из советских читателей, которые не знают латыни, поскольку И. М. Тронский не включил его почему-то в те отрывки из Варрона, которые помещены в его хрестоматии «Античные теории языка и стиля» (М.— Л., 1937).

[12] «Махабхарата. I. Две поэмы из III книги» (перевод с санскр., введ. и примеч. Б. Л. Смирнова), Ашхабад, 1955.

потомство без мужа она не может. Савитри ловит Яму на этом и произносит заключительные слова этого замечательного диалога, бо́льшая часть которых написана размером джагати, более длинным, чем шлока, которым написана большая часть поэмы [кроме этого диалога, джагати представлен лишь в одной реплике Дьюматсены, отца Сатьявана, в одной хоровой реплике риши (мудрецов, отшельников) и в заключительных словах шестой сарги]:

Na kāmayē bhartṛvinākṛtā sukhaṁ na kāmayē
bhartṛvinākṛtā divaṁ,
na kāmayē bhartṛvinākṛtā çriyam na bhartṛhīnā
vyavasāmi jīvituṁ
Verātisargaḥ çatapuṯratā mama tvayāi'va dattō
hriyatē ca mē patih,
varam vṛṇe jīvatu Satyavān ayaṁ tavāi 'va
satyam vacanaṁ bhaviṣyati.

(Sāvitrī, V, 52—53)

«Лишенная мужа, я не хочу счастья, лишенная мужа, я не хочу
света.
Лишенная мужа, я не хочу богатства, без мужа я не останусь
жить.
Ведь тобой дано исполнение дара, мое многочисленное потомство,
мой же супруг похищается,
Чтобы жил этот Сатьяван, чтобы твое слово было истинным,
я выбираю (этот) дар».

Силлогистическая цепь такова: Яма обещал Савитри многочисленное потомство — потомство она может произвести только с мужем — мужем ее может быть только Сатьяван — Сатьявана нет — Савитри не может произвести потомство. Следовательно, или бог дал обещание, которое он не может выполнить, или он должен вернуть Сатьявана.

Другого мужа, кроме Сатьявана, Савитри не может иметь не только потому, что она его любит и без него не хочет жить, но и потому, что она по закону не может выйти вторично замуж. Во всяком случае, в Дхармашастрах вдовам уже запрещалось вступать в брак [13], тогда как Дхармашастры известны в эпоху Савитри, на них ссылаются, хотя и в другой связи, как на закон (см., например, Савитри, I, 31).

Элементы формального логического заключения свойственны людям в достаточно ранние времена их культурной истории. Но здесь существенно то, что в Савитри строгая логика и поэзия, поэтическое восприятие мира, идут рука об руку и дополняют друг друга, ведя к одной цели.

Для чего я писал обо всем этом? Для того чтобы показать, что поэзия и человечность не противоречат строгости и логике, и что это понимали уже в глубокой древности, для того, наконец, чтобы отвлечься от бездоказательных высказываний В. И. Абаева и отдохнуть на созерцании предметов прекрасных и возвышенных.

[13] Н. К. Синха, А. Ч. Банерджи, История Индии, М., 1954, стр. 46.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1966

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ, ПОСТУПИВШИХ В РЕДАКЦИЮ ПО ПОВОДУ СТАТЬИ В. И. АБАЕВА «ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ МОДЕРНИЗМ КАК ДЕГУМАНИЗАЦИЯ НАУКИ О ЯЗЫКЕ»

Статья В. И. Абаева (ВЯ, 1965, 3) вызвала у читателей журнала разнообразные отклики. Редакцией были получены следующие материалы: В. Я. Мыркин (Архангельск) «Языкознание на правильном пути!», Т. П. Ломтев (Москва) «Математика и лингвистика», С. Абрахам (Венгрия) «По поводу „модернизма“ в языкознании», И. В. Мегрелидзе (Тбилиси) «О научном профиле Н. Я. Марра», А. П. Евдошенко (Кишинев) «Относительно предмета традиционной и структурной лингвистики», письма в редакцию журнала — А. Мужаловского (Одесса) и Д. Е. Горелика (Астрахань).

Некоторые авторы не претендуют на публикацию, обращаясь в редакцию в форме писем, в прочих случаях материалы по содержанию и по стилю не вполне отвечают установленным журналом требованиям по отношению к статьям для печати. Поскольку все без исключения материалы и заметки представляют собой полемические возражения В. И. Абаеву и во многом повторяются, целесообразно изложить содержание их тематически, в виде перечня вопросов, обсуждаемых авторами: 1) правила научной полемики; 2) оценка истории советского языкознания в статье В. И. Абаева; 3) оценка структурной лингвистики и ее места в истории языкознания; 4) применение математических методов в лингвистике. Как видно из этого перечня, все вопросы, рассматриваемые авторами, фактически поставлены В. И. Абаевым.

Статьи Т. П. Ломтева и А. П. Евдошенко, помимо критики В. И. Абаева, содержат оригинальные разработки, лишь косвенно связанные со статьей В. И. Абаева.

1. О правилах научной полемики. Статья В. И. Абаева вызвала очень резкую реакцию во всех откликах. Многие авторы считают необходимым указать на отдельные ошибки в изложении В. И. Абаева. Но все же главные возражения вызывают тон и стиль статьи. «Крайне тенденциозная в подборке цитат, фактов и аргументов, статья является примером прискорбного анахронизма, особенно после недавней нормализации положения в биологии»,— пишет В. Я. Мыркин.

По мнению И. В. Мегрелидзе, «статья В. И. Абаева нас убеждает, что автор тоже не придерживается единой концепции, но использует разные, порой противоположные системы, а эклектизм, известно, не может дать целой системы» и т. д.

Особенно отмечается неаккуратность изложения и научного исполнения статьи В. И. Абаева, в частности неверное цитирование. В части указания на неосведомленность автора в математической лингвистике, принципы которой рассматриваются и критикуются в статье, фактически солидарны все лица, приславшие в редакцию свои материалы.

В некоторых откликах на статью В. И. Абаева содержатся весьма существенные для осмысливания рассматриваемой проблемы положения. Так, С. Абрахам пишет: «Определение „модернизм“ дано Абаевым в следующих словах: „... поиски нового идут преимущественно по линии формы, формальных средств, формальных приемов, формальных ухищрений, формальных вывертов. Содержание же, если оно вообще существует, остается крайне убогим и примитивным. Вот это и есть модернизм“. К этому чуть ниже Абаев добавляет, что „характерной чертой нового модернизма является открытый или завуалированный антигуманизм“». «Определение начинается понятием „формальные средства, формальные приемы“ и кончается понятиями „формальные ухищрения, формальные выверты“». «... В. И. Абаев ставит рядом неэквивалентные понятия, начиная понятием, которое он хочет критиковать, и кончая понятием, которое он в дальнейшем действительно критикует». Эти замечания С. Абрахама кажутся весьма существенными.

Все это, по мнению всех авторов, во многом обесценивает значение статьи В. И. Абаева. Вместе с тем авторы материалов не обращают достаточного внимания на тот факт, что В. И. Абаев рассматривает структурализм и математическую лингвистику не изнутри, а извне, как нечто целое, находясь за ее пределами.

Полемические задачи, содержащиеся во всех материалах, не позволили их авторам в свою очередь достаточно широко рассмотреть все содержание статьи В. И. Абаева. Поэтому, полемизируя с В. И. Абаевым, авторы останавливаются только на следующих аспектах статьи.

2. Оценка истории советского языкознания. По этому вопросу высказываются разные мнения. И. В. Мегрелидзе останавливается только на одном вопросе: научных заслугах Н. Я. Марра. И. В. Мегрелидзе не согласен с мнением В. И. Абаева о Марре, которое в статье В. И. Абаева сформулировано следующим образом: «К сожалению, реализация правильных в основе идей оказалась крайне неудовлетворительной. Сказался недостаток философской подготовки, а также отсутствие настоящей лингвистической школы (Н. Я. Марр был больше филолог, чем лингвист)». Полемизируя с этим мнением, И. В. Мегрелидзе пишет, ссылаясь на биографию Н. Я. Марра, его работы и мнения современников, что Н. Я. Марр был и философом, и историком культуры, и филологом, но прежде всего лингвистом. И. В. Мегрелидзе призывает внимательно и положительно отнестись к имени Марра, его лингвистическому и историко-филологическому наследию.

С. Абрахам фактически солидаризируется с пессимистической оценкой, данной В. И. Абаевым советскому языкознанию: «Нельзя закрывать глаза на то, что со времен Марра в Советском Союзе не появлялась какая-нибудь новая теория языка, какой-нибудь новый ответ на главные вопросы языкознания, или какая-нибудь новая методика исследования». Вместе с тем нельзя не заметить, что И. В. Мегрелидзе и С. Абрахам, как и В. И. Абаев, обращая большое внимание на административную сторону, относятся к истории языкознания, в частности советского, не как к истории науки. История науки, история советского языкознания, тем более периодизация истории науки, по-видимому, не может измеряться вненаучными (административными) категориями, хотя последние также играют свою роль. История советского языкознания — это прежде всего совокупность научных трудов и достижений советских ученых, внесших заметный вклад в мировое языкознание. Отсюда, история советской науки это прежде всего история идей и результатов исследования.

Некоторые авторы склонны полемизировать с узкой идеей национальной школы. В. Я. Мыркин пишет: «Однако следует помнить, что, поскольку наука по своей сущности сугубо интернациональна,

научные школы не могут быть и не являются в действительности только национальными институтами». Эта мысль, фактически, но более широко, развивается и в статье А. П. Евдошенко.

3. Оценка структурной лингвистики и ее места в истории языкознания. Поскольку аргументация В. И. Абаева касается не только истории советского языкознания, но и истории мировой лингвистики, проблемы освещения истории языкознания подводят к особому вопросу, затронутому В. И. Абаевым: является ли структурализм «модой», т. е. чем-то временным, эфемерным и несерьезным, или структурализм — это закономерное развитие научных идей в истории мирового языкознания, определенный этап его развития, научное течение, вносящее существенный вклад в науку о языке?

Противники В. И. Абаева, приславшие в журнал свои материалы, фактически не указывают и не излагают содержательно принципов структурного подхода к описанию языка. Но почти все материалы содержат те или иные высказывания в обоснование исторической необходимости возникновения и существования структурализма.

А. П. Евдошенко дал оригинальную разработку способа представления истории языкознания. В основе этой разработки лежит геометрическая модель системного описания некоторого уровня языка, где в одном изображении совмещаются: система, все составляющие ее единицы, их классная организация и дифференциальные признаки единиц. Эта модель описана с помощью алгебраической символики. Далее А. П. Евдошенко реконструирует все части этой модели [1) система, 2) классы, 3) единицы, 4) дифференциальные признаки], устанавливает время их появления и способы существования на трех этапах развития языкознания: Гумбольдт и Гримм, младограмматики, структурализм.

В основе этой реконструкции лежит идея «восхождения от абстрактного к конкретному». Автор считает, что модели, представляющие целостную систему, являются воспроизведением в мышлении конкретных объектов, со всеми их существенными внутренними связями. Историю же языкознания, в которой последовательно возникает осознание отдельных частей модели, автор считает социальным процессом развития знания, когда осуществляется переход от общего недифференцированного представления об объекте (в данном случае о языке) к вычленению и отдельному описанию его частей, а затем идеальному конструированию целого. Методологические положения анализа истории языкознания А. П. Евдошенко, помимо ссылок на лингвистические работы, подкрепляет ссылками на философскую литературу, конкретно на работы Ф. Энгельса, В. И. Ленина, а также Б. М. Кедрова, Н. Р. Овчинникова, М. К. Мамардашвили, И. Д. Панцхава. Б. Я. Пахомова, философские журналы и справочные издания.

Обращаясь на основе рассмотрения истории языкознания к современному его состоянию, А. П. Евдошенко, исходя из предложенной им системы, заключает: «Одни лингвисты (В. А. Звегинцев, И. И. Ревзин, отчасти и др.) склонны считаться только с „преемственностью“ и, тем самым, сводить на нет момент „отрицания“, другие же (Б. В. Горнунг, В. И. Абаев и др.) видят только „пропасть“. Учитывая же в равной мере обе стороны единого, мы сможем подойти к правильной оценке отношений между различными периодами в развитии лингвистики.

Отвергая возражения Гумбольдта против анализа „живой речи“, младограмматики сохранили предмет анализа, чувственно-конкретный материал. Структурная лингвистика, принимая за исходное накопленный в результате анализа обильный материал в его чувственно-конкретном обличии, „абстрактизирует“ его с тем, чтобы в конечном счете воспроизвести

конкретное в мышлении, чтобы познать конкретное путем многочисленных абстрактных определений».

Поскольку структуралисты пользуются материалом «традиционалистов», поскольку и те и другие, идя различными путями, добиваются познания этого материала, между ними «предполагаются необходимые соотношения содружества».

К этому выводу А. П. Евдошенко фактически присоединяются почти все авторы присланных материалов. Одни из них дают краткую аргументацию в пользу этих выводов, другие просто говорят или намекают на такое соотношение структурного и «традиционного языкознания». Тем самым все авторы, высказавшиеся по этому вопросу, не считают структурную лингвистику чем-то временным, а, напротив, считают структурную лингвистику закономерным развитием предшествующей лингвистики и видят определенные перспективы развития идей структурной лингвистики.

4. Применение математических методов в лингвистике. Структурализм и принятое в нем моделирование языковых систем сделали возможным новые приложения математики к языкознанию. Именно изображения, принятые в структурной лингвистике, допускают применение аппарата того или иного раздела математики. Видимо, поэтому все авторы, считающие полезным применение принципов структурной лингвистики к описанию языка, относятся положительно и к применению математики в лингвистических исследованиях. Среди авторов полученных материалов нет таких, которые бы признавали принципы структурализма и отвергали возможность и полезность применения аппарата математики в лингвистических исследованиях.

Статья Т. П. Ломтева «Математика и лингвистика» специально посвящена этому вопросу. Т. П. Ломтев не согласен с В. И. Абаевым в том, что «математизм является наиболее абстрактной разновидностью формализма» и представляет собой «уход от действительности». Он решительно возражает против той мысли В. И. Абаева, что использование математики в лингвистических построениях ведет к дегуманизации науки о языке. Как видно из всего контекста статьи, Т. П. Ломтев, напротив, склонен считать математику чисто человеческим достижением, орудием мысли и видит в применении математики признак развитости гуманитарного исследования, если угодно, признак его большей гуманитарности и гуманистичности.

«Гуманитарная наука не перестает быть гуманитарной, если она использует средства математики... использование идей и средств математики только обогащает лингвистику как гуманитарную науку»,— пишет Т. П. Ломтев.

Одновременно Т. П. Ломтев указывает на то, что некоторые работы, применяющие аппарат математики, не представляют лингвистической ценности: «...слов нет, некоторые из таких работ содержат вычисления, которые не представляют ценности для науки о языке», «некоторые из таких статей представляют собою закодированную математическими символами тривиальность». Критикуя такие работы, Т. П. Ломтев специально несколько раз подчеркивает: «...ученый не будет использовать неудачу отдельных авторов для дискредитации целого направления». По его мнению, невозможно из неудач отдельных авторов заключать будто «использование математики в языкознании это абстрактные разновидности формализма, что математика уводит от действительности и дегуманизирует науку, т. е. выхолащивает ее социальное содержание и т. п.».

В виде доказательства желательности применения математики в языкознании Т. П. Ломтев избирает ряд примеров из классических областей лингвистического исследования: диалектологии, истории языка и описания семантики синтаксических конструкций.

В примере из диалектологии рассматривается задача установления типов вокализма в первом предударном слоге после мягких согласных, представленных в русских диалектах. Распределение гласных *а* и *и* в предударном слоге в разных диалектах зависит от характера разбиения гласных *а о*, *ô*, *е*, *ê* в ударном слоге на подмножества. Описав эту принципиальную корреляцию, Т. П. Ломтев далее устанавливает все теоретически возможные рекомбинации разных гласных в предударном и ударном слогах и выписывает их в виде таблиц. Затем, используя материал книги «Русская диалектология» (М., 1964), Т. П. Ломтев устанавливает, какие из рекомбинаций описаны как представленные в диалектах, а какие не описаны. Отсюда Т. П. Ломтев делает вывод о том, что применение аппарата математики позволяет обнаружить новые логические возможности для исследования языка. Если предсказанные с помощью математического аппарата возможные явления языка не зарегистрированы в описании, то, как считает Т. П. Ломтев, это означает, что либо диалектологические программы были недостаточно четко составлены, либо некоторые явления действительно не представлены в диалектах и это означает, что необходимо строить особую лингвистическую теорию, объясняющую их отсутствие.

По этому принципу построены примеры Т. П. Ломтева из области истории языка и синтаксической семантики. Т. П. Ломтев тем самым стремится показать, что применение математики расширяет логические возможности лингвистического исследования, но подчеркивает при этом, что математика является только средством, аппаратом, обслуживающим специально лингвистическую теорию.

Таков тот перечень проблем, которые затронуты в разнообразных откликах на статью В. И. Абаева.

Хотя все участники дискуссии не разделяют позиции В. И. Абаева, эта позиция все же представляется заслуживающей внимания по меньшей мере в том смысле, что идеи и способ мышления, содержащиеся в статье В. И. Абаева, во многом характерны для некоторой части наших лингвистов (несмотря на то, что в публикациях и материалах достаточно четко они представлены только одним В. И. Абаевым).

Противоречие между В. И. Абаевым и его оппонентами, по нашему мнению, позволяют продвинуться в формулировании некоторых вопросов. Славя человека и ратуя за гуманизм, В. И. Абаев отрицательно относится к математизации гуманитарной науки, видя в этом бездушное, физикалистическое отношение к человеку. Хотя В. И. Абаев сам четко не ставит чисто научных вопросов, но фактически в его статье и в материалах его оппонентов можно усмотреть ряд важных для науки и человека проблем:

1. В чем различие методов гуманитарного и естественнонаучного исследования. Какой тип суждения об эмпирии действителен для гуманитарного и недействителен для естественнонаучного исследования?

2. В каком смысле и где вопросы общественной истории соотносимы с процессами естественной истории и может ли быть что-то общее между естественно-историческим и общественно-историческим типом значения?

3. Чем отличается эмпирическое знание от умозрительного? Можно ли выделить умозрительные науки: математику и философию как противостоящие и равно обслуживающие гуманитарные и естественные науки?

4. В каком смысле и где общественные процессы могут быть подвергнуты и подвергаются механизации, и на каких условиях техника включается в общественный процесс в наше время?

Ю. В. Рождественский (Москва)

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1966

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Р. РУЖИЧКА

О ПОНЯТИИ «ЗАИМСТВОВАННЫЙ СИНТАКСИС» В СВЕТЕ ТЕОРИИ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ГРАММАТИКИ

0. Несмотря на непрекращающиеся усилия лингвистов выяснить соотношение между старославянским и греческим синтаксисом [1], вряд ли можно признать, что сделанные в этом отношении выводы удовлетворяют требованиям современной лингвистической теории, в частности теории порождающей трансформационной грамматики. Эта теория, разрабатываемая прежде всего в трудах Н. Хомского, С. К. Шаумяна, Р. Лиза, П. Постала, Дж. Каца, Э. Клима и др. [2], как нам представляется, не только облекает в удовлетворительную систему научных понятий высказанные до сих пор гипотезы о соотношении старославянского и греческого синтаксиса, но и может способствовать формулировке новых выводов и обобщений. Если бы теория трансформационной грамматики представляла собой лишь переформулировку старых положений, если бы мы имели здесь дело только с транспонированием уровня конкретных фактов на уровень конструктов, не стоило бы подробно излагать ее конкретное применение.

1.0.1. Для того чтобы применить трансформационную грамматику к старославянскому языку, необходимо допустить, что факты этого языка не являются заранее заданной структурой, т. е. старославянские тексты, засвидетельствованные в ряде памятников, нельзя рассматривать как замкнутый «корпус» определенного множества предложений. Лингвистической реальностью старославянского языка является скорее потенциально бесконечное множество предложений, которые порождаются грамматикой, гипотетическим механизмом правил этого языка и которым эта грамматика придает определенную структуру. Устройство, которое на выходе выдает подобную грамматику, естественно, получает на входе множество всех засвидетельствованных в старославянских языковых памятниках предложений, которые сами являются «корпусом» переводов с греческого. Но предполагается, что грамматика способна порождать и «предсказывать» бесконечное множество «новых», «незасвидетельствованных» старославянских предложений.

---

[1] См. новые публикации, в которых учтена вся более ранняя литература: J. Bauer, Vliv řečtiny a latiny na vývoj syntaktické stavby slovanských jazyků, сб. «Československé přednášky pro IV. Mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě», Praha, 1958; H. Birnbaum, Zur Aussonderung der syntaktischen Gräzismen im Altkirchenslavischen, «Scando-Slavica», IV, 1958; R. Růžička, Griechische Lehnsyntax im Altslavischen, ZfSl, III, 2—4, 1958; его же, Das syntaktische System der altslavischen Partizipien und sein Verhältnis zum Griechischen, Berlin, 1963; R. Večerka, Syntax aktivních participií v staroslověnštině, Praha, 1961.

[2] N. Chomsky, Aspects of the theory of syntax, Cambridge (Mass.), 1965; J. J. Katz, P. M. Postal, An integrated theory of linguistic descriptions, Cambridge (Mass.), 1964; С. К. Шаумян, Структурная лингвистика, М., 1965.

1.02. Спорная концепция, согласно которой определяется принадлежность текстов к старославянскому «корпусу» предложений, сама по себе не отражает какой-либо лингвистической проблемы: разумного решения этого вопроса на основе лингвистических реалий не существует. Возможно, однако, что лингвистическое описание может способствовать филологическо-историческому решению этой проблемы. Факты старославянского языка могут быть гипотетически отражены в грамматиках, в каждой из которых в том или ином звене обнаруживаются отклонения. Любые грамматики должны прежде всего, как известно, отвечать требованиям непротиворечивости и полноты. Грамматика, которая в полном смысле этого понятия могла бы быть названа грамматикой старославянского языка, должна была бы непротиворечиво и полно охватывать все имеющиеся тексты и содержащиеся в них лингвистические факты и в очень ограниченной мере допускать возможность вариантов правил. В этом отношении конструирование старославянской грамматики может оказаться важным и определяющим для правильного лингвистического отражения и выбора текстов, а также для установления самого понятия старославянского языка.

1.1. С другой стороны, при изучении корпуса данных старославянского языка неизбежны некоторые эксплицитные самоограничения старославянской грамматики. Необходимо выяснить, что́ именно не поддается описанию и при изучении каких явлений возможно несколько вариантов решения — при одинаковой или неодинаковой вероятности эмпирической адекватности последних. Самоограничения, характерные для любой грамматики, имеют особое значение для грамматики старославянского языка, ибо суждения о грамматичности (правильности), которые и без того затруднены для «мертвых» языков, могут стать невозможными для переводных старославянских текстов в связи с их книжным, стилизованным характером и относительно небольшим их языковым «корпусом».

2.0. Имеет ли смысл, учитывая все сказанное, ставить вопрос о том, существуют ли в старославянских текстах синтаксические элементы, которые находятся в каком-то неясном соотношении с греческим оригиналом, и каковы эти элементы? Вообще, велики ли возможности решения этой проблемы? Исследование соотношения старославянского и греческого, как нам представляется a priori, имеет смысл лишь в том случае, если оно ведет к обнаружению таких синтаксических структур, которые в старославянском представлены только как носители подобного соотношения. Таким образом, основной задачей грамматической теории при описании старославянского является разработка множества правил, употребляемых только в рамках указанного соотношения. Однако конструирование таких правил наталкивается на большие эвристические трудности.

2.1. Правила, которые должны разрабатывать грамматики старославянского языка в связи с его соотношением с греческим, не могут относиться к любым компонентам этой грамматики. При создании трансформационной грамматики старославянского такие правила должны вводиться исключительно или предпочтительно для синтаксических компонентов — для трансформаций, порождающих поверхностные (surface) структуры, и для семантических компонентов. Это ограничение обосновывается допущением инвариантности семантической интерпретации старославянских и соответствующих греческих текстов оригинала. Само допущение инвариантности представляется мне правильным в связи с теми толкованиями переводов, которые появились за долгую историю исследования старославянских текстов. Отношение инвариантности семантической интерпретации к указанному ограничению правил становится ясным, если принять во

внимание следующее. Для старославянского, как и для современных языков, остается в силе тезис, согласно которому грамматика какого-либо языка представляет собой теоретическое построение, отображающее способность, с помощью которой всякий владеющий этим языком может понимать и создавать любое (новое) предложение. Понятие «греческого заимствованного синтаксиса в старославянском»[3] при подобном понимании грамматической теории следует истолковывать в том смысле, что в старославянской грамматике обнаруживается подмножество правил, которые представляют собой транспонирование и/или адаптацию синтаксических правил греческого языка и во всяком случае не существуют в старославянской грамматике без интерференции греческого. Подмножество правил, которое описывает заимствованные синтаксические структуры, следует отделять от всей совокупности правил. При этом под совокупностью правил понимаются правила, которые лежат в основе построения всех встречаемых в старославянских текстах предложений и с помощью которых может порождаться практически бесчисленное количество старославянских предложений. Предположение о возможных модификациях старославянского синтаксиса под влиянием заимствований из греческого означает, что всякий человек, владевший каким-либо славянским языком, но не знавший греческого, первоначально не мог располагать всей совокупностью правил, действующих в старославянском. Всей совокупностью правил, согласно высказанной гипотезе, мог владеть только человек, умевший читать и писать по-гречески. Несомненно, однако, что старославянские тексты были предназначены для любого человека, владевшего одним из славянских языков. Владение одним славянским языком означало в период возникновения старославянского владение синтаксисом старославянского за исключением синтаксических «грецизмов». Основной целью, которую ставили перед собой создатели старославянских текстов (и которой они достигли), была абсолютная семантическая доступность синтаксической конструкции для владевшего любым славянским языком. Отсюда можно заключить, что только такие структуры в синтаксической системе старославянского можно тем или иным путем отнести за счет греческих образцов, которые не оказывали влияния на семантическую интерпретацию, оставляя ее в первоначальном виде. Согласно семантической теории, предложенной Кацем, Фодором и Посталом[4], объектом семантической интерпретации являются глубинные (deep) синтаксические структуры; посредством применения трансформационных правил к глубинным структурам возникают поверхностные структуры. Таким образом, при трансформации порождающего механизма семантическая интерпретация оказывается уже завершенной. Трансформации, неважно какие именно, ничего не меняют в семантической интерпретации.

Если настоящая гипотеза не может быть принята во всей своей последовательности (ср. 2.2.), то мы полагаем, что она в общем оправдывается чисто эмпирически. Отсюда следует, что заимствованные конструкции должны представлять собой полученные в результате трансформации поверхностные структуры и определяются исключительно на основе трансформационных правил. Именно в этом плане делается важное замечание Я. Бауэра о влиянии греческого на старославянский синтаксис: «На становлении сложных синтаксических формаций и заимствованных сложных предложений сильно сказалось влияние оригинала»[5]. Результат приме-

[3] Ср.: R. Růžička, [ответ на вопрос 18], сб. «Славянска филология», I, София, 1963, стр. 135—136.

[4] J. J. Katz, J. A. Fodor, The structure of a semantic theory, «Language», 39, 2, 1963; J. J. Katz, M. P. Postal, указ. соч.

[5] J. Bauer, указ. соч., стр. 82.

нения трансформационных правил, посредством которых определяются заимствованные синтаксические структуры, более не является объектом семантической интерпретации. Последняя обеспечивается уже посредством глубинных структур, получаемых на основе базовых правил фразовой структуры. Таким образом, при восприятии заимствованных конструкций главное состоит в том, чтобы были достаточно прозрачны их поверхностные структуры, за которыми различаются глубинные структуры, служащие основным материалом для семантической интерпретации. Так, возможность наличия заимствованных греческих синтаксических образцов в старославянском, очевидно, связана с тем, что в этом случае речь идет только или предпочтительно о восприятии, о семантической интерпретации, о понимании старославянских переводных текстов, а не об активном использовании старославянского языка.

2.2. Характер заимствованных конструкций сложен, многослоен, в классическом старославянском такие конструкции никоим образом не являются механическими. Для правильной интерпретации их следует разработать трансформационные правила как греческого, так и старославянского. Трансформационные правила, посредством которых определяются старославянские заимствованные конструкции, могут представлять собой комбинации элементарных трансформаций старославянского и греческого. При этом, как нам представляется, соблюдается следующий принцип. В случаях семантической интерпретации вне глубинной структуры, в случаях, когда определенная (элементарная) трансформация (например, номинатив → генитив) влечет за собой семантическую интерпретацию (генитива), причем идентификация старославянского форматива (генитива) с соответствующим греческим (например, генитивом) не означает идентичности семантической интерпретации этих формантов, греческий образец структурно изменяется в переводе. Ср., например, старославянский dativus absolutus, употребляемый вместо греческого genitivus absolutus[6]. Элементарная трансформация в греческом (номинатив → генитив) идентифицируется в старославянском с трансформацией (номинатив → → датив).

Лишь в немногих случаях заимствованная конструкция бывает многозначна или неясна в такой степени, что трудно соотнести ее с определенной конструкцией в заимствующем языке[7].

2.3. Приведенные теоретические положения относительно старославянского автохтонного и заимствованного синтаксиса ниже будут проиллюстрированы и объяснены на примере инфинитивных конструкций. В частности, в разделе 3 дается объяснение тому факту, что греческая конструкция infinitivus cum accusativo вовсе или почти не заимствуется в старославянский, хотя она, будучи типичной поверхностной структурой, лежащей за пределами семантической интерпретации, широко распространена в разных языках (например, в греческом, латинском, английском, немецком). В связи с этим в разделе 4 делается попытка объяснения инфинитивной конструкции с дативом, которая в большинстве случаев служит переводом греческой инфинитивной конструкции с аккузативом.

3.0. Я различаю (α) инфинитивную конструкцию с аккузативом, в которой аккузативная именная часть может выступать как «управляемое» прямое дополнение при глаголе, независимо от инфинитива и (β) такую инфинитивную конструкцию, аккузативная именная часть которой не

---

[6] Ср.: R. Růžička, Struktur und Echtheit des altslawischen dativus absolutus, ZfSl, VI, 4, 1961, стр. 588.

[7] Ср.: R. Růžička, [рец. на кн.:] R. Večerka, Syntax aktivných participií v staroslověnštině, ZfSl, IX, 5, 1964, стр. 719.

может выступать без инфинитива в качестве объекта того же глагола. Примером на тип (β) может служить:

(a) *vy že kogo mę g(lago)lete byti*

τίνα με λέγετε εἶναι (Mt XVI, 15, Зогр.).

Подобные греческие инфинитивные конструкции с аккузативом (и соответственно комплекс правил их порождения, соотносимый с аналогичным комплексом правил в греческой грамматике) в старославянском заимствуются в единичных случаях. Здесь мы имеем дело с бесспорным синтаксическим грецизмом. Редкость этой конструкции может объясняться тем, что она не является грамматически правильной. Утверждения, что это — «стилизованное», «искусственное», «рабское» подражание, вряд ли можно считать лингвистически удовлетворительным; для их обоснования следовало бы прибегнуть к следующим структурным гипотезам:

(a) принадлежит к типу (β), так как каждое

(b) * # . . . *glagolete mę* # является грамматически неправильным.

При этом *mę* можно рассматривать как пример имени, обозначающего лицо. Субституция последнего некоторыми другими именами дает грамматически правильные предложения:

(c) # . . . *glagolete pravьdǫ* #.

Часть цепочки ...*mę glagolete byti*... в (a) совершенно не соотносима со структурой (b), содержащей просто объект лица. Иначе говоря: семантическая интерпретация аккузативной части именной фразы *mę* в (a) не тождественна с семантической интерпретацией, которую могло бы получить *mę* в (b), где оно выступает в качестве «прямого объекта», так что для интерпретации (a) следовало бы только добавить семантику инфинитива. Это означает, что при структурном изображении (a) в показателе НС-структуры (phrase-marker) аккузативу *mę* не может быть придана структура, одинаковая с *mę* в (b) или *pravьdǫ* в (c): *pravьdǫ* в (c) имеет следующую фразовую НС-структуру[8]:

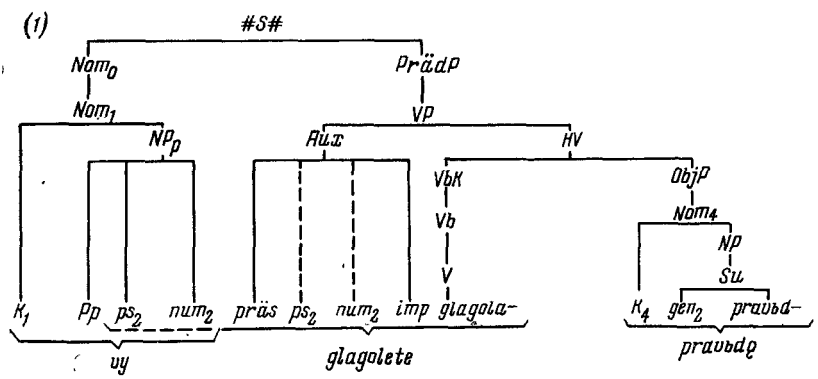
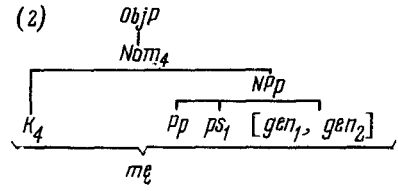


Рис. 1

[8] В статье приняты сокращения: *Aux* — вспомогательный комплекс; *Det* — определитель; gen_1 — мужской род, gen_2 — женский род; *HV* — комплекс главного глагола; *imp* — несовершенный вид; *inf* — форматив инфинитива; *InfP* — инфинитивная фраза; *Int* — вопрос; K_1 — номинатив; K_4 — аккузатив; Nom_0 — неспецифицированный именной комплекс; Nom_1 — именной комплекс в номинативе; Nom_4 — именной комплекс в аккузативе; *NP* — именная фраза; *NPp* — местоименная фраза с личными местоимениями 1 и 2-го лица; num_2 — мн. число; *ObjP* — объектная фраза; *ObjS* — объектное предложение; *perf* — совершенный вид; *Pp* — личное местоимение; *PrädP* — предикатная фраза; *Pro* — местоимение; ps_2 — 2-е лицо; # *S* # — предложение; *Su* — существительное; *V* — глагол; V^{cop} — глагольный комплекс с глаголом-связкой; V^{es} — глагол *esse*; *Vb* — внутренний глагольный комплекс; *VbK* —

Пунктир в части скобки на приведенном графике показывает, что ps_2 и num_2 переводятся в *Aux* путем обязательной трансформации, в результате которой они соотносятся с *glagolete*. Аналогичная НС-структура должна быть придана грамматически неправильному (b). От структуры (1) (b) отличается лишь частью, в верху которой находится *ObjP*.



(gen_1, gen_2 и gen_3 имплицируют ед. число — num_1).

Рис. 2

Грамматическая неправильность (b) обусловлена тем, что характеризующие *glagolati* селективные признаки, представленные как в грамматике, так и в лексике, в этой структуре не соблюдаются.

Даваемая в обоих показателях НС-структуры (1) и (2) интерпретация именных элементов фразы в аккузативе (*pravьdǫ* и *mę*) не может быть применена к показателю НС-структуры для (a) таким образом, чтобы переносилась характеризующая (b) и (c) интерпретация объектных фразовых компонентов (*pravьdǫ* и *mę*), чтобы, следовательно, указанная интерпретация в показателях НС-структуры (1) и (2) сохраняла силу и для (a). При прочих равных условиях синтаксическая и семантическая интерпретация (a) и (c) в таком случае различались бы только тем, что показатель НС-структуры в (1) содержит еще интерпретацию инфинитива. Эта интерпретация, однако, не допускает какого-либо семантического истолкования, обусловленного интуитивным пониманием (a): *mę* нельзя интерпретиро-

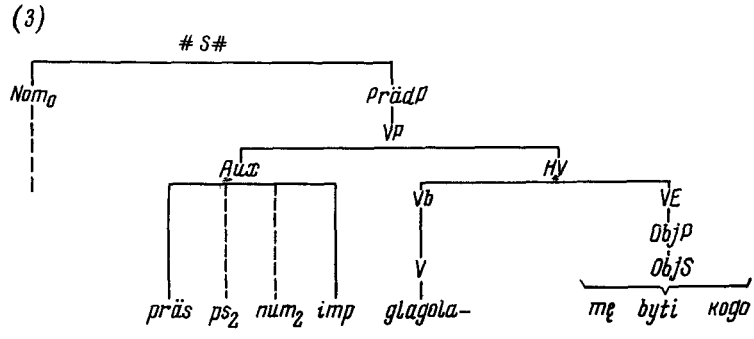


Рис. 3

вать как прямой объект (как это обычно для дополнения в аккузативе), ибо наличие этого элемента предполагает присутствие инфинитива и при отсутствии последнего не может выступать в качестве правильной языковой структуры. В связи с этим аккузатив и инфинитив в своей совокупности воспринимаются как объектный фразовый компонент, как коррелятивное единство взаимообусловленных элементов. Поэтому описание (3)

глагольный комплекс; *VE* — глагольный расширительный комплекс; *VK* — глагольное дополнение (verbal complement). Ср. также: R. R ů ž i č k a, Studien zur Theorie der russischen Syntax, «Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin», Klasse für Sprachen Literatur und Kunst, Jg. 1966, 1.

представляется подходящим для (а). Расширение именного комплекса Nom_0 не повторяется в (3). По своему составу оно подобно тому, которое входит в (1).

Цепочка... *mę byti kogo*..., над которой доминирует *ObjS*, в целях наглядности и большей легкости соотнесения с данным конечным предложением (а) изображена непосредственно под *ObjP* и *ObjS*. Приведенная запись предвосхищает правильную деривацию: указанная цепочка первоначально выступает в виде лежащего в ее основе элементарного показателя структуры, т. е. в своей глубинной структуре, причем над этой последней НС-доминирует рекурсивный символ предложения $\# S \#$:

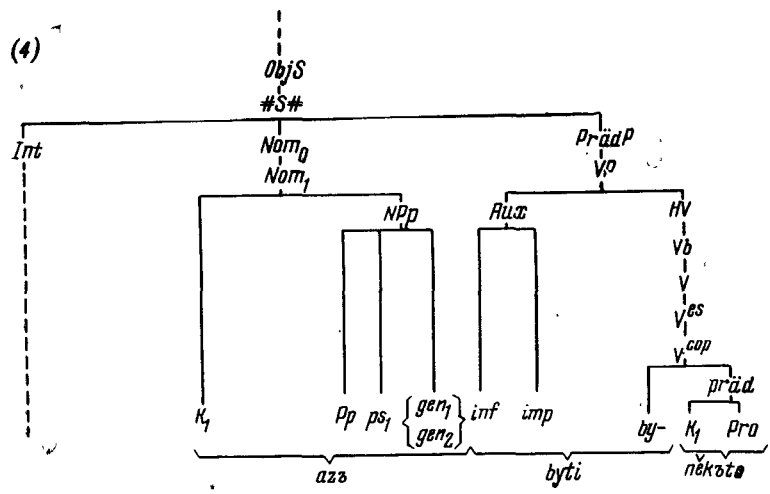


Рис. 4

Перенос показателя НС-структуры на конечную цепочку изображен на рисунке (в фигурных скобках) лишь для наглядности. Переход на графический и/или морфологический уровень наступает только после завершения всех трансформаций. *azъ* и *někъto*, таким образом, не порождаются в процессе деривации. При трансформации неопределенное местоимение *někъto*, входящее во внутреннюю структуру, преобразуется в вопросительное *kъto* — *kogo*; при этом элемент *někъto* при трансформации выпадает, но может восстанавливаться, быть восстанавливаемым элементом[9]. Трансформация вопросительного предложения обозначается через *Int*. При такой трансформации происходит субституция неопределенного местоимения вопросительным, причем первое, будучи константой глубинной структуры, в семантическом отношении может считаться подходящим исходным элементом для трансформации в «расчлененный вопрос» («Gliedfragen»).

Таким образом, путем трансформации вопросов (она приведена на рисунке) возникает следующая промежуточная цепочка, в которой только инфинитив указывает на непосредственно следующую «вклинивающуюся» трансформацию:

(5) *azъ byti kъto*.

Цепочка (5) для простоты превращена в графическую цепочку. В действительности она представляет собой цепочку форматив. Входящая в трансформацию вопроса элементарная трансформация, при которой вопросительное местоимение ставится вначале, должна быть опущена в случае,

[9] Ср.: P. M. Postal, Nový vývoj teorie transformační gramatiky, SaS, XXVI, 1, 1965, стр. 8.

когда непосредственно следует «вставляющая» (embedding) трансформация; этой трансформации подвергается показатель НС-структуры, прошедший трансформацию вопроса. Именно в результате этой трансформации порождается инфинитивно-аккузативный оборот. Она состоит из двух элементарных трансформаций, которым подвергается показатель НС-структуры (4) после того, как в трансформации вопроса *nĕkъto* субституируется формой *kъto*, а *Int* элиминируется. Обе элементарные трансформации становятся понятными на основе следующих трансформационных правил:

(6) $XK_1YK_1'Z \rightarrow XK_4YK_4'Z$
$Y = \ldots inf + by \ldots$

Путем применения правил (6) показатель НС-структуры (4) (или его часть), измененный указанным образом после вопросительной трансформации, переходит в новый производный показатель НС-структуры (или его часть), который лежит в основе конечной цепочки (7):

(7) *...mę byti kogo...*

Только после этого происходит перемещение вопросительного местоимения в позиции абсолютного начала показателя НС-структуры (3) вместе со спецификацией (4). Трансформационное правило (6), как (с небольшими изменениями) и показатели НС-структуры (или их часть) (2), (3), (4), имеют силу и для соответствующих структур греческого оригинала (естественно, при исключении лексических и некоторых формативов). Применение правила (6), как уже говорилось, ведет в старославянском к возникновению грамматически неверных или не совсем правильных структур: аккузативная конструкция не имеет в старославянском никакого отношения к какому-либо другому синтаксическому использованию и/или семантическому значению аккузатива, она «понятна», объяснима семантически, но грамматически неправильна, представляет собой «добавление» ad hoc к старославянской грамматике. Грамматическая неправильность этой конструкции обосновывается несоотносимостью аккузатива в таком употреблении с каким-либо другим использованием аккузатива в старославянском. Можно предполагать, что в греческом конструкция infinitivus cum accusativo типа (β) приобрела грамматическую правильность именно потому, что она соотносима со структурами infinitivus cum accusativo типа (α). В этих последних, однако, аккузатив выступает в роли аккузатива прямого объекта [10]:

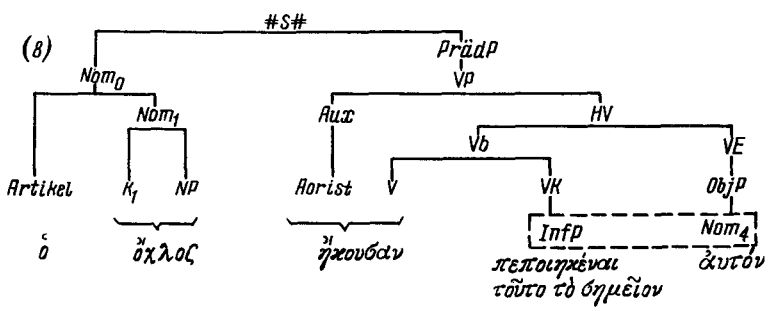


Рис. 5

[10] Об infinitivus cum accusativo Дебруннер заметил: «Употребление инфинитива с аккузативом по сравнению с классическим языком [греческим нового завета.— *Р. Р.*] очень ограничено... этот оборот образуется от глаголов, обозначающих восприятие, понимание, веру, высказывание, указание, причем субъект такого оборота отличается от о б ъ е к т а [разрядка моя.— *Р. Р.*], как правило, идентичного с субъектом инфинитива» (см.: F r. B l a s s, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, bearb. von Dr. phil. A. Debrunner, 10. Aufl., Göttingen, 1959).

Рис. (8) представляет собой (в упрощенном и сокращенном виде) показатель НС-структуры предложения (или его части)

(d) (ὅτι) ἤκουσαν τοῦτο ἀυτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον (J XII, 18).

Под символом *InfP* при полной деривации употребляется рекурирующее обозначение предложения # *S* #, показывающее расширение элементарного показателя НС-структуры, который лежит в основе конструкции «инфинитив с аккузативом». Этот показатель по возможности должен быть отнесен к элементарному показателю НС-структуры, служащему отправной точкой соответствующего самостоятельного предложения. Только во вспомогательном комплексе появляется инфинитив «вставляемого» глагола. Подобное «предвосхищение» изменения, обусловленного «вставлением», можно объяснить и на основе иных доводов» (ср. стр. 88, 91, 94).

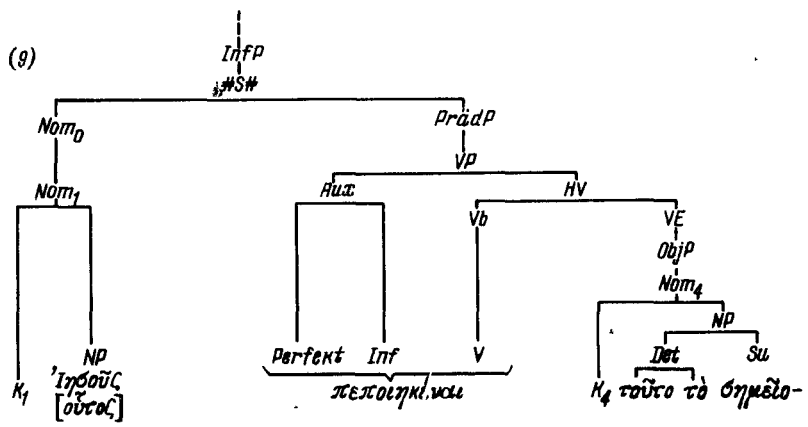


Рис. 6

С показателем НС-структуры (8), с инфинитивно-аккузативными структурами типа (α) (например, с теми, в которых использованы verba sentiendi) структуры типа (β) могут соотноситься только тогда, когда их НС-структура изменяется, «переосмысляется» в сторону структур (3). Грамматическому механизму греческого языка доисторического периода в отношении инфинитивно-аккузативных конструкций после verba sentiendi может соответствовать взаимодействие схем (3) и (8). Точнее: структура подобных инфинитивно-аккузативных конструкций понимается как такая структура, которая может изображаться посредством показателя НС-структуры (3). Никакое историческое объяснение этой конструкции не может приводиться без учета указанной гипотезы. Это не означает, что все инфинитивно-аккузативные конструкции классического греческого языка и/или греческого Нового завета при деривации должны быть подчинены фразовой структуре (3). В греческом грамматическая традиция infinitivus cum accusativo утвердилась с V в. до н. э.[11]. Инфинитивно-аккузативных конструкций типа (α) с показателями НС-структуры (8), (9), которые являются предпосылкой и основой грамматикализации и распространения infinitivus cum accusativo в греческом, в старославянском и вообще в славянском не существовало: дело в том, что элементарные показатели НС-структуры, которые соответствовали этим конструкциям и которые в греческом и в латинском были трансформированы в структуры «инфинитив + аккузатив» типа (α), в старославянском претерпели другое изменение, а именно трансформировались в структуры accusativus cum participio, в которых

[11] Ср.: E. Schwyzer, Griechische Grammatik, II, München, 1950, стр. 376.

причастие было конгруэнтно аккузативной именной фразе[12]. Инфинитивно-аккузативная конструкция в греческом, однако, почти везде свободно (и адекватно) передается через dativus cum infinitivo.

4.0. Приведенные здесь рассуждения подводят к вопросу о грамматической правильности (языковой оправданности) и автохтонности таких старославянских структур, как, например:

(e) ... *gl(agolj)ǫšte vъskrěšenьju ne byti*

λέγοντες ἀνάστασιν μὴ εἶναι (Lk XX, 27, Зогр.).

4.1. Что касается генезиса подобных инфинитивно-дативных структур, то я не могу согласиться с положением К. Хадерки[13] о том, что они возникли из таких оборотов, в которых объект управляющего глагола выступает как датив субъекта действия, обозначаемого инфинитивом. Приводимый Потебней и Миклошичем[14] славянский и литовский материал дает возможность заключить о древнем и автономном происхождении этой конструкции, автономной в том смысле, что инфинитивно-дативная структура может быть генетически объяснена не как объектный конституент предложения, а восходит к автономной элементарной структуре предложения, изображаемой показателем НС-структуры, над которым доминирует нерекурсивный символ предложения $\# S \#$. Я допускаю, таким образом, что структуру (f) #*vъskrěšenьju ne byti*#, включающую датив, не следует объяснять из первоначальной объектной зависимости. Скорее эта структура может быть интерпретирована как структура (предложения) с особой модальностью и описана как результат трансформации, сигнализируемой обозначением модальности *H* [←*M*(о-дальность)]. В рис. 7 *H* симво-

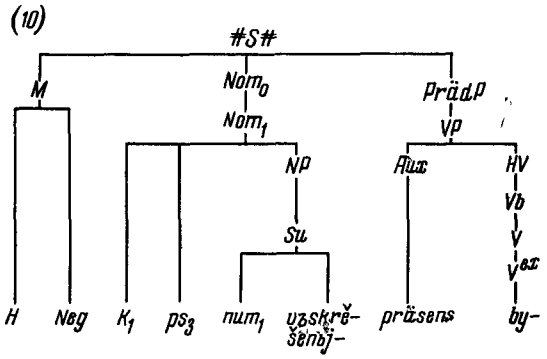


Рис. 7

лизирует особую модальность. Ее можно интерпретировать семантически в гипотетическом и/или прогностическом и/или волюнтативном смысле. *H* расширяется с помощью следующего правила подстановки:

(11) $H \rightarrow K_3 + inf$. Формант инфинитива не вводится через *Aux* (ср. стр. 88).

Над *H* доминирует общий символ модальности *M*, который может также расширяться до отрицания. Если он расширяется в *H* (с *Neg* или без него), то он сигнализирует трансформацию, которую можно применить к показа-

[12] Эту конструкцию я подробно описал в своей работе «Das syntaktische System der altslavischen Partizipien...», стр. 239 и сл.

[13] Ср.: K. Haderka, Сочетания субъекта, связанного с инфинитивом, в старославянских и церковнославянских памятниках, «Slavia», XXXIII, 4, 1964.

[14] А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, I—II, М., 1958, стр. 378 и сл.; F. Miklosich, Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen IV, Heidelberg, 1926, стр. 871 и сл.

телю НС-структуры типа (10) и которая определяется следующими правилами:

(12) $[K_3 + inf\,(Neg)]$ $[[XK_1\,NP_{(p)}\,(ps_3)]\,[V + Y]]$[15].
1 2 3 4 5 6 7 8 9

При этом $K_3 + inf$ — расширение, т. е. подстановка H.

(13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 → 3 4 1 6 2 8 9[16] $= [Neg]\,[[X\ K_3\,NP_{(p)}]\,[inf\ V\ Y]]$.

Сюда же можно отнести и трансформации перемещения, при которых, например, инфинитив перемещается в начало предложения. Начальная позиция $K + inf$ (←H) обусловлена начальной позицией M в первом правиле расширения или подстановки: $\#S\# \rightarrow [M]\ [+\ Nom_0 + Prädp]$. Трансформационное правило (13) при определенном изменении может применяться и для деривации русских предложений, например:

(g) *быть грозе*

(h) *не быть войне.*

Предположение о первоначальной автономности в предложении конструкции «инфинитив + датив» подкрепляется и разночтениями в языковых памятниках:

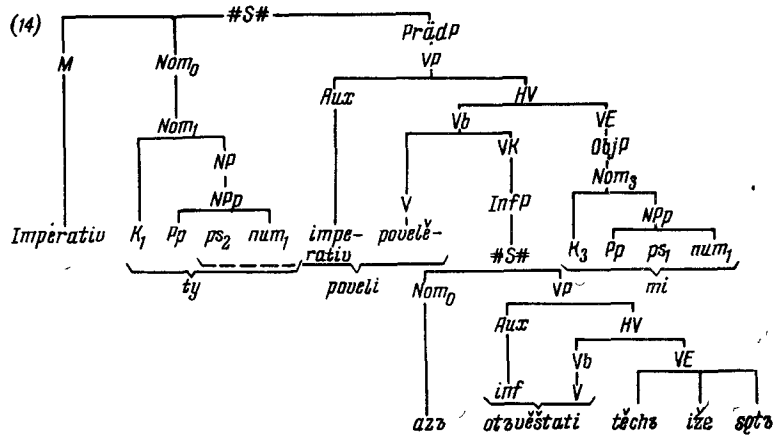
(i) *drevle že poveli otъvrěšti mi sę iže. sǫtъ . . .*

πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν μοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν μου (Lk. IX, 61, Зогр.).

(j) *drevle že poveli mi ot(ъ)věštati mi sę. iže sǫtъ . . .* (Ассем. Остром).

(k) *poveli mi prěžde otъvěštati sę těchъi že sǫtъ vъ domu moemь* (Савв.).

Разночтение в Ассеманиевом и Остромировом евангелии с удвоением личного местоимения в дативе позволяет прийти к выводу об автономности цепочки ...*Otъvěštati mi sę. iže*... В Саввином евангелии дается другая структура с объектом в дативе и с инфинитивным компонентом объектного именно комплекса. Сокращенный и обобщенный (генерализованный) структурный показатели фразы для (k):



imperativ (= форматив императива)

Рис. 8

[15] Отрицание можно и не вводить в трансформационное правило. Оно приводится здесь лишь для наглядности соотношения с (f). Компонентная структура цепочки $M\ Nom_0\ Prädp$, являющаяся непосредственным расширением S, выступает как в виде $(M)\ (Nom_0\ Prädp)$, так и $(M\ Nom_0\ Prädp)$, т. е. представляет собой трехчлен, что, однако, не влечет за собой каких-либо последствий для нашего построения.

[16] О принципах построения трансформационных правил см.: J. J. Katz, P. M. Postal, An integrated theory...; N. Chomsky, Categories and relations in syntactis theory (рукопись доклада, представленного на Магдебургский симпозиум «Знаковость и система языка», сентябрь, 1964). См. также: R. Růžička, Studien zur Theorie der russischen Syntax...

Относительную автономность, т. е. целостность, сближающую ее с предложением, структуры «инфинитив + датив» (она — иная по сравнению с греческой), можно допустить и для случаев (l), (m), (n):

(l) *povelě na utrija na rěcě tigrьstě da sę obręštǫtъ... tu iždе sǫdu byti prědъ licemъ lьstivaago.*

ἐκέλευσεν αὐτοὺς τῇ ἐπιούδῃ εἰς τὸν ποταμὸν τίγριν εὑρεθῆναι...κἀκεῖσε τὸ κριτήριον γενέσθαι κατ' ὄψιν τοῦ δολίου (Супр., 60, 2).

(m) *alъkati bo imaši i žędati i nagotovati. i dosaždenu ti byvati i porǫganu. ponošenu že i izgъnanu*

πεινᾶσαι ἔχεις..., ὑβρισθῆναί τε καὶ χλευασθῆναι, ὀνειδισθῆναί τε καὶ διωχθῆναι

(n) *pò tělu že chudъ běaše vъzdrastom pače mnogichъ. rasmaštrajǫ bo. ne ostaviti mi togo bes pomęnovenьja* (Супр., 545, 26)[17].

Трансформационное правило (13) имеет силу также в случае, когда в (12) *Y-Nom*$_4$... Таким образом, если в конечной цепочке элементарного показателя НС-структуры общей формы (12) даны именной (субъектный) отрезок фразы в номинативе и именной («объектный») отрезок фразы в аккузативе, то происходит превращение субъекта в именную (в дативе) фразу, причем это относится и к тем случаям, когда во фразе отсутствует прямой объект.

4.2. Отсюда следует, что для совершенно аналогичных конструкций «инфинитив + датив», имеющих одинаковую модальность, должно быть сформулировано другое, новое трансформационное правило. Речь идет о конструкциях, в которых именной отрезок (в дативе) может быть возведен к прямому объекту (*Nom*$_4$) базисной (или глубинной) структуры, ср., например, др.-русск.:

(o) *налѣзе мастеры... иныхъ олову льяти, иныхъ крыти, иных извистью бѣлити* (Лавр. летопись)

(p) *а вы плотници суще, а приставимъ вы хоромомъ рубити нашимъ* (там же)[18]

и др.-чешск.:

(q) *kupichu jedno pole pútnikom hřiésti*[19].

При попытке генетического объяснения датива объекта в этих предложениях мы сталкиваемся с некоторыми трудностями. Структуры «инфинитив + датив» с дативом (объекта), как и структуры с дативом (субъекта) первоначально, видимо, были автономной структурой предложения (т. е. обладали способностью при деривации подчиняться нерекурсивному #S#). Если описание датива (субъекта), данное выше, верно, то следует дать аналогичное объяснение датива объекта, отражающее синтаксическую инвариантность обеих структур

(15) $[K_3 + inf]\,[[X\ Nom_1]\,[VK_4\,NP_{(p)}\,Y]]$

(16) $\overset{1}{1}\ 2\ 3\ \overset{2}{4}\ 5\ 6\ 7\ \overset{3}{8} \rightarrow \overset{4}{3}\ 1\ 7\ \overset{5}{2}\ \overset{6}{5}\ 8.$ ($\overset{7}{}$, $\overset{8}{}$)

4 — элиминируется и поэтому больше не встречается в расширенном варианте $K_1 + NP$. Допустимо также наличие неопределенного местоимения, которое может быть элиминировано. В письменных памятниках структуры «инфинитив + датив (объекта)» как автономные структуры

---

[17] Примеры (j), (l), (m), (n) приводит также К. Хадерка, который пытается доказать, что славянская именная фраза (в (j) — второе *mi*) более не представляет собой управляемого объекта, т. е. управление датива снимается. В дальнейшем изложении я иногда буду приводить те же места текста, которые были использованы К. Хадеркой. Однако в данной работе эти примеры иллюстрируют иные интерпретации.

[18] Цит. по кн.: А. А. Потебня, указ. соч., стр. 388—389.

[19] Цит. по кн.: F. Miklosich, указ. соч., стр. XII.

предложения, видимо, не представлены. Деривация конструкции (р) и других конструкций имеет в основном следующий вид:

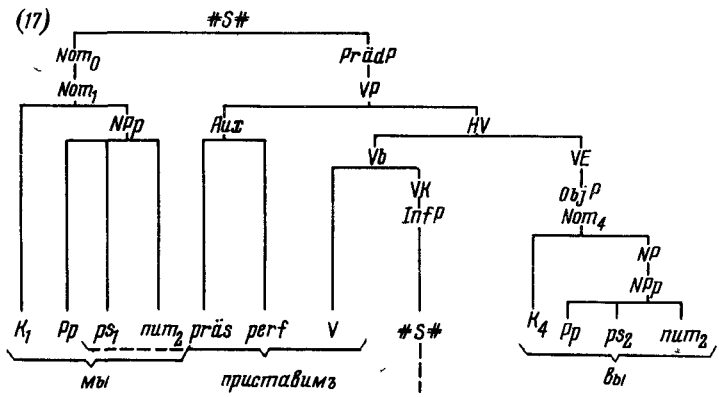


Рис. 9

Под знаком $\#S\#$ (под $InfP$) в (17) выступает деривация, которая удовлетворяет условиям трансформации (16). Nom_1 под знаком рекурсивного $\#S\#$ в (17) расширяется в $K_1 + Pp\ ps_2\ num_2$. Однако все элементы, над которыми доминирует Nom_1 в соответствии с правилом (16), элиминируются. Референционная тождественность Nom_4 (под знаком VE) и Nom_1 (под знаком $\#S\#$) сигнализируется трансформацией (16); трансформация (13) в таком случае недопустима:

(r) * *приставимъ вы вамъ рубити хоромы.*

Возможность этой тождественности приводит к предпочтению Nom_1 неопределенному местоимению в (15). Можно полагать, что среди семантических признаков показателя НС-структуры (17) признак финальности или намерения содержится в модальности, обозначенной через H.

4.3. Вопрос о том, можно ли считать старославянскую конструкцию «инфинитив + датив», которая передает греческую конструкцию «инфинитив + аккузатив», синтаксическим заимствованием, как нам представляется, приобретает лингвистический смысл лишь тогда, когда он сводится к вопросу о грамматической правильности этой конструкции, причем факт заимствования должен выступать в качестве доказательства былой грамматической неправильности или неполной грамматической правильности. Мы видели, что старославянскую конструкцию «инфинитив + аккузатив» в определенном смысле можно считать грамматически неправильной[20]. Эта неправильность в значительной степени снимается употреблением датива, подобно тому, как возможности употребления датива в dativus absolutus дают основания считать этот оборот автохтонным в отличие от genitivus absolutus, где употребление генитива для старославянского языка нужно считать грамматически неправильным[21]. Таким образом, грамматическая неправильность или недостаточная грамматическая правильность данного оборота может выражаться только в структуре его со-

[20] Термин infinitivus cum accusativo, хотя и широко распространен, очень неопределен в своем лингвистическом значении. Обычно под этим термином объединяются несколько различных структур, единство которых мнимо и лингвистически не оправдано. Так, в конструкции типа русск. *мы просили его остаться*, ст.-слав. *ubědi učeniky vъlěsti v korabь. i variti i na opomь polu* содержатся также аккузатив и инфинитив, хотя они не могут быть причислены к изучаемым конструкциям, так как обычно выступают после управляющих глаголов определенных классов.

[21] Ср.: R. Růžička, Struktur und Echtheit des altslavischen dativus absolutus...

ставляющих и/или в его семантической интерпретации относительно модальности. В примере (e) конструкция «инфинитив + датив» представляет собой или самостоятельное предложение (т. е. «прямую речь»), или объектное предложение, т. е. компонент более крупного показателя НС-структуры. Какая из двух интерпретаций наиболее доказательна, невозможно сказать. В первом случае прогностическая модальность вполне ясна интуитивно, во втором случае (в отличие от греческого) эта модальность еще в определенной мере проступает. Таким образом, ни в одном из этих случаев нельзя вполне позитивно говорить о заимствовании. Аналогичная интерпретация может быть дана в случае (s).

(s) *marku evaggelistu glagolǫštu zimě byti vъ to vrěmę*

λέγοντος χειμῶνα εἶναι κατ' ἐκεῖνον τὸν καιρόν (Супр., 345, 27).

Следы былой самостоятельности в пределах предложения можно, очевидно, наблюдать в следующих оборотах «инфинитив + датив»:

(t) *mnozi že moljaachǫ i priti jemu vъ domy ichъ*

οἱ δὲ πλεῖστοι αὐτῶν ἠξίουν παραγενέσθαι... εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν (Супр., 206, 3)

(u) *kako ibo choštete. o semь namь stradati. aky pravьdьnikomъ ili aky i nepravьdьnikomъ*

πῶς οὖν θέλετε τοῦτα πάσχειν ἡμᾶς, ὡς δικαίους ἢ ὡς ἀδίκους (Супр., 128, 1).

Подобно этому:

(v) *mъnělъ li jesi strachy ubojati sę namъ* (Супр., 176, 19).

Во всех трех случаях вполне прозрачна прогностическо-гипотетическая или финальная модальность, так что оборот «инфинитив с дативом» не употребляется как беспризнаковая конвенциональная фигура или структура. (t) отражает стадию предполагаемого «включения» самостоятельной структуры инфинитива с дативом в сферу предложения и поэтому не может без ограничений считаться правильной структурой. Степень грамматической неправильности определяется посредством трансформационных правил, которым надлежит приписать форму «вставления», допущенную ad hoc. В разбираемом случае (t), таким образом, речь идет о следующем: если при элементарных трансформациях, проводимых по образцу (13), из одного показателя НС-структуры получается одна поверхностная структура с заменой номинатива на датив, то при порождении гипотактической структуры из нескольких элементарных показателей НС-структуры, как это представлено в случаях (14) и (17), эти элементарные трансформации сохраняются. Для того чтобы считать такие конструкции грамматически неправильными, потребовался бы, несомненно, большой эвристический материал: так, в этом случае в славянских языках того же или более позднего периода не должны были бы наличествовать грамматически аналогичные нормированные структуры, что позволяло бы заметить общие ограничения грамматической неправильности таких структур. Причины грамматической неправильности в случае (t) вследствие наличия аккузатива *i* легче выделимы, чем в случае (u). Ясная компонентная структура греческого оборота «инфинитив + аккузатив» является образцом старославянского гипотактического комплекса:

(w) *bl(a)govoli že g(ospod)i byti namъ slugamъ novomu tvojemu zavětu*

εὐδόκησον δή, κύριε, τοῦ γενέσθαι ἡμᾶς διακόνους τῆς καινῆς σου διαθήκης[22].

4.4. То, что с лингвистической точки зрения следует понимать под «заимствованным синтаксисом», можно объяснить и в другом аспекте: грамматическая неправильность (хотя и относительная) конструкций, относимых к «заимствованному синтаксису», эксплицируется посредством комбинированного применения определенных синтаксических правил

[22] Цит. по ст.: K. Hadert указ. соч., стр. 509.

старославянской и греческой грамматики. Две грамматические системы правил, которыми располагал переводчик, не расчленяются строго друг от друга и при интуитивно правильной семантической интерпретации старославянских текстов взаимно переплетаются и интерферируют. Подобное «смешанное» употребление греческой и старославянской грамматик можно иллюстрировать следующим примером:

(x) *ni samotu mn(o)jǫ. vьsemu miru vъměstiti pišemychъ kъnigъ.*

οὐδ' ἀυτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρήσειν τὰ γραφόμενα βιβλία (J XXI, 25, Мар.).

Посредством старославянского правила порождения конструкции «инфинитив + датив» адаптируется греческая конструкция «инфинитив + аккузатив». Однако модальность конструкции «инфинитив + датив» сохраняется, а ее автономный характер превращает *mn(o)jǫ* почти в «вводное слово». Таким образом, нейтральной, не связанной с семантической интерпретацией поверхностной структуры, аналогичной греческой конструкции «инфинитив + аккузатив», не получается. Регулярность и своеобразие старославянской конструкции «инфинитив + датив» сохраняются и после применения «греческих» правил «вставления»:

(y) *oni že vьsi osǫdišę i povinъnu byti sъmъrti*

οἱ δὲ πάντες κατέκριναν ἀυτὸν ἔνοχον εἶναι θανάτου (Mk 14, 64, Мар.).

Случай (y) можно объяснить, если это предложение считать результатом определенных преобразований двух исходных структур, каждая из которых дает соответственно предложения:

(z) *oni že vьsi osǫdišę i*

οἱ δὲ πάντες κατέκριναν ἀυτὸν

и (α) *tъ bystъ povinъnъ sъmъrti*

οὗτος ἐστὶν ἔνοχος θανάτου.

Структурные отношения обоих предложений, дающих (y), можно изобразить с помощью так называемого генерализованного показателя НС-структуры, который ниже на рис. (18) приводится в упрощенном виде:

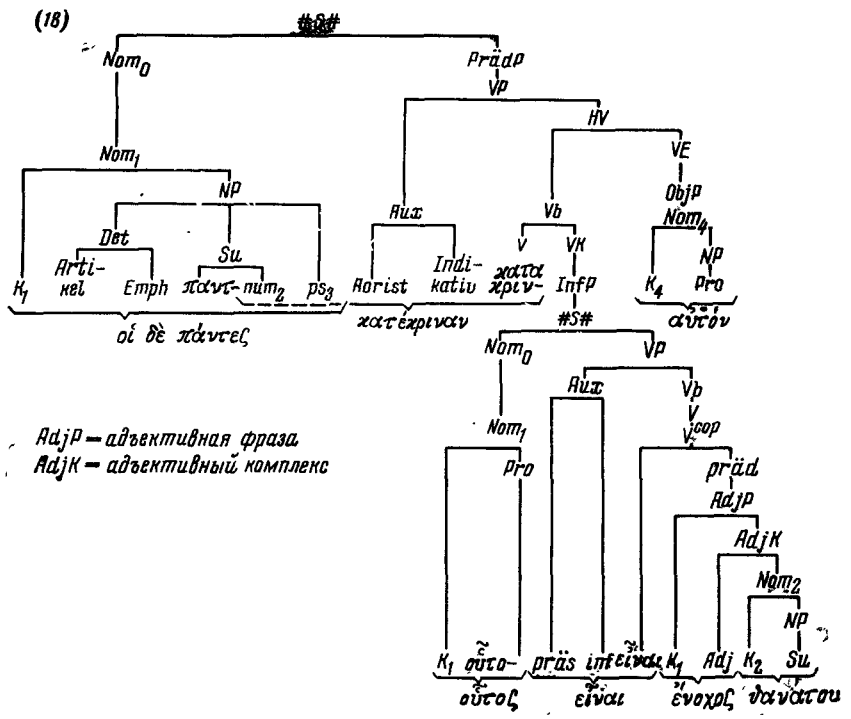


Рис. 10

Прономинализация считается заранее заданной. Во вспомогательном комплексе под рекурсивным # S # форматив инфинитива уже включен, так что порождение инфинитива более не входит в задачи трансформации.

Требующая доведения до конца трансформация греческого предложения (у), расположенного у показателя НС-структуры (или его части) под знаком рекурсивного # S #, состоит из субституции двух K_1 на K_4, элиминации K_4 + οὗτο-, и, наконец, из перемещения цепочки K_4 + αὐτό- в позиции между κατέκριναν и ἔνοχον.

Для старославянского (у) имеют силу аналогичные трансформации при подобном же показателе НС-структуры, при котором под знаком *Aux* следовало бы привести еще обозначение «perf» (ektiv) (соверш. вид), но не «Indikativ», а под знаком Nom_1 не надо было бы давать символа артикля. Все K_1 следовало бы заменить не на K_4, а на K_3 (при рекурсивном # S #). Однако в то время как в греческом действует правило субституции, согласно которому K_1 заменяется в двух местах на K_4 [которые соотносятся с уже данными во фразовом сигнаторе K_4 (под *Obj* P)], в старославянской трансформации ad hoc вводится K_3 по аналогии со структурой «инфинитив + + датив», обладающей упомянутыми особыми структурными свойствами. После включения в структуру (18) автономные модальные свойства структуры «инфинитив + датив», по греческому образцу, утрачиваются, хотя датив не конгруэнтен объекту и поэтому может выступать как независимо мотивированный. Попытка описать и объяснить датив *povinьnu* и подобные ему как «несогласованный», как это делает К. Хадерка [23], ни о чем не говорит. Концепция Потебни [24], согласно которой местоимение *jemu* было элиминировано, со структурной точки зрения полностью оправдана. Тем не менее у Потебни не дается объяснения внутренней структуры как условия и движущей силы такого «элиминирования». В следующем примере (β) иллюстрируется роль аналогичного предполагаемого местоимения (*jei*) после *byti*, а также показывается промежуточный статус его между координированной автономией и «вставленным» компонентом.

(β) *iulijani sestra tvoja oběšta sę požrьti bogomъ i byti ženě mi i gospoždi cěsarьstvu mojemu*

ὑπέσχετό μοι θύειν τοῖς θεοῖς καὶ γενέσθαι μοί εἰς γυναῖκα καὶ δέσποιναν τῆς ἐμῆς βασιλείας (Супр., 2, 5).

В этом примере явно выступает гипотетическо-прогностическая модальность конструкции «инфинитив + датив».

При достаточно ясно выраженных «вставлениях» изучаемого оборота, например, когда по греческому образцу он выступает в качестве (субъектной) именной части предложения, присущая ему модальная окраска теряется: структура «инфинитив + датив» в этом случае, в полном соответствии с греческим оборотом «инфинитив + аккузатив», представляет собой «модус вставления», поддающийся семантической интерпретации, но спорный с точки зрения грамматической правильности:

(γ) *to ašte sę sъlučaaše ne iměti jemu ničьsože dati jemu*

εἰ μή συνέβη βαστάζειν εἴ τι δή ποτ' οὖν πρὸς τὸ δοῦναι (Супр., 207 13)

(δ) *ne dobro jestь mnogomъ bogomъ byti*

non convenit multos esse deos. Пример (δ) был разобран уже Ф. Миклошичем [25].

Возможность модальной интерпретации оборота «инфинитив + датив» здесь зависит от семантики глагола. В таких случаях формальный «модус вставления» может сохранить модальность.

[23] K. Haderka, указ. соч., стр. 512.
[24] А. А. Потебня, указ. соч., стр. 385—386.
[25] F. Miklosich, указ. соч., стр. 619.

4.5. В результате идентификации греческого артикля и старославянского относительного (resp. катафорическо[26]-анафорического) местоимения, представляющего собой буквальный, но неадекватный перевод, получаются полностью грамматически неправильные и в этой части более не поддающиеся семантической интерпретации структуры «инфинитив + датив» (естественно, с утратой всякой модальности). Детерминирующее предложение, с которым сочетается относительное (катафорическое) местоимение (например, *njegože*) в позиции перед именной фразой[27], не является условием наличия такого местоимения в оборотах «инфинитив + датив»:

(ε) *a ježe děvici roditi. ne pričeštъši sę mǫžu*
τὸ δὲ πάρθενον τεκεῖν μή συντυχοῦσαν ἀνδρὶ ἀνώτερόν
vyše togo jestъ zakona tělesъnaago
ἐστιν τῶν νόμων τῆς φύσεως (Супр., 250, 5).

5. В заключение я резюмирую свою концепцию относительно разумной лингвистической интерпретации термина «заимствованный синтаксис» (или «синтаксические заимствования»), понимаемого как точное и имеющее ясные очертания понятие грамматической теории. Каждая заимствованная синтаксическая конструкция в определенной, в каждом случае различной, степени грамматически неправильна. Она может стать грамматически правильной или соответствующей нормам языка. Синтаксические структуры и/или подсистемы какого-либо языка, которые в рамках грамматической теории этого языка должны быть описаны посредством трансформационных правил или части их (элементарные трансформации), взятых из синтаксической теории другого языка, являются заимствованным синтаксисом. При этом имеют силу все теоретические условия трансформации, действующие в трансформационной грамматике. Частотность реально представленных в языке структур при этом не затрагивается.

Заимствованной семантикой называется семантическая интерпретация, которую получает заимствованная или незаимствованная синтаксическая структура на основе семантических правил интерпретации другого языка. Незаимствованные синтаксические структуры могут, таким образом, получить интерпретацию как в свете заимствованной, так и незаимствованной семантики.

Перевел с немецкого *М. М. Маковский*

---

[26] Ср.: R. Růžička, Griechische Lehnsyntax im Altslavischen, стр. 173—185.
[27] Ср. там же, стр. 180—181.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1966

Л. С. БАРХУДАРОВ

К ВОПРОСУ О БИНАРНОСТИ ОППОЗИЦИЙ И СИММЕТРИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

(На материале глагола в английском и французском языках)

Понятие «симметрии» применительно к структуре языка, в частности, применительно к его грамматическому строю, остается во многом спорным и неопределенным. Существуют серьезные сомнения относительно того, можно ли вообще считать структуру языка симметричной как в целом, так и в отношении отдельных ее сторон (фонологическая система, грамматический строй и др.). В значительной степени разногласия в этом вопросе объясняются, видимо, тем обстоятельством, что до сих пор не существует каких-либо точных и общепринятых определений таких понятий как «система», «структура», «симметрия» в общефилософском плане. Не случайно в статье, опубликованной в мартовском номере журнала «Коммунист» за 1965 г., прямо сказано, что новейшие открытия в области естественных наук и проблемы, выдвигаемые ходом развития общественных наук, «ждут философского обобщения, требуют тщательного анализа нового понятийного аппарата, таких категорий, как элемент, система, структура, целостность, симметрия, вероятность, информация, модель» [1]. Вряд ли нужно доказывать, что философское определение всех этих понятий имело бы огромное значение для успешного развития науки о языке.

В настоящей работе, естественно, мы не пытаемся рассматривать данную проблему во всей ее сложности и многообразии. Ввиду отсутствия в настоящий момент строго научного философского определения симметрии, мы будем в дальнейшем руководствоваться весьма приблизительным и интуитивным пониманием этого термина в смысле определенной регулярности строения системы языка, повторяемости общих принципов этого строения в его отдельных частях или подсистемах. Иначе говоря, мы будем считать симметричной языковую систему или подсистему в том случае, если все ее части построены одинаковым способом, т. е. покоятся на одинаковых для всех них принципах внутренних отношений. Само собой разумеется, такое рабочее определение понятия симметрии является весьма расплывчатым и предполагает необходимость последующего уточнения.

Нам кажется, что если мы исходим из положения о системности языка, являющегося, по нашему мнению, краеугольным камнем современной лингвистики, то бесполезно спорить о том, обладает ли язык свойством симметрии или не обладает. Само по себе понятие системы уже необходимо предполагает понятие симметрии в указанном выше понимании: организованная система тем и отличается от случайного скопления разрозненных элементов, что характеризуется регулярностью и закономерностью строения и внутренних отношений входящих в нее частей, иными словами,

[1] Н. Биккенин, С. Одуев, А. Познер, Г. Смирнов. Философская наука и ее современные проблемы, «Коммунист», 1965, 5, стр. 67.

характеризуется симметрией в указанном выше понимании этого слова. Поэтому, нам кажется, бесполезно спорить о том, обладает ли языковая система свойством симметрии: или она им обладает, или же язык вообще не является системой. Спор может идти лишь об одном: каким образом, в каких конкретных формах проявляется симметрия в системе языка.

Представляется, что одним из частных проявлений свойства симметрии в структуре языка является построение грамматического строя языка по принципу бинарных оппозиций. Как известно, сущность этого принципа, выдвинутого и обоснованного пражской школой функциональной лингвистики, заключается в том, что грамматический строй языка представляется в виде взаимно противопоставленных рядов грамматических форм, причем грамматические категории языка образуются противопоставлением двух (не более!) таких взаимоисключающих рядов форм (по терминологии А. И. Смирницкого, «категориальных форм»[2]). Этот принцип, принимаемый с определенными поправками и видоизменениями также и рядом других лингвистов, не принадлежащих к пражской школе структурной лингвистики, давно уже является предметом оживленной дискуссии. В нашу задачу, однако, не входит вдаваться в рассмотрение проблематики, связанной с дискуссией о бинарной теории; наша задача является более узкой, а именно: попытаться проиллюстрировать положение о бинарности строения грамматических подсистем на материале глагольных категорий английского и французского языков с целью продемонстрировать симметричность строения этих грамматических подсистем. Само собой разумеется, рассматриваемыми явлениями далеко не ограничивается проявление свойства симметрии в структуре языка; речь идет лишь об одном частном случае манифестации симметрических свойств грамматических систем[3].

Как уже указывалось в литературе, грамматические категории английского глагола подразделяются прежде всего на категории, функционирование которых связано с синтаксическим употреблением глагольных форм, и категории, не обусловленные синтаксически. К числу последних в английском языке относятся категории з а л о г а, в и д а и в р е м е н н о й о т н е с е н н о с т и. Эти три глагольные категории, как было показано в работах А. И. Смирницкого и Д. А. Штелинга, следует рассматривать как наиболее характерные грамматические категории г л а г о л а, т. е. именно как чисто м о р ф о л о г и ч е с к и е категории, поскольку их использование не ограничено в какой-либо степени синтаксическими условиями употребления глагольных форм. Иначе говоря, формы этих категорий свойственны глаголу как таковому, как части речи, независимо от того, выступает ли глагол в предикативном или в непредикативном употреблении, т. е. в личной или неличной форме.

Грамматическая категория з а л о г а образуется в английском языке на основе бинарной оппозиции «действительный залог» — «страдательный залог». В этой оппозиции категориальная форма действительного залога является немаркированным («слабым») членом как формально, так и функционально. С формальной точки зрения категориальная форма действительного залога должна быть признана немаркированной на том основа-

[2] См.: А. И. С м и р н и ц к и й, Синтаксис английского языка, М., 1957, стр. 30.

[3] Попытки представить систему грамматических категорий английского глагола в виде сетки бинарных оппозиций предпринимались в лингвистической литературе неоднократно как у нас, так и за рубежом [см., например, А. И. С м и р н и ц к и й, Морфология английского языка, М., 1959 (раздел «Глагол»); Д. А. Ш т е л и н г, О неоднородности грамматических категорий, ВЯ, 1959, 1; И. Б. Х л е б н и к о в а, Binary relations in morphology, «Philologica Pragensia», VII, 2, 1964; R. J a k o b s o n, Boas' view of grammatical meaning, «American anthropologist», memoir 89, 1959; B. S t r a n g, Modern English structure, London, 1962, стр. 141]. Тем не менее, нет оснований считать этот вопрос окончательно решенным.

нии, что внешне она выражается нулевым показателем, в то время как категориальная форма страдательного залога характеризуется определенным положительным показателем — прерывистой морфемой {*be*} + + {*-en*}[4]. С функциональной же точки зрения категориальная форма действительного залога также должна быть признана «слабой» или «экстенсивной»: в то время как форма страдательного залога характеризуется определенным семантическим содержанием (действие, направленное на субъект извне), форма действительного залога обладает весьма широким и неопределенным значением, которое не может быть сформулировано в каких-либо положительных терминах. Форма действительного залога может иметь и «активное» значение (действие исходит из субъекта и направлено на объект, например *He opened the door*), и «среднее» значение (действие замыкается в пределах самого субъекта, например *The door opened*; *The lesson began*), и «возвратное» значение (действие исходит из субъекта и на него же возвращается, например *He washed, shaved and dressed*), и «взаимное» значение (каждый из субъектов является одновременно и деятелем, и объектом действия, например *They embraced*), и значение постоянной характеристики, свойства субъекта (*The book reads easily*) и т. д.[5] Поэтому семантическая характеристика категориальной формы действительного залога может быть дана только в отрицательных терминах: единственное, что можно сказать про эту форму в плане значения, это то, что она является нестрадательной, т. е. что обозначаемое ею действие не направлено на субъект извне. Иначе говоря, эту категориальную форму следовало бы называть не «действительным», а «нестрадательным» залогом[6]. Такая семантическая характеристика этой глагольной формы находит себе внешнее выражение в особенностях ее употребления: форма действительного залога употребляется в гораздо более широком кругу контекстов, чем противопоставленная ей «интенсивная» форма страдательного залога. Этим же объясняется и тот факт, что глаголы, вообще стоящие вне залоговых противопоставлений (так называемые непереходные), употребляются именно в форме действительного залога, т. е. в немаркированной, «экстенсивной» категориальной форме.

Подобным же образом построена в английском языке и категория вида. Эта глагольная категория образуется на основе бинарной оппозиции «общий (непродолженный) вид — продолженный вид», в которой категориальная форма общего вида является немаркированным, а категориальная форма продолженного вида — маркированным членом. Опять-таки немаркированность формы общего вида проявляется как формально (нулевой показатель), так и функционально: форма общего вида сама по себе не дает действию никакой определенной характеристики и единственное, что про нее можно сказать в семантическом плане — это то, что она не

[4] О нашем понимании аналитических форм как характеризуемых наличием прерывистых морфем см. в статье «К вопросу о служебных словах» («Ин. яз. в шк.», 1965, 6).

[5] См.: B. Ilyish, The structure of modern English, Moscow, 1965, стр. 127—128.

[6] В этой связи необходимо подчеркнуть, что мы не согласны с теми исследователями, которые характеризуют немаркированную форму как «оставляющую данное значение невыраженным», т. е. как форму, лишенную, по существу, всякого семантического содержания (см., например: А. В. Исаченко, О грамматическом значении, ВЯ, 1961, 1). Если бы это было так, то немаркированную форму можно было бы употреблять всюду вместо маркированной; иначе говоря, были бы возможны такие конструкции как **The letter writes by John*; **He is born twenty years ago* и т. д. С нашей точки зрения, немаркированная форма должна определяться отрицательно, как выражающая значение, противоречащее значению маркированной формы (нестрадательность, непродолженность, непрошедшее и т. д.).

обозначает действия в его конкретном протекании в определенный момент или период времени. С другой стороны, категориальная форма продолженного вида является, несомненно, маркированным членом бинарной оппозиции, как с точки зрения ее формального выражения — прерывистая морфема {*be*} + {*ing*} — так и с точки зрения функциональной: форма продолженного вида дает действию определенную семантическую характеристику (действие в процессе его конкретного протекания в определенный момент или период времени) и, тем самым, употребляется в гораздо более ограниченном кругу контекстов, нежели форма общего вида. Опять-таки, этим объясняется тот факт, что существуют глаголы, неупотребляемые или крайне редко употребляемые в форме продолженного вида (например, *possess*, *resemble* и др.), в то время как не существует глаголов, которые не имели бы формы общего вида.

Наконец, категория временной отнесенности в английском языке образована на основе бинарной оппозиции «неперфект — перфект». И здесь мы видим ту же картину: неперфектная форма, будучи немаркированным членом оппозиции, характеризуется нулевым показателем и чисто негативным семантическим содержанием (действие, обозначенное этой формой, не соотносится с каким-либо последующим моментом времени или другим действием), в то время как форме перфекта маркирована формально (прерывистая морфема {*have*} + {*-en*}) и обладает определенным семантическим содержанием — действие обозначается как соотнесенное с каким-либо последующим моментом времени или другим действием [7].

Переходим теперь к рассмотрению категорий, связанных с синтаксическим употреблением глагольных форм, с их функционированием в предложении, т. е., по существу, категорий не морфологических, а синтаксических, хотя и выражаемых с помощью морфологических, т. е. флективных средств. Здесь прежде всего мы сталкиваемся с наиболее общей категорией, образуемой противопоставлением предикативных (личных) форм глагола формам непредикативным (неличным). Эта своеобразная грамматическая категория, которую, вслед за А. И. Смирницким, можно назвать «категорией репрезентации» [8], построена на противопоставлении синтаксического употребления глагольных форм: предикативные (личные) формы глагола всегда употребляются только в одной синтаксической функции, а именно, в функции сказуемого, непредикативные же (неличные) формы могут употребляться в любой синтаксической функции, кроме функции сказуемого. В связи с этим мы имеем основания считать систему предикативных форм глагола сильным или интенсивным, а систему непредикативных форм — слабым или экстенсивным членом данной бинарной оппозиции (о «маркированности» или «немаркированности» в формальном смысле говорить в этом случае не приходится, поскольку противопоставление предикативных форм непредикативным формам в целом основывается исключительно на синтаксическом критерии, а не на каких-либо особых морфемных показателях — не существует никакой особой «морфемы предикативности» или «морфемы непредикативности», которые характеризовали бы данные категориальные ряды глагольных форм в их противопоставлении друг другу в целом [9]).

---

[7] Некоторые американские лингвисты характеризуют это семантическое содержание формы перфекта как «current relevance» (см., например: W. F. Twaddell, The English verb auxiliaries, Brown University Press, 1960; H. A. Gleason, An introduction to descriptive linguistics, New York, 1961, стр. 236).

[8] См.: А. И. Смирницкий, указ. соч., стр. 246—247. Другое наименование этой категории — «категория финитности» (finitude) — предложено Б. Стрэнг (см.: B. Strang, указ. соч.).

[9] В этой связи следует отметить, что мы считаем полезным разграничить употребление терминов «маркированная/немаркированная» и «сильная (интенсивная)/

Оставляя в стороне вопрос о непредикативных формах как заслуживающий особого рассмотрения, обратимся к анализу системы предикативных форм английского глагола. Здесь прежде всего мы устанавливаем наличие особой грамматической категории, базирующейся на бинарном противоставлении форм императива всем прочим, т. е. неимперативным предикативным формам. В этой связи необходимо сказать следующее: традиционная грамматика рассматривает императив обычно как одну из форм наклонения, включая его под названием «повелительного наклонения» в ту же систему форм, что и изъявительное и сослагательное наклонение. Между тем не подлежит сомнению весьма специфический характер императива сравнительно с формами как изъявительного, так и сослагательного наклонений. По этому поводу В. В. Виноградов писал: «Повелительное наклонение находится на периферии глагольной системы. Оно стремится отпасть от нее, так как его притягивают междометия»[10]. Даже если признать такую характеристику специфичности формы императива несколько преувеличенной, все же нельзя отрицать, что императив в целом действительно характеризуется целым рядом черт, отсутствующих у форм как изъявительного, так и сослагательного наклонения. Форма императива неразрывно связана с определенным синтаксическим типом предложения (так называемое побудительное предложение): в то время как формы изъявительного и сослагательного наклонения могут употребляться в любом структурном типе предложения (кроме побудительного) — как в повествовательном, так и в вопросительном, форма императива может употребляться только в побудительном предложении (об употреблении императива в особых типах придаточных предложений речь пойдет ниже), и наоборот, в побудительном предложении не может употребляться никакая другая предикативная форма глагола, кроме императива. Ср. следующую схему:

Повествовательное предложение	Вопросительное предложение	Побудительное предложение
изъявит. накл.	изъявит. накл.	императив
сослагат. накл.	сослагат. накл.	

Далее, следует отметить, что для предложений с формой императива, т. е. побудительных, характерна (хотя и не обязательна) бесподлежащная структура в смысле отсутствия эксплицитно выраженного подлежащего (ср. *Stop!*, *Come here* и т. д.), в то время как для предложений со сказуемыми в форме изъявительного и сослагательного наклонений характерно (хотя опять-таки отнюдь не обязательно) наличие эксплицитно выраженного подлежащего, т. е. словесная двусоставность. Наконец, в семантическом плане императив также выделяется среди других предикативных глагольных форм своей связью со сферой волеизъявления. Все эти соображения, мы полагаем, дают достаточные основания считать, что форма императива, в силу ее специфики, не должна относиться к числу наклонений на тех же основаниях, что и формы индикатива и конъюнктива (изъявительное и сослагательное наклонения). Поэтому мы считаем возможным установить в системе английского глагола наличие особой грамматической категории, построенной на бинарном противопоставлении «неимператив — императив», для которой пока что не существует определенного наименования. Это противопоставление, как мы видим, построено на чисто синтаксической ос-

слабая (экстенсивная)» форма, применяя первые для обозначения формальной, а вторые — для обозначения семантико-функциональной характеристики членов привативной оппозиции.

[10] В. В. Виноградов, Русский язык, М.— Л., 1947, стр. 590.

нове, причем императив следует считать, очевидно, сильным (интенсивным) членом данного противопоставления, несмотря на его формальную немаркированность (нулевой показатель), поскольку синтаксическое употребление императива, в отличие от неимперативных форм, является связанным, т. е. ограниченным определенными конструктивными условиями.

Императив, как известно, характеризуется наличием всего только одной неизменяемой формы и поэтому не поддается дальнейшему бинарному членению. Что касается неимператива, то он, как было указано, включает в себя две формы — изъявительного и сослагательного наклонения, противопоставление между которыми образует грамматическую категорию наклонения.. В пределах этого бинарного противопоставления категориальная форма изъявительного наклонения является, несомненно, *немаркированным и слабым членом как формально, так и функционально*, в то время как категориальная форма сослагательного наклонения является членом маркированным и сильным. Как известно, форма сослагательного наклонения в английском языке у всех глаголов, за частичным исключением {*be*}, полностью омонимична форме прошедшего времени изъявительного наклонения, в связи с чем многие западноевропейские и американские лингвисты предпочитают трактовать эту форму не как особое наклонение, а как специфическое употребление формы прошедшего времени в значении нереального или воображаемого действия (по терминологии Есперсена, «preterite of imagination»). Следует иметь в виду, однако, что форма сослагательного наклонения в целом четко отграничивается от омонимичной ей формы прошедшего времени изъявительного наклонения по своим дистрибутивным признакам: в то время как форма прошедшего времени изъявительного наклонения ничем не ограничена в своем синтаксическом употреблении, форма сослагательного наклонения является синтаксически связанной — она употребляется, как правило, лишь в определенных типах придаточных предложений, вводимых обычно союзами *if*, *even if*, *even though*, причем в главном предложении в этом случае употребляется одна из форм *should/would/could/might*[11]. Нетрудно убедиться, что сочетаемость формы сослагательного наклонения иная, нежели у формы прошедшего времени: так, форма прошедшего времени не может сочетаться с наречиями и обстоятельствами, лексическое значение которых противоречит значению прошедшего времени (предложение* *He came tomorrow* является грамматически неотмеченным), в то время как это вполне допустимо и нормально в отношении формы сослагательного наклонения (ср. грамматичность такого предложения, как, например, *If he came tomorrow, I should speak to him*). Это дает нам, представляется, достаточные основания усматривать в данном случае наличие двух омонимичных форм — сослагательного наклонения и прошедшего времени изъявительного наклонения, тем более, что морфологическая омонимия форм вообще весьма характерна для английского языка.

Что касается сочетания «*should/would* + инфинитив», употребляемого в главном предложении при наличии формы сослагательного наклонения в придаточном, то мы допускаем возможность его двоякой трактовки: 1) это сочетание можно считать аналитическим вариантом категориальной формы сослагательного наклонения; в этом случае следует признать, что сослагательное наклонение в английском языке представлено двумя вариантами (аллоформами), находящимися в отношении дополнительной дистрибуции,— синтетическим и аналитическим[12]; 2) можно считать

[11] См.: W. Twaddell, указ. соч., стр. 5.

[12] Именно такая трактовка сослагательного наклонения в английском языке принята в кн.: Л. Бархударов, Д. Штелинг, Грамматика английского языка, М., 1965, стр. 195—197.

эту конструкцию свободным синтаксическим сочетанием модального глагола в форме сослагательного наклонения с полнозначным глаголом; в таком случае следует считать, что форма сослагательного наклонения в английском языке ограничена в своем употреблении почти исключительно сферой придаточных предложений определенных типов. Обе точки зрения имеют свои преимущества и недостатки, и мы колеблемся в настоящее время сделать окончательный выбор.

Форма сослагательного наклонения (маркированная, сильная), как известно, не изменяется по времени, числам и лицам и поэтому дальнейшему парадигматическому членению не подлежит. Что касается формы изъявительного наклонения (немаркированной, слабой), то внутри нее в свою очередь выделяется бинарная оппозиция «настоящее время — прошедшее время», образующая грамматическую категорию времени. В пределах этой категории форма настоящего времени является немаркированным и слабым членом привативной оппозиции. С точки зрения формы настоящее время является немаркированным членом оппозиции потому, что характеризуется нулевым морфемным показателем; с точки зрения семантики эта категориальная форма должна быть признана слабым (экстенсивным) членом оппозиции на том основании, что она не дает действию какой-либо положительной временной характеристики: действие, обозначенное глаголом в форме настоящего времени, может быть отнесено непосредственно к моменту высказывания (*I hear a noise*), может происходить в течение более или менее длительного периода времени, включающего и момент высказывания, но не ограниченного им (*I live in Moscow*), может носить характер повторяющегося, обычного действия (*I always get up at seven o'clock*), может относиться к будущему (*Tomorrow we give a public breakfast*), может, наконец, относиться к любому периоду времени вообще, т. е. носить вневременной характер (так называемые «всеобщие истины», например *France lies on the windward side of Europe*). В связи с этим иногда делаются утверждения, согласно которым форма так называемого настоящего времени вообще лишена какой-либо временной семантики, т. е. оставляет значение времени невыраженным[13]. Выше (см. примеч. 6) мы уже выражали свое несогласие с такой трактовкой слабой формы привативной оппозиции: с нашей точки зрения, настоящее время не имеет определенного положительного семантического содержания, но может быть охарактеризована отрицательно, как не относящая действие к сфере прошедшего времени; ср. неграмматичность таких конструкций как **I see him last year*[14]. Поэтому можно согласиться с теми лингвистами, которые считают название «настоящее» время неудачным и предлагают называть данную категориальную форму непрошедшим (non-past)[15].

Что касается категориальной формы прошедшего времени, то она, безусловно, является маркированным и сильным членом привативной оппозиции. С точки зрения формы прошедшее время характеризуется положительным морфемным показателем — морфема {*-ed*} [представленная многочисленными алломорфами, в том числе, у так называемых неправильных

---

[13] См., например: W. Twaddell, указ. соч., стр. 3—5.

[14] Так называемое «настоящее историческое» (historical present) с нашей точки зрения является особым стилистическим приемом, построенным именно на этом значении непрошедшего, свойственном форме настоящего времени: действие, фактически происходившее в прошлом, как бы «оживляется» и переносится в сферу настоящего. См. об этом W. Diver, The chronological system of the English verb, «Word», XIX, 2, 1963.

[15] См., например: A. Hill, Introduction to linguistic structures, New York, 1958, стр. 153.

глаголов, морфами-заместителями (replacives), т. е. фонемными чередованиями]. При этом следует отметить что поскольку мы считаем сослагательное наклонение и прошедшее время изъявительного наклонения двумя омонимичными формами, мы приписываем этим двум формам различное морфемное строение: форма сослагательного наклонения может быть представлена структурной формулой $\{V\} + \{\text{-}ed_1\} + \{\emptyset_2\}$, где $\{V\}$ — основа глагола, $\{\text{-}ed_1\}$ — морфема сослагательного наклонения, $\{\emptyset_2\}$ — нулевая морфема времени; форма же прошедшего времени изъявительного наклонения может быть представлена как $\{V\} + \{\emptyset_1\} + \{\text{-}ed_2\}$, где $\{V\}$ — основа глагола, $\{\emptyset_1\}$ — нулевая морфема изъявительного наклонения, $\{\text{-}ed_2\}$ — морфема прошедшего времени.

С точки зрения семантико-функциональной прошедшее время также характеризуется вполне определенным положительным содержанием (действие относится к периоду времени в прошлом), что дает нам основание считать ее сильным членом привативной оппозиции.

За исключением глагола {*be*}, характеризуемого особой парадигмой, формы прошедшего времени глаголов современного английского языка не имеют никаких различий в числе или лице и поэтому не подлежат дальнейшему парадигматическому членению. Что касается немаркированной формы настоящего времени, то в ее пределах устанавливается бинарная оппозиция «единственное число — множественное число», образующая грамматическую категорию числа. Вообще говоря, можно было бы, как это делают некоторые исследователи, не выделять число в пределах глагольной системы в особую грамматическую категорию и объединить ее в единую категорию вместе с лицом; однако ввиду наличия определенной корреспонденции между числом подлежащего (существительного или местоимения) и формой глагола представляется все же удобным выделить число в особую глагольную категорию, имея в виду, что основание для такого выделения является чисто синтаксическим. При этом в связи с общим характером числа как грамматической категории[16] форму мн. числа следует, очевидно, считать сильным, а ед. числа — слабым членом данной оппозиции.

Форма мн. числа в английском языке, как известно, не имеет различий в формах лица и поэтому дальнейшему парадигматическому членению не подлежит. Что касается формы ед. числа (слабой), то в ее пределах в английском языке можно противопоставить две категориальные формы: третье лицо (маркированная форма, характеризуемая морфемой {-*s*}) и общее лицо, т. е. второе и первое, которые мы считаем возможным объединить в одну категориальную форму в связи с тем, что почти все глаголы современного английского языка в первом и втором лице имеют одну и ту же форму, характеризуемую, в отличие от третьего лица, нулевым морфемным показателем (немаркированная форма). Исключение из общего правила в этом отношении составляет один глагол {*be*}, у которого в пределах ед. числа выделяются не две, а три формы лица: *am*, *are* и *is*. Однако ввиду исключительного положения глагола {*be*} в системе английского глагола вообще, мы считаем возможным отграничить его парадигму от парадигмы всех прочих глаголов и тем самым установить в пределах системы английского глагола две различные парадигмы: общую парадигму для всех глаголов, кроме {*be*}, и специальную парадигму глагола {*be*}. Это дает нам основания говорить, что в пределах общей парадигмы английского глагола выделяется категория лица, построенная также на бинарном противопоставлении: «общее (нетретье) лицо — третье лицо».

С тем чтобы сделать изложение нашей концепции строения парадигмы английского глагола по возможности более полным, а также чтобы снять

[16] См. об. этом: А. В. Исаченко, указ. соч.

возможные возражения, скажем еще несколько слов о формах глагола, обычно выделяемых в традиционном грамматическом описании, но не нашедших места в нашей системе. Прежде всего, нужно сказать о так называемой форме будущего времени. Мы полностью согласны с Есперсеном и с современными американскими и английскими лингвистами, которые отрицают существование в английском языке формы будущего времени и трактуют конструкцию «*shall/will* + инфинитив» как свободное сочетание модального глагола с инфинитивом, т. е. так же, как и сочетания «*can* + инфинитив», «*may* + инфинитив» и т. д. Мы не считаем необходимым подробно аргументировать эту точку зрения, поскольку эта аргументация хорошо известна. Мы считаем необходимым к существующим семантическим и формальным соображениям в пользу признания сочетания «*shall/will* + инфинитив» свободной синтаксической конструкцией, а не аналитической формой, добавить лишь следующее: 1) рассматриваемая конструкция не подходит под даваемое нами определение аналитической формы как представленной прерывистой морфемой (см. примеч. 4) — во всяком случае в этом отношении конструкция «*shall/will* + инфинитив» ничем не отличается структурно от конструкций «*can* + инфинитив», «*may* + инфинитив» и других модальных сочетаний; отграничивать же аналитическую форму глагола от свободных синтаксических сочетаний на основе лишь одного семантического критерия теоретически неверно и практически неосуществимо; 2) тот факт, что признавая существование в английском языке формы будущего времени, мы вынуждены также признать и существование так называемого «будущего в прошедшем» (future in the past), сам по себе говорит о противоречивости этой концепции: если одна и та же форма может быть одновременно и «будущим», и «прошедшим», т. е. если значения «будущего» и «прошедшего» не являются взаимоисключающими, то это значит, что они не принадлежат одной и той же грамматической категории, т. е. что трихотомия «настоящее — прошедшее — будущее» принципиально неверна[17]. В связи с этим мы не считаем правильным говорить о существовании в английском языке формы будущего времени, равно как и формы «будущего в прошедшем» и рассматриваем соответствующие конструкции как сочетания модальных глаголов *shall* и *will* в формах, соответственно, настоящего и прошедшего времени с инфинитивом.

Следует сказать также несколько слов о форме, называемой А. И. Смирницким «сослагательным I», т. е. форме типа *go*, *be* в предложениях *I demand that you* ***go****; I suggest that he* ***be*** *our secretary*. Внешне эти формы полностью совпадают с формой императива. По своей семантике они также соответствуют значению в о л е и з ъ я в л е н и я, присущему форме императива: не случайно в современном английском языке эти формы употребляются, как правило, в придаточных предложениях при сказуемом главного предложения, представленном одним из глаголов, имеющих значение желания, требования, просьбы, предложения и т. п. (*demand*, *require*, *insist*, *suggest*, *offer*, *ask*, и т. д.). В самом деле: предложение *I demand that you* ***go*** *there* вполне естественно толковать как трансформ исходного *I demand*: «***Go*** *there*», т. е. как перевод побудительного предложения из прямой речи в косвенную. Исходя из этого, мы считаем возможным тракто-

[17] Ср. аналогичную аргументацию А. И. Смирницкого применительно к отношению перфекта и вида (указ. соч., стр. 298). Характерно, что Б. А. Ильиш, начав с того, что выражает удивление, как можно отрицать существование в английском языке формы будущего времени, в конце концов приходит к выводу, что концепция, согласно которой в английском языке существуют не три, а две временные формы — настоящее и прошедшее — «has much to recommend it» (B. I l y i s h, The structure of modern English, Moscow, 1965, стр. 95).

вать рассматриваемую форму как употребление формы императива в придаточном предложении [18].

На это можно было бы возразить, что рассматриваемые формы иногда (правда, довольно редко) встречаются в конструкциях, в которых нельзя усмотреть никакого значения волеизъявления, присущего императиву. Ср., например: «The expression „diplomatic language"... signifies the actual language (whether it *be* Latin, French or English) which is employed by diplomatists» (H. Nicolson); «If in this heart a hope *be* dear, that sound shall charm it forth again...» (G. Byron) и т. д. Однако следует иметь в виду, что употребление форм императива в предложениях такого рода вовсе не невозможно: в русском языке в конструкциях, подобных указанным английским, как раз употребляется форма императива, хотя и с несколько иной стилистической окраской; ср.: *Выражение «дипломатический язык» обозначает язык, используемый дипломатами, б у д ь то латынь, французский или английский*; *П р и д и он вовремя, ничего бы не случилось*, и т. п. Конечно, ссылка на русский язык не является доказательством применительно к английскому языку; мы только хотим показать, что существование конструкций такого рода не может служить достаточно убедительным аргументом против точки зрения, согласно которой рассматриваемые формы, чем бы они ни были по происхождению, в синхронном плане лучше всего трактовать как употребление императива в особых типах придаточных предложений. Само собой разумеется, как императив следует рассматривать и глагольную форму в таких предложениях, как, например, *Somebody b r i n g me a pen* и им подобных [19].

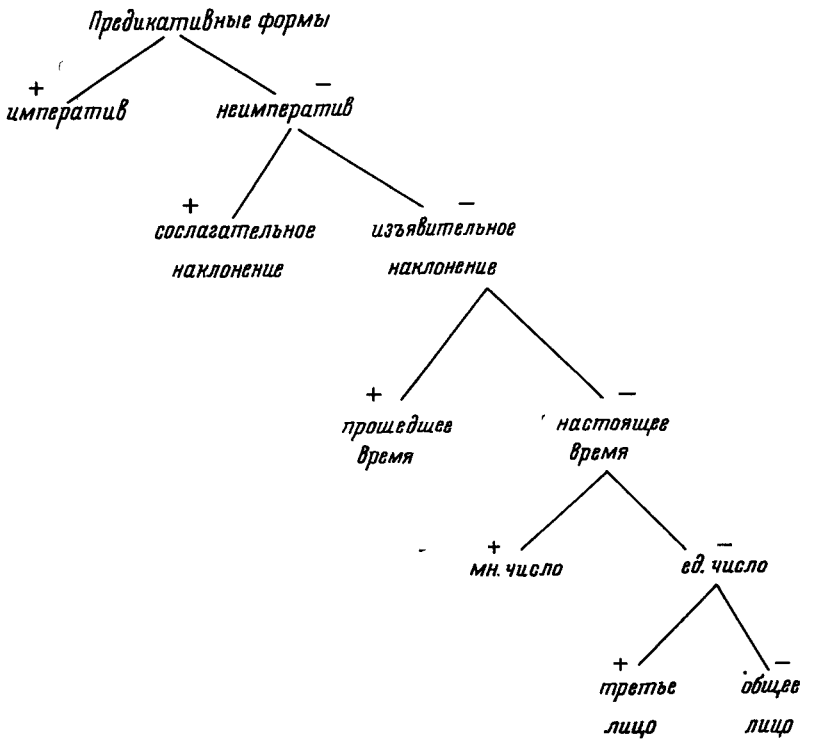
Подводя итоги всему сказанному выше, можно прийти к следующим выводам. В том смысле, в котором мы употребляем термин «симметрия», систему грамматических категорий английского глагола следует признать, в целом, симметричной, причем основой этой симметрии служит построение системы глагольных категорий на основе принципа бинарных оппозиций привативного характера («маркированная форма — немаркированная форма»). При этом выясняется тот любопытный факт, что в пределах предикативных форм английского глагола симметрия проявляется весьма своеобразно: бинарному членению по парадигматической оси подвергается только немаркированная (слабая) форма — неимператив, изъявительное наклонение, настоящее (непрошедшее) время, единственное число; форма же маркированная или сильная — императив, сослагательное наклонение, прошедшее время, мн. число — дальнейшему парадигматическому членению не поддается. Если изобразить это явление графически, то получится, стало быть, то, что можно назвать «односторонним разветвлением». Ср. схему, где + обозначает маркированную,— немаркированную форму (стр. 107).

Конечно, с точки зрения геометрической вряд ли можно назвать подобную систему симметричной (вообще привативная оппозиция сама по себе в геометрическом смысле, конечно, несимметрична); однако если понимать под симметрией, как это делаем мы, определенную р е г у л я р н о с т ь, п о в т о р я е м о с т ь общих принципов строения системы в ее отдельных частях или подсистемах, то в этом смысле симметрия здесь налицо. При этом следует также учитывать, что в этой в целом симметричной системе глагольных форм наблюдаются и отдельные элементы асимметрии, представляющие собой пережиточные явления, унаследованные от прежних этапов языкового развития — формы глагола {*be*}.

---

[18] См.: R. B. L o n g, The sentence and its parts, Chicago, 1961, стр. 76—79; W. F. T w a d d e l l, указ. соч., стр. 19.

[19] Ср.: А. И. С м и р н и ц к и й, указ. соч., стр. 346.



*

Переходя к рассмотрению системы грамматических категорий глагола в современном французском языке, следует прежде всего отметить, что анализ этой системы представляет определенные трудности в связи с целым рядом обстоятельств. Во-первых, влияние латинской грамматической традиции на французскую грамматику всегда было и до сих пор остается исключительно сильным, что не может не привести к искажению реальных отношений, существующих в системе французского языка, в угоду предвзятым латинизирующим схемам. Во-вторых, французский глагол характеризуется большим количеством форм, несвойственных разговорной речи и употребляемых исключительно в книжно-письменных стилях языка; между тем традиционная грамматика, как правило, не разграничивает и рассматривает на равных правах формы, принадлежащие различным «подъязыкам», т. е. различным стилистическим пластам языка, что сильно осложняет и запутывает дело. Наконец, анализ системы форм французского глагола во многом затрудняется консервативным характером французской орфографии, сохраняющей в написании многие «немые», т. е. фактически давно исчезнувшие глагольные аффиксы. Поэтому мы в нашем анализе будем исходить из необходимости придерживаться трех следующих принципов: 1) исходить из системы самого французского языка, а не из латинской схемы; 2) включать в сферу рассмотрения только формы, свойственные разговорному языку[20]; 3) основывать морфологический анализ на живом произношении, а не на традиционной орфографии. Если придерживаться этих принципов, то система категорий французского глагола может быть представлена следующим образом.

[20] См. об этом: A. Martinet, A functional view of language, Oxford, 1967, стр. 129.

Как и в английском языке, в системе французских глагольных форм следует прежде всего различать категории чисто морфологические, т. е. не связанные с синтаксическим функционированием глагольных форм, и категории синтаксические по существу, т. е. обусловленные употреблением глагольных форм в строе предложения. К числу первых во французском языке относятся:

1. Грамматическая категория залога. Эта категория представлена бинарной оппозицией двух категориальных форм: действительного залога (немаркированная форма) и страдательного залога (маркированная форма, выражаемая прерывистой морфемой {*être*} + {-*é*}).

2. Грамматическая категория временной отнесенности. Как и в английском языке, эта категория представлена бинарной оппозицией «неперфектные формы — перфектные формы». Неперфект в этой оппозиции является немаркированным членом; перфект же — член маркированный, выражаемый прерывистой морфемой {*avoir/être*} + {-*é*}, например *ai donné*, *avait donné*, *aurait donné*, *avoir donné*, *ayant donné*, *suis venu*, *étais venu*, *serait venu*, *être venu*, *étant venu* и т. д.

Что касается категорий, связанных с синтаксическим употреблением глагольных форм, то они строятся на следующих оппозициях:

1. «Непредикативные формы — предикативные формы». Это бинарное противопоставление, вслед за А. И. Смирницким, можно назвать «категорией репрезентации».

2. Только внутри предикативных форм выделяется особая грамматическая категория, построенная на бинарной оппозиции «субъюнктив (Subjonctif) — несубъюнктив». Для этой категории пока еще не существует общепринятого наименования [21]; основанием для такого противопоставления служит тот факт, что формы субъюнктива, в отличие от несубъюнктива (т. е. от все прочих предикативных глагольных форм), являются синтаксически связанными, т. е. их употребление ограничивается, в основном, сферой придаточного предложения, в то время как все прочие предикативные формы французского глагола обладают свободой синтаксического употребления и встречаются в равной мере как в простом, так и в сложном, как в главном, так и в придаточном предложении. Таким образом, основания для выделения данной грамматической категории в системе французского глагола примерно такие же, как и для выделения в английском языке бинарного противопоставления «императив — неимператив».

3. Только внутри несубъюнктива (т. е. слабой категориальной формы) выделяется бинарная оппозиция «изъявительное наклонение — потенциальное наклонение», образующая категорию наклония.

3а. Изъявительное наклонение включает в себя формы настоящего времени (présent [22]) и прошедшего времени (passé[23]); эти две формы образуют бинарную оппозицию, представляющую собой грамматическую категорию времени. Следует отметить, что форму présent точнее следовало бы именовать не «настоящим», а «непрошедшим» временем, ввиду немаркированного и слабого характера этой категориальной формы.

3б. Потенциальное наклонение также включает в себя две формы: форму, традиционно называемую формой «будущего времени» (futur), и форму

[21] К. Тогебю называет противопоставление «индикатив — субъюнктив» категорией наклонения (см.: K. Togeby, Structure immanente de la langue française, Copenhague, 1951, стр. 165). Мы предпочитаем, однако, сохранить термин «наклонение» для противопоставления «индикатив — потенциалис» (см. ниже). Впрочем это вопрос чисто терминологический.

[22] Т. е. présent, passé composé.

[23] Т. е. imparfait, plus-que-parfait.

так называемого «условного наклонения» (conditionnel). Для объединения этих двух форм в пределах одной грамматической категории существуют веские основания как формальные, так и семантические. С точки зрения морфемного строения обе эти формы характеризуются наличием общего формального признака — морфемы {-*r*-}. Уж этот факт сам по себе существен: как правильно заметил А. И. Смирницкий, «единообразие строения ..., т. е. о б щ е е в их строении, объективно толкает к нахождению общего в их значении, и отказаться от выяснения этого общего можно, как и в случаях омонимии, только при условии, если смысловые различия между отдельными формами явно и решительно препятствуют найти что-либо общее»[24]. В данном случае между формами «futur» и «conditionnel» как раз существует не только формальная, но и семантическая общность: обе формы обозначают действие, не реально происходящее или происшедшее, а лишь предполагаемое, потенциально возможное, намечаемое или воображаемое. Поэтому мы считаем возможным согласиться с теми исследователями, которые объединяют формы «futur» и «conditionnel» в одну категориальную форму, будь то на формальных[25] или на семантико-функциональных[26] основаниях.

4. Что касается противопоставления этих двух форм (традиционных «futur» и «conditionnel»), то оно тоже образует грамматическую категорию, для которой мы пока еще затрудняемся подыскать точное наименование. В целом противопоставление этих двух форм в пределах потенциального наклонения сходно с противопоставлением форм настоящего (непрошедшего) и прошедшего времени в пределах изъявительного наклонения, так что можно было бы назвать «futur» формой настоящего времени, а «conditionnel»— формой прошедшего времени потенциального наклонения. Однако полного сходства с формами индикатива здесь все же нет: личные окончания «futur» не совпадают с личными окончаниями настоящего времени индикатива, а семантическая разница между «futur» и «conditionnel» также не временная (вернее, не чисто временная, за исключением того случая, когда «conditionnel» употребляется в значении так называемого «futur dans la passé»). Поэтому вопрос о наименовании грамматической категории, образуемой бинарным противопоставлением «futur — conditionnel», остается открытым, но само наличие такого противопоставления представляется нам несомненным.

Что же касается так называемого «повелительного наклонения», то, как известно, формально оно во французском языке полностью совпадает с формой настоящего (непрошедшего) времени изъявительного наклонения, за исключением глаголов {*avoir*} и {*être*}, у которых эта форма полностью совпадает с формой субъюнктива. Что же касается семантической стороны, то значение побуждения к действию (волеизъявление) само по себе не противоречит ни значению непрошедшего времени (если помнить, что это не «настоящее» время, а просто немаркированная и слабая форма), ни, тем более, значению субъюнктива. Поэтому никакой особой категориальной формы французский императив не образует; как правильно указывает Дж. Трейгер, императив во французском языке — проблема не морфологии, а синтаксиса[27]. В определенном смысле, как мы видели, это справедли-

[24] А. И. С м и р н и ц к и й, указ. соч., стр. 300.

[25] См.: G. T r a g e r, French morphology: verb inflection, «Language», XXXI, 4, стр. 517.

[26] См.: K. T o g e b y, Les temps du français, «Lingua», IV, 4, стр. 382, где делается ссылка на работу: H. S t e n, Les temps du verbe fini en français moderne, Copenhague, 1952. Следует отметить, что с указанными работами Трейгера и Тогебю я ознакомился уже после того, как данная работа была в основном написана.

[27] G. T r a g e r, указ. соч., стр. 515; ср. также: K T o g e b y, Structure immanente de la langue française, стр. 165—166.

во и в отношении английского языка; однако в английском языке императив не всегда омонимичен форме непрошедшего времени (ср., например, *You are welcome — Be welcome*; *He goes there — I demand that he go there*; и т. д.). Поэтому мы считаем возможным в английском языке, в отличие от французского, говорить о существовании особой категориальной формы императива.

5. Категории числа и лица во французском языке, в отличие от английского, не ограничены лишь сферой «настоящего» («непрошедшего») времени, но проходят сквозь всю систему предикативных форм глагола. Однако ввиду весьма большой сложности морфологического строения этих форм французского глагола мы не подвергаем их здесь детальному рассмотрению, отсылая читателей к упомянутой выше работе Дж. Трейгера. Укажем только, что бинарный характер строения категории числа не подлежит сомнению; что же касается лица, то и здесь во французском языке, во всяком случае в разговорном его варианте, также отчетливо прослеживается тенденция к сведению форм лица к бинарным противопоставлениям. Так, в формах настоящего времени 1-е лицо мн. числа типа [nu dɔnõ] в разговорной речи вытесняется формой [õ dɔn] [28], в результате чего единственной ненулевой личной флексией в сфере настоящего времени остается [-e] в формах 2-го лица мн. числа: [vu dɔne]. Иначе говоря, в формах настоящего времени в разговорном французском языке существует всего лишь две категориальных формы: 2-е лицо мн. числа (флексия [-e]) и немаркированная форма «общего лица» (т. е. всех прочих). Иначе, но также на основе бинарного противопоставления построены личные формы «будущего времени» (futur): здесь в ед. числе противопоставляются 1-е лицо (флексия [-ɛ]) и общее, т. е. 2-е и 3-е лицо вместе (флексия [-a]); во мн. числе противопоставлены опять-таки всего две формы лица: 2-е лицо (флексия [-e] и общее, т. е. 1-е и 3-е лицо (флексия [-õ]). Итак, и здесь налицо тенденция к бинарности строения грамматической категории, хотя она и затуманивается многочисленными остатками архаических типов спряжения.

*

Подводя итоги нашему краткому обзору систем глагольных форм английского и французского языков, мы можем прийти к следующему общему выводу: в целом для грамматических систем и подсистем языка характерна симметричность строения в смысле определенной регулярности, повторяемости общих принципов этого строения в отдельных частях парадигматической системы. Конкретное свое проявление эта симметричность строения грамматических систем языка находит, в частности, в принципе бинарных привативных оппозиций, на которых строятся грамматические категории указанных языков. Однако эта общая симметричность в отдельных частях системы нарушается элементами асимметрии, которые представляют собой, как правило, пережиточные явления, унаследованные от предыдущих этапов развития данного языка (глагол {*be*} в английском языке, некоторые формы лица во французском); в определенных случаях, возможно, такими элементами асимметрии могут быть также явления новые, только еще нарождающиеся. Можно полагать, что тенденция к устранению элементов асимметрии и к восстановлению симметрии является одной из движущих сил языкового развития, т. е. что противоречие симметрии и асимметрии в языке есть одно из проявлений диалектического противоречия между синхронным и диахронным аспектами языка. Но здесь мы уже вступаем в область, лежащую вне пределов нашего исследования и заслуживающую особой разработки.

[28] См.: A. Martinet, указ. соч., стр. 129—131.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1966

В. Г. АДМОНИ

РАЗМЕР ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СЛОВОСОЧЕТАНИЯ КАК ЯВЛЕНИЕ СИНТАКСИЧЕСКОГО СТРОЯ

Понятие размера предложения знакомо филологам издавна. Весьма часто оно оказывалось необходимым для характеристики целых речевых жанров и литературных стилей или стиля отдельных писателей. Но лишь за последние годы началось более систематическое изучение размеров предложения — с точными подсчетами и количественными сопоставлениями.

Преобладающей целевой установкой является, однако, и теперь в первую очередь выяснение стилистических особенностей текстов, а наряду с этим некоторое значение получают тенденции к определению размера предложения как части общего стремления к статистическому охвату всех сторон языка.

Стилистические задачи ставил перед собой, в частности, Дж. Юл, работы которого ознаменовали начало новейшего этапа в изучении размера предложения. Для Юла установление размеров предложения было средством выявить такие постоянные признаки индивидуального стиля, которые могли бы оказаться решающими при определении спорного авторства литературных произведений: он пытался установить с помощью этого способа авторство знаменитых «Писем» Юниуса [1].

Чисто стилистический характер носят также изыскания Б. Хорачек, которая стремится установить варьирование размеров предложения в средневековой немецкой эпической поэзии в речи персонажей — в зависимости от характера персонажа — и т. д. [2].

В очень многих случаях стилистический и общестатистический подходы соединяются. Это имеет место, например, у Г. А. Лесскиса, исследовавшего огромный материал в разных жанрах русской литературы за много столетий ее существования [3]. Он специально останавливается также на различиях в размере предложения в зависимости от стилистического характера отрезков текста (рассказ, суммирующее описание и т. д.), а также на различиях в длине сложноподчиненного и простого предложения и т. д.

На материале немецкого языка со сходной установкой, но на значительно меньшем материале и, в основном, синхронно проведены исследования Х. Эггерса и В. Винтера [4]. В большей мере подчеркивает статистический

---

[1] G. U. Yule, On sentence-length as a statistical characteristics of style in prose: with application to two cases of disputed authorship, «Biometrica», XXX, 3—4, 1939.

[2] B. Horaček, Kunstprinzipien der Satzgestaltung. Studien zu einer inhaltbezogenen Syntax der deutschen Sprache, «[Sitzungsberichte der] Österreichischen Akademie der Wissenschaften», Philos.-hist. Klasse, 243, 5, Wien, 1964.

[3] Г. А. Лесскис, О размерах предложений в русской научной и художественной прозе 60-х годов XIX в., ВЯ, 1962, 2; его же, О зависимости между размером предложения и характером текста, ВЯ, 1963, 3; его же. О зависимости между размером предложения и его структурой в разных видах текста, ВЯ, 1964, 3.

[4] H. Eggers, Wandlungen im deutschen Satzbau, «Der Deutschunterricht», Stuttgart, 1961, 5; его же, Zur Syntax der deutschen Sprache der Gegenwart,

момент исследования как таковой Х. Майер, но и он все же вводит стилистическую дифференциацию текстов[5].

В диахронном плане, хотя и на довольно ограниченном отрезке времени (47 лет), рассматривает размер предложения в шведском языке на материале научно-популярных журнальных текстов («Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri», 1878—1924) С. Энгдаль[6]. Х. Эггерс — в довольно общем виде — сопоставляет немецкий язык современной научно-популярной литературы с языком конца XVIII — начала XIX в.

Сама система измерений протяженности предложения во всех названных работах довольно недифференцированная. Мерой размеров предложения у подавляющего большинства исследователей является здесь количество слов. Но сами слова берутся суммарно, без разбиения на разряды, без учета их длины и ритмического веса[7]. Совсем обходится молчанием соотношение разных синтаксических групп и конструкций внутри предложения. Обычно крайне суммарно трактуется и само предложение. Оно рассматривается — у всех исследователей, кроме В. Винтера,— как совокупность слов от точки до точки, хотя в ряде случаев даются указания и на соотношение между самостоятельными и сложными предложениями, главными и подчиненными предложениями и т. д. (особенно у Лесскиса).

Только у В. Винтера последовательно проводится измерение размеров «разделов предложения» (по английской терминологии «clause»), примерно соответствующих тому, что автором этих строк было обозначено как элементарное предложение[8]. Однако число таких «разделов предложения» В. Винтер устанавливает не путем подсчета реально существующих в тексте элементарных предложений, а путем подсчета числа спрягаемых форм глагола. Винтер полагает, что возможные несовпадения между числом «разделов предложения» и спрягаемых глагольных форм (с одной стороны, наличие ряда однородных спрягаемых форм глагола в одном элементарном предложении, с другой стороны, наличие безглагольных предложений) взаимно уравновешивают друг друга.

Основной вывод В. Винтера, полностью соответствующий, как он сам подчеркивает, интуитивным ожиданиям: «... для научной прозы характерны развернутые безглагольные конструкции, восприятие которых часто возможно только для читателя или во всяком случае для очень сосредоточенного слушателя; в обычной беседе вместо этого встречаются менее сложные конструкции, которые делают возможным незатрудненное понимание»[9].

По Х. Мейеру, средний размер предложения, исчисляемого от точки до точки, в современном немецком литературном языке равняется 22,1 слова, причем в философской литературе средний размер предложения повышается до 27,8 слова, а в беллетристике снижается до 19,3 слова[10]. По материалам Х. Эггерса наиболее часто (в немецкой научно-популярной литературе последних лет) встречается предложение, также исчисляемое от точки до точки, из 16 слов, а общее число предложений размером от 12 до 23

«Studium generale», Berlin — Heidelberg — Göttingen, 1, 1962; W. Winter, Relative Häufigkeit syntaktischer Erscheinungen als Mittel zur Abgrenzung von Stilarten, «Phonetica», 7, 4, 1961.

[5] H. Meier, Deutsche Sprachstatistik, I, Hildesheim, 1964.

[6] S. Engdahl, Studier i nusvensk sakprosa, några utvecklingslinier, Uppsala, 1962.

[7] Так же обстоит дело у Б. Хорачек, хотя она делает мерой измерения длины предложения не число слов, а количество стихотворных строк, занимаемых предложением.

[8] См.: В. Г. Адмони, Исторический синтаксис немецкого языка, М., 1963, стр. 17 и сл.

[9] W. Winter, указ. соч., стр. 207.

[10] См.: H. Meier, указ. соч., стр. 191.

слов составляет почти 40% всего материала. Однако более длинные предложения (размером свыше 30 слов) составляют также весьма значительную часть всего материала — 27%. Стилистических сопоставлений Эггерс не проводит, но сопоставляет (правда, почти декларативно) размер предложения в современной научно-популярной литературе и в литературе классической прозы, причем приходит к следующему выводу: «По крайней мере в тех языковых слоях, которые мы обследовали, современный немецкий язык пользуется более короткими предложениями, чем язык стопятидесятилетней давности»[11].

Этот факт — так же как и аналогичное наблюдение С. Энгдаля об уменьшении размеров предложения в шведской научно-популярной литературе — может быть истолкован двояко. Либо как проявление тех многочисленных стилистически обусловленных вариаций размеров предложений, о которых мы говорили выше, с той лишь разницей, что стилевое различие здесь проявляется не синхронно, а диахронно, в пределах одного функционально-тематического языкового стиля, но на разных этапах его существования. В таком случае данное развитие может быть объяснено как результат влияния тенденций одного стиля (а именно, обиходно-разговорного) на другой стиль (а именно, книжный). Либо этот факт может быть истолкован как изменение, обусловленное более внутренними языковыми причинами и затрагивающее само грамматическое строение предложения, его организацию. В таком случае при объяснении данного развития отнюдь нельзя просто ссылаться на перенос в область научно-популярной литературы определенных тенденций из стиля обиходно-разговорной речи, а надо говорить как о тех реальных причинах, которые повели к уменьшению размеров предложений в научно-популярной литературе, так и о тех формах, которые применяются для обеспечения такой перестройки предложения.

Нельзя, впрочем, забывать, что возможно и взаимодействие обоих этих факторов — стилистического и внутренне-языкового, т. е. что данный процесс может иметь — и чаще всего действительно имеет — своим содержанием одновременно и некий стилистический сдвиг, и некое внутреннее грамматическое развитие. Все же мы хотим остановиться более подробно в общем виде на вопросе о возможности не только стилистического, но и грамматического содержания в происходящих в языке изменениях в размере предложения.

Уже из самого факта устойчивых различий в размере предложения между разными языковыми стилями следует, что величина предложения регулируется целым рядом факторов, влияющих на психофизиологический механизм, который управляет человеческой речевой деятельностью. Этот механизм срабатывает по-разному в зависимости от той формы, в которой протекает речевая деятельность (форма устная или письменная, монологическая или диалогическая и т. д.), от тематического наполнения речи (тематика научная или бытовая и т. д.), от степени эмоциональной насыщенности речи, от особенностей стилистической установки говорящего и т. д. Конечно, какие-то исходные предпосылки и лимиты даны здесь в общих психофизиологических условиях мыслительной и речевой деятельности человека. В первую очередь для размера предложения важен объем и характер человеческой памяти. Но сам объем и характер памяти оказывается в известных пределах вариабельным под влиянием вышеотмеченных факторов, если они действуют устойчиво и интенсивно. В этом смысле даже понятия «короткое» и «длинное» предложение являются до некоторой степени относительными.

---

[11] H. Eggers, Zur Syntax...., стр. 53.

Еще более многообразным и сложным оказывается воздействие на размер предложения всех этих факторов, если рассматривать данное явление в широком историческом плане, причем влияние этих факторов часто проявляется не как отдельные эпизодические колебания, а как длительный, однонаправленный процесс. Возникновение новых сфер речевой коммуникации с новым тематическим наполнением может повести к выработке таких пластов языка, которые будут, как правило, тяготеть к тем или иным размерам предложения, отличающимся от прежде преобладавшего в данном языке среднего размера предложения. В очень многих языках такое явление имело место, например, в начале нового времени, когда возникал специфический «язык грамот» — язык канцелярской переписки, юридических и дипломатических актов и т. д. Само содержание этих документов, в которых те или иные события обычно должны были быть охарактеризованы в связи с множеством сопутствующих обстоятельств, с рядом оговорок и т. д., и необходимость четкого, не допускающего кривотолков изложения соответствующих фактов и решений властно требовали здесь увеличения размеров предложения, а сугубо письменная форма этих документов способствовала утверждению этой тенденции.

Аналогичное явление на определенных этапах развития во многих языках наблюдалось и при формировании ряда других сфер письменной речи — в частности языка науки, хотя здесь, естественно, были возможны более значительные колебания в размере предложения, вызываемые разного рода стилистическими причинами.

Однако само наличие таких устойчивых тенденций к увеличению объема предложения не могло не иметь определенного значения для развития грамматического строя соответствующего языка. Конечно, с абстрактной точки зрения даже резкое увеличение объема предложения само по себе необязательно влечет за собой какие-либо сдвиги в языковой структуре. Если в языке уже имеется система распространения основных (необходимых) членов предложения второстепенными членами и система сочинения и подчинения предложений, то теоретически можно безгранично раздвигать границы предложения, используя возможности этих систем без какого-либо их изменения. Недаром в свое время А. Мейе указывал, что возможности увеличения объема предложения поистине безграничны [12], имея в виду, в частности, строй древних индоевропейских языков и никак не оговаривая, что для такого значительного раздвижения границ предложения необходимы какие-нибудь структурные сдвиги в грамматическом строе. И действительно, например, к каждому существительному — основному члену предложения можно присоединить множество определений, к этим определениям еще определения и т. д. и т. п. Но это справедливо именно только с абстрактно-смысловой точки зрения. А с точки зрения конкретной организации предложения, если рассматривать предложение и весь грамматический строй как определенную систему построения [13], в которой властно проявляются такие требования, как требование «портативности» [14], нерассыпающегося структурного единства и четкой членимости, всякое значительное увеличение размеров предложения означает необходимость пересмотра ряда сторон грамматического строя, потому что те средства цементирования и выявления членения предложения, которые были вполне действенными при его прежнем небольшом размере, уже не обеспечивают нужных результатов при его новых габаритах.

---

[12] См.: А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М.— Л., 1938, стр. 359.

[13] См.: В. Г. Адмони, Язык как единство системы отношений и системы построения, ФН, 1963, 3.

[14] См.: В. Г. Адмони, Основы теории грамматики, М.— Л., 1964, стр. 62 и сл.

Тот пересмотр, который здесь происходит, протекает в период формирования национальных языков в каждом языке в специфических формах, определяемых в первую очередь особенностями грамматического строя данного языка. Под давлением увеличивающегося объема предложения могут развиваться конструкции разного рода и в различной степени. Правда, имеются и некоторые черты такого пересмотра, которые являются общими для многих языков, в частности, быстрое развитие сложноподчиненного предложения и оборотов с глагольными именами. Но ими дело не ограничивается.

Очень существенно, что перестройка синтаксической структуры для оформления нарастающего размера предложения может касаться как сложного предложения, так и предложения элементарного. Само увеличение объема предложения может происходить либо путем раздвижения границ элементарного предложения, либо путем увеличения числа компонентов сложного предложения, либо путем комбинирования обоих этих моментов. Все эти процессы необходимо тщательно дифференцировать, потому что при суммарной трактовке предложения как отрезка речи от точки до точки невозможно подойти к тем реальным грамматическим сдвигам, которые обеспечивают «портативность» предложений возросших размеров.

Эти вопросы ставятся здесь не абстрактно, как результат общих соображений, а на основе тех конкретных фактов и проблем истории языка, с которыми автор этих строк столкнулся, исследуя некоторые процессы в развитии грамматического строя немецкого языка. А именно, при изучении такого казалось бы частного вопроса, как развитие группы существительного в немецком языке, выяснилось, что в грамматическом строении этой группы ряд особенно существенных изменений происходит в некоторых жанрах немецкого литературного языка в те периоды, когда наблюдается общая тенденция к значительным сдвигам и в характере других компонентов элементарного предложения: совершается все более четкое размежевание группы существительного и группы глагола, все большее распространение получает полная рамка, развиваются инфинитивные конструкции «*haben* + *zu* + инфинитив», «*sein* + *zu* + инфинитив», создается оборот с абсолютным винительным и т. д. Все эти процессы, на первый взгляд совершенно различные, служат, однако, двум целям: с одной стороны, здесь создаются дополнительные формы выражения тех или иных смысловых отношений внутри элементарного предложения, с другой стороны, здесь усиливаются средства более четкого, монолитного структурного объединения элементарного предложения и его компонентов — особенно такого важнейшего компонента как группа существительного [15].

Хотя такое направление развития само по себе отнюдь не противоречит общим чертам строя немецкого языка и тенденциям его развития в более ранние эпохи, все же нельзя обойти вопрос, почему это направление стало так фронтально и так быстро расцветать именно в определенный период истории немецкого литературного языка (в XVII—XVIII вв.). Здесь нельзя ограничиться ссылкой на самодвижение языковой системы, развертывающей свои исходные закономерности, или на отдельные случайные факторы (например, на влияние французского языка при образовании абсолютного винительного). Конечно, и основные структурные закономерности немецкого грамматического строя, и отдельные языковые и внеязыковые факторы имели здесь весьма существенное значение, и если бы они были иными, все развитие могло бы принять другой характер. Но их ак-

[15] См.: В. Г. Адмони, Структура группы существительного в немецком языке, «Уч. зап. [1-го ЛГПИИЯ]», Новая серия, I, 1954; его же, Исторический синтаксис немецкого языка, стр. 24—25, 163, 198—200 и др.

туализация именно в данный период, а не в какое-нибудь иное время, и главное, как уже подчеркивалось выше, та фронтальность однонаправленных сдвигов, которые происходят в этот период, заставляют предположить, что в это время действовал и какой-то более общий и глубокий фактор, направлявший все развитие структуры предложения в данном направлении и приводивший в движение все другие соответствующие тенденции и факторы.

На основании предварительного ознакомления с общими путями развития немецкой синтаксической структуры в соответствующую эпоху автором этих строк в свое время было высказано предположение, что таким общим фактором является тенденция к увеличению размера элементарного предложения, т. е. к тому, чтобы систематически выражать в пределах элементарного предложения более развернутое и более сложное смысловое содержание, чем это имело место ранее, когда такое смысловое содержание — там, где это было нужно,— выражалось прежде всего с помощью развертывания сложноподчиненного предложения[16]. Дальнейшее изучение материала с подсчетами размеров элементарного предложения в отрезках из репрезентивных текстов XIV—XVIII вв.[17] подтвердило, что в XVII в. происходит существенное и фронтальное увеличение размеров элементарного предложения, а в XVIII в. высокий размер элементарного предложения сохраняется, между тем как размер цельного предложения выявляет тенденцию к сокращению[18].

В силу этого мы считаем возможным утверждать, что такие характерные явления строя современного немецкого литературного языка, как, например, специфическая структура группы существительного с сосредоточением согласующихся определений в препозиции, а несогласующихся определений и в постпозиции, с широко проведенной монофлексией, с широким использованием словосложения как синонима синтаксических групп и т. д., оформляется не без влияния того давления, которое оказывала (на все элементарное предложение в целом и на группу существительного, в частности) необходимость обеспечить четкую структурную цельность и членимость как всего увеличивающегося в своем объеме элементарного предложения, так и его частей. И соответствующий процесс отнюдь не полностью закончился в XVIII в. Его проявления (в частности, прогрессирующее развитие монофлексии и так называемого «общего падежа» или «монофлектива» в группе существительного, широкое распространение описательных оборотов с глагольными именами вместо полнозначных глаголов и т. д.) явственно выступают и в последующее время, особенно в наши годы, когда снова, по свидетельству ряда исследователей, в научной и научно-популярной литературе, а в какой-то мере и в ряде других жанров, возникает стремление к увеличению элементарного предложения за счет сложного предложения[19].

Именно эти тенденции в первую очередь обеспечивают, в частности, чрезвычайную устойчивость определительного родительного падежа в немецком литературном языке вопреки тому, что в немецких диалектах, а в значительной мере и в немецком обиходно-разговорном языке, все виды родительного падежа почти полностью вытеснены другими конструкциями. Поскольку родительный падеж является одним из важнейших средств

[16] См.: В. Г. Адмони, Структура группы существительного..., стр. 139 и сл.

[17] Этот анализ проводился нами по принципу «симптоматического» количественного анализа. См.: В. Г. Адмони, Основы теории грамматики, стр. 81.

[18] Соответствующие материалы приводятся в нашей монографии «Развитие структуры предложения в период формирования немецкого литературного языка» (в печати).

[19] См.: H. Moser, Entwicklungstendenzen des heutigen Deutsch, «Der Deutschunterricht», 2, Stuttgart, 1954; В. Г. Адмони, Исторический синтаксис, стр. 232 и сл.

расширения группы существительного и обеспечения синонимического многообразия зависимых компонентов группы, а так как расширение группы существительных является одним из важнейших средств увеличения размеров предложения, этот падеж, естественно, сохраняет в немецком литературном языке свою жизненность[20].

Конечно, все эти факты специфичны для немецкого языка. Происходили ли и происходят ли хоть сколько-нибудь аналогичные процессы в других языках,— это проблема, которая может быть выяснена лишь путем конкретных исследований, полностью учитывающих всю конкретную специфику строя и исторического развития соответствующих языков. Но все же уже на основании вышеприведенных данных, касающихся строя немецкого языка, можно утверждать, что развитие объема предложения способно воздействовать на те или иные явления грамматического строя, т. е. выступает как один из факторов его развития.

А из этого следует, что проблема размера предложения, а в соответствии с этим и проблема размера компонентов предложения, есть проблема непосредственно грамматическая, разработка которой должна явиться обязательной составной частью грамматических исследований — во всяком случае по отношению к некоторым языкам. Из всего вышесказанного также следует, что изучение размера предложения должно вестись дифференцированно, с учетом размеров как цельного, так и элементарного предложения, а также разных типов цельного предложения и тех словосочетаний, которые входят в состав элементарного предложения.

Разработка этой проблематики важна не только для выяснения ряда вопросов исторического развития строя языка. И внутри синхронной системы грамматического строя определение размеров предложения и словосочетания позволяет уяснить ряд характерных черт в функционировании грамматических синтаксических единиц: соотношение между ними с точки зрения их удельного веса в речи, преобладающие тенденции в реализации тех потенциальных возможностей развертывания конструкции, которые в них заложены.

Так, группа существительного способна обладать неограниченными размерами, поскольку чрезвычайно велики сочетательные возможности самого существительного — ядра группы, а определения к существительному в свою очередь сами могут обрастать зависимыми компонентами, которые опять-таки могут получать зависимые компоненты и т. д. Но на каждом этапе языкового развития существуют определенные тенденции, лимитирующие использование этих возможностей, причем эти тенденции, естественно, варьируются в зависимости от ряда факторов: прежде всего от стиля и тематического характера речевого отрезка, а также от грамматической функции существительного.

Так, Л. Н. Иноземцев в своем исследовании, посвященном группе существительного в современном немецком литературном языке, показал, что есть определенные различия в размерах группы существительного не только между разными функционально-тематическими стилями, но и между группами существительного, стоящими в разных падежах и выполняющими различные грамматические функции[21]. Эти данные значительно

---

[20] См.: W. G. Admoni, Die umstrittenen Gebilde der deutschen Sprache von Heute, I, «Muttersprache», 6, 1962.

[21] Л. Н. Иноземцев, Емкость группы существительного как функция от сферы употребления речи (на материале современного немецкого языка), «Уч. зап. [Горьковск. гос. пед. ин-та им. М. Горького]», 65, 1965; его же, Емкость группы существительного в зависимости от падежного значения (на материале современного немецкого языка), там же.

обогащают и уточняют наши представления о реальном употреблении групп существительного в немецком языке.

Таким образом, изучение размеров предложения и словосочетания оказывается необходимым для того, чтобы уточнить и конкретизировать наши представления о реальном употреблении предложения и словосочетания в соответствующих языках, чтобы определить ту меру, с какой они используют имеющиеся у них потенциальные возможности распространения. На этом пути грамматический анализ должен, естественно, учитывать роль и других, в частности стилистических, факторов, но от этого данная проблема не перестает быть грамматической, поскольку и при анализе почти всех других количественных грамматических проблем необходимо широко учитывать стилистические факторы.

Установление размеров предложения и словосочетания принадлежит к самым трудоемким работам в сфере грамматических исследований. Особенно трудоемкими они становятся в связи с тем, что максимально плодотворными они оказываются при условии значительной дифференцированности анализа, т. е. когда предложение измеряется не просто количеством входящих в него слов, а дробно, с учетом различных грамматических разрядов слов и т. д. Поэтому здесь — в применении к тем языкам, разработка строя которых подвела в настоящее время к необходимости обращения к размерам предложения и словосочетания — желательна целая сеть координированных друг с другом работ, которые начали бы с разных сторон и в разных аспектах, взаимодополняя и поддерживая друг друга, систематическое изучение этой существенной грамматической проблемы.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1966

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Т. В. Гамкрелидзе, Г. И. Мачавариани. **Система сонантов и аблаут в картвельских языках,** под ред. и с предисл. Г. В. Церетели. — Тбилиси, Изд-во «Мецниереба», 1965. 057+512 стр. [на груз. яз.; резюме на русск. яз.: стр. 381—473]

В истории развития науки известны ситуации, когда после многолетней монополии укоренившейся системы взглядов, прогресс которой уже в течение длительного времени сводился исключительно к уточнению ранее сформулированных положений, наступает момент оформления новой, принципиально отличной от прежней точки зрения, создающей последней серьезную конкуренцию. Ярким свидетельством такой своего рода критической ситуации, сложившейся в последние годы в сравнительно-исторической грамматике картвельских языков, является фундаментальное исследование Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани, подготовленное результатами работ нового направления в отечественной картвелистике и оригинально трактующее целый ряд узловых проблем истории картвельских языков.

Рецензируемая книга принадлежит к числу тех важных для любой отрасли языкознания работ, которые ставят своей задачей рассмотрение ранее известных фактов под новым углом зрения. Анализируемый в книге фактический материал картвельских языков был известен и раньше (некоторое, но отнюдь не играющее принципиальной роли исключение могут составлять отдельные данные относительно менее изученного сванского языка). В рассмотрении этого материала авторы монографии имели ряд предшественников. Так, например, явление аблаута, впервые зафиксированное А. Г. Шанидзе в грузинском языке еще в 1924 г., в дальнейшем на материале различных картвельских языков исследовалось Г. Деетерсом, В. Т. Топуриа, Х. Фугтом, Г. С. Ахвледиани, Т. Е. Гудава и другими. В диахроническом плане оно обычно трактовалось как вторичное, параллельно сформировавшееся лишь в ходе самостоятельного развития отдельных языков. И хотя факт типологического и материального параллелизма ряда соответствующих явлений должен был наводить на мысль о его возможной праязыковой детерминированности, решающий в этом отношении шаг был сделан только в 1959 г., когда Т. В. Гамкрелидзе в ходе изучения соответствий сибилянтных спирантов и аффрикат в картвельских языках впервые выдвинул идею о наличии системы аблаута (а также сонантических фонем) уже в общекартвельском языке-основе.

Пожалуй, наиболее принципиальным отличием строящихся в рецензируемой работе общекартвельских фонологической и морфонологической моделей от все еще преобладающей в картвелистике концепции следует считать стремление объяснить пути исторического развития отдельных картвельских языков за счет внутренних закономерностей их развития, потенциально заложенных еще в общекартвельской языковой системе, а не путем более или менее систематического обращения к таким факторам внешнего порядка, какими являются языковая (и диалектная) аккомодация, интерференция и субстрат. В этом отношении во многом определяющую результаты всей работы роль сыграл взгляд авторов на сванский язык как полноправный ингредиент картвельской языковой общности в отличие от господствовавшей в традиционной картвелистике точки зрения на сванский как некоторый агрегат, сложенный из ряда гетерогенных напластований как картвельского, так и абхазско-адыгского происхождения (согласно крайней точке зрения, сванский даже представлялся картвелизованным севернокавказским языком [1]). Такая переоценка ценностей по существу равносильна введению в орбиту исследования фактического материала нового качества. Если учесть, что очень широко практикуемым приемом авторов является подтверждение глубоких внут-

[1] Ср.: G. Schmidt, Über Aufgaben und Methoden der Kaukasologie, «Studia orientalia», XVII, 4, 1952, стр. 10.

ренних реконструкций в пределах грузинско-занского материала архаическими фактами сванского языка (ср., например, реконструкцию для общекартвельского состояния долгих гласных на стр. 240—250, восстановление на стр. 227—230 общекартвельского суффикса тематического аориста *-ej* и т. п.), то нетрудно увидеть важность этой предпосылки для всего исследования. Среди других предпосылок работы необходимо признать принятие авторами приобретающей, по-видимому, все большую популярность среди картвелистов схемы известного немецкого кавказоведа Г. Деетерса, которая моделирует генеральную линию процесса дифференциации картвельских языков и согласно которой сванский язык должен был отпочковаться задолго до взаимного обособления грузинского и занского (см. стр. 5—17)[2]. В настоящее время едва ли можно сомневаться в том, что именно эта схема, опирающаяся на установление многочисленных морфологических и, что особенно важно, лексических инноваций, разделяемых грузинским и занским языками, призвана заменить господствовавшую в картвелистике генеалогическую схему, основанную на некоторых фонетических явлениях (особенно большое значение в этом отношении придавалось обычно разграничению картвельских языков на «свистящую» и «шипящую» группы, основанному на факте соответствия одного ряда грузинских свистящих спирантов и аффрикат занским и сванским шипящим). В этом отношении современная картвелистика становится на путь, уже продемонстрированный развитием сравнительно-исторической грамматики индоевропейских и некоторых других языков. Еще один исходный постулат авторов составляет реконструкция для общекартвельского консонантизма трех рядов сибилянтных спирантов и аффрикат, предпринятая несколько ранее Г. И. Мачавариани и вполне удовлетворительно объясняющая двоякие занские и сванские соответствия грузинским свистящим согласным[3] (в данной рецензии едва ли целесообразно останавливаться на многочисленных линиях преемственной связи, связывающих работу авторов с предшествующей отечественной традицией в области картвелистики).

Работа ставит перед собой цель построения и анализа фонологической и морфологической моделей общекартвельского языкового состояния, а также описания в хронологической последовательности тех трансформаций, которые привели к перестройке исходного состояния в структуры исторически засвидетельствованных картвельских языков. Книга состоит из двух основных частей: «Система сонантов в картвельских языках» (стр. 21—171) и «Аблаут в картвельских языках» (стр. 173—379), органически связанных идеей о последовательно выдержанной фонологической структуре общекартвельского корня, а также пространного русского резюме (стр. 383—474). Исследование непосредственным образом затрагивает очень широкую совокупность проблем сравнительной грамматики картвельских языков. Основные итоги исследования сводятся к постулации резко отличного от традиционно предполагаемого инвентаря общекартвельского вокализма (в составе фонем: *a*, *e*, *o*, *ā*, *ē* и *ō*), особой подсистемы сонантических фонем (*l*, *r*, *m*, *n*, *j* и *w*), обладавших как слоговыми, так и неслоговыми аллофонами, а также к реконструкции строгой системы морфонологических чередований общекартвельского аблаута. Выявляются четыре ступени огласовки корня: полная, нулевая, ступень редукции, а также продленная ступень. В заключительном разделе работы авторы констатируют далеко идущий типологический параллелизм между моделью общекартвельского языка-основы в наиболее поздний период его существования и поздней общеиндоевропейской моделью[4].

Сонантические фонемы /*w/ и /*j/ авторами восстанавливаются для общекартвельского состояния на основании структурного анализа распределения в тексте звукотипов [u] и [w], [i] и [j] в современных картвельских языках и в древнегрузинском, а также внутренней реконструкции древнейших дистрибутивных отношений членов каждой рассматриваемой пары. К постулации общекартвельских сонантов /*l/, /*r/, /*m/ и /*n/ Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани приходят на базе анализа соответствующих фонемных корреспонденций и сравнительной реконструкции исходных для них архетипов. Если реконструкция общекартвельских кратких гласных фонем /*a/, /*o/ и /*e/ (и только отчасти — долгой гласной /*ō/) опирается на рассмотрение звукосоответствий в области вокализма, то констатация для языка-основы долгих /*ā/, /*ō/ и /*ē/ является в работе по преимуществу итогом реконструкции особой так называемой «ступени растяжения» для целого класса общекартвельских глагольных корней. Наконец, строгая система праязыковых

[2] См.: G. Deeters, Das kharthwelische Verbum, Leipzig, 1930, стр. 2—3.

[3] См.: Г. И. Мачавариани, О трех рядах сибилянтных спирантов и аффрикат в картвельских языках, М., 1960 («XXV Международный конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР»); его же, Общекартвельская консонантная система, Тбилиси, 1965 (на груз. яз.).

[4] Ср. также: Г. И. Мачавариани, К типологической характеристике общекартвельского языка-основы, ВЯ, 1966, 1, стр. 3—9.

апофонических чередований выводится на основании сравнительно-исторической реконструкции их трансформаций, представленных в исторически засвидетельствованных картвельских языках и, особенно, в грузинском (в частности, в древнегрузинском литературном), по мнению авторов, наиболее полным образом отражающем исконные аблаутные отношения.

Рецензент в целом разделяет излагаемую авторами книги концепцию сравнительной грамматики картвельских языков, что уже нашло свое отражение в его этимологическом словаре, тесный идейный контакт которого с рассматриваемой монографией должен быть достаточно очевидным: ср., например, определение общекартвельского языка-основы, принятие схемы дифференциации картвельских языков Г. Деетерса, оценка лингвистической позиции сванского языка, представление о фонологической структуре общекартвельских корней, соотнесение системы сонантов и апофонических чередований гласных с праязыковым состоянием[5]. Новые модели, построенные авторами для фонологической и морфологической систем общекартвельского языка-основы, трактуют совокупность анализируемых фактов более адекватным образом, чем это делалось в разновидностях традиционной концепции. С точки зрения оценки объяснительной силы этих моделей очень существенным представляется то обстоятельство, что вместо некоторой совокупности гетерогенных объяснений, характерной для традиционной картвелистики (к тому же среди последних, как известно, важная роль отводилась ссылкам на различные факторы языкового взаимодействия, указаниям на спорадический характер закономерностей исторического развития картвельских языков и даже аппеляции к фактам абхазско-адыгских и нахско-дагестанских языков, генетические связи которых с картвельскими остаются более или менее гипотетичными), авторам рецензируемой монографии удалось предложить совокупность объяснений, выдержанную в терминах структурно единого построения — теории фонологического строения общекартвельского корня.

Значение разработанной авторами концепции общекартвельского аблаута несомненно выходит за рамки сравнительно-исторической грамматики картвельских языков. С одной стороны, следует указать на то обстоятельство, что она вскрывает еще одну интересную и, повидимому, достаточно древнюю структурно-типологическую черту, объединяющую картвельские языки с абхазско-адыгскими и, возможно, с нахско-дагестанскими языками[6]. В то же время она будет стимулировать дальнейший интерес к картвельскому языковому материалу со стороны заметно активизировавшихся в последний период ностратических штудий. Впрочем, авторы совершенно справедливо признают на стр. 366, что предпринимаемая ими в заключительной части исследования внутренняя реконструкция самого общекартвельского состояния имеет крайне гипотетический характер. Поэтому по крайней мере на современном уровне наших знаний более достоверный характер носит осуществляемое по целому ряду аналогичных признаков (состояние очень близкое к моновокализму при богатстве согласных, наличие трех рядов «гуттуральных», а также серии фарингальных фонем, комбинаторика образования долгих гласных, становление элементарного качественного аблаута) сопоставление общеиндоевропейской системы определенного периода и модели общеабхазскоадыгской системы, тесную связь с которой структура абхазско-адыгских языков сохраняет по сей день.

Вместе с изложением специально разработанной авторами концепции в работе

[5] Словарь, впрочем, не мог опираться на сколько-нибудь законченные результаты исследования, которое тогда еще только осуществлялось Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани, и в своих реконструкциях фонологического облика древнекартвельских лексем отражает авторскую интерпретацию ряда их идей; отдельные вопросы, и среди них проблема долгих гласных в общекартвельском, оставлены в словаре открытыми (см.: Г. А. Климов, Этимологический словарь картвельских языков, М., 1964, стр. 16—24; ср. также: Г. А. Климов, Опыт реконструкции фонемного состава общекартвельского языка-основы, ИАН ОЛЯ, 1960, 1).

[6] В адыгских языках явление качественного аблаута было отмечено Н. Ф. Яковлевым (см., например: Н. Яковлев, Д. Ашхамаф, Грамматика адыгейского литературного языка, М.— Л., 1941, стр. 325—326). Наличие отдельных фактов аналогичного порядка в абхазском (см.: A. H. Kuipers, The North-West Caucasian languages, «Analecta Slavica», Amsterdam, 1955, стр. 199) позволяет предполагать значительную древность этого явления в абхазско-адыгских языках. Об апофонических чередованиях гласных в нахско-дагестанской языковой группе см.: Н. Ф. Яковлев, Морфология чеченского литературного языка, [Грозный], 1960, стр. 5—10 (Труды [Чечено-ингушского НИИ истории, языка и литературы]», т. I); Ю. Д. Дешериев, Сравнительно-историческая грамматика нахских языков и проблемы происхождения и исторического развития горских кавказских народов, [Грозный], 1963, стр. 347 и сл.

предлагается решение целого ряда вопросов общекартвельской фонологии, морфологии и лексикологии, снискавших себе репутацию трудных проблем. Наиболее интересным в этом отношении оказывается здесь рассмотрение вопросов звукосоответствий между картвельскими языками, а также органически связанной с ними этимологической проблематики. Так, обращает на себя внимание попытка на стр. 81—83 постулировать для фонетической корреспонденции груз. *l* ~ занск. *r* ~ сван. *š* в ауслауте именных основ (ср. груз. *asul-* ~ занск. *osur-*~ сван. *asuš-* «дочь») исходный неслоговой аллофон сонанта **l* в отличие от случаев соответствия груз. *l* ~ занск. *r* ~ сван. *w* > 0 (ср. груз. *wašl-* ~ занск. *uškur-* ~ сван. *usgw* «яблоко», для ауслаута которых авторами восстанавливается его слоговой аллофон **ł* : ср. реконструкцию основы **wašł-* «яблоко»). На стр. 132—140 содержится интересный опыт идентификации протофонемы $*s_1$, исторически стоящей как за соотношением груз. *s* ~ занск. *š* ~ сван. *š*, так и за находящимся с ним в отношении дополнительной дистрибуции соответствием груз. *s* ~ занск. 0 (ноль звука) ~ сван. *l*, которое зафиксировано, в частности, в рефлексах общекартвельских префиксов $*s_1a$- и $*s_1i$-, и вследствие чего известный в картвелистике тезис о распределении в картвельских языках так называемого «слоя *S*» приобретает новую историческую интерпретацию[7]. Следует отметить, что последнее решение является одной из ярких иллюстраций полностью оправданного, на наш взгляд, стремления Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани искать регулярные фонетические корреспонденции там, где до последнего времени усматривали отношения только морфологической эквивалентности: целесообразность такого стремления обусловливается тем, что оно дает возможность проецировать в общекартвельское состояние целый ряд элементов, признававшихся большинством картвелистов историческими экспонентами грамматических классов или суффиксами-детерминантами основ (его другой не менее характерной иллюстрацией является трактовка авторами соотношения груз. *-el* ~ занск. *-u* в исходе именных основ на стр. 90—93).

Многочисленные конкретные реконструкции, выполненные в работе, приводят на стр. 303—307 к констатации значительной вариативности фонологической структуры общекартвельского глагольного и именного корня (типы *CVC*, *CCVC*, *CVCC* и некот. др.). Объективная ценность этой точки зрения для дальнейшего исследования становится особенно очевидной, если учитывать, что ни ориентированная на гипотезу картвельско-семитского языкового родства концепция трехсогласности («трехбухвенности») картвельского корня, выдвинутая в свое время Н. Я. Марром[8], ни по сей день преобладающая в современной картвелистике теория его односогласности не объясняют огромного числа исключений, возникающих при принятии той или другой.

Нельзя не отметить значительный удельный вес этимологической проблематики в работе, вполне закономерный в исследованиях аналогичного плана. Нетрудно видеть, что констатация авторами конкретных типов апофонических чередований в общекартвельском дает возможность, с одной стороны, расширить круг сопоставлений за счет вовлечения в поле зрения нового материала, а с другой стороны — более строгим образом обосновать целый ряд лексических соположений, выдвинутых предшествовавшим исследованием в качестве проблематических. В последнем отношении радует то обстоятельство, что Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани, повторяя судя по всему независимо от рецензента несколько десятков словарных сопоставлений, предложенных в его этимологическом словаре, сообщают последним большую достоверность (среди последних см. груз. *perq-* «нога» ~ сван. *bärq* «шаг» на стр. 129; груз. *mqw-* «опрокидывать» ~ сван. *nqw-* «валить» там же; груз. *ǯwar-* «крест» ~ занск. *zgunǯ-*«кол» на стр. 289). В некоторых случаях авторы вносят свои уточнения в ранее дававшиеся реконструкции архетипов (ср., например, $*me\text{-}ç_1rx\text{-}al$- «ласточка» на стр. 97; $*ǯ_1mar$- «уксус» на стр. 120, $*rwa$-/rua-«восемь» на стр. 124, $*c_1xōwn$- «спасать» на стр. 420 и мн. др.). Вместе с тем в работе приводится и целый ряд новых лексических соположений, которые почти полностью должны быть приняты [ср., например, груз. *brge-* «рослый, статный» ~ сван. *bəgi* «крепкий» на стр. 99; груз. *plet-* «драть» ~ сван. *pet-*/*pt-* «трепать (шерсть)» на стр. 200; груз. *cwal-*/*cwl-* ~ сван. *cād* «менять» на стр. 250; груз.-занск. *çon-* «нравиться» ~ сван. *çw-en-* «казаться» на стр. 251; груз. *grexil-* ~ занск. *giroxil-* «скрученный» на стр. 271]. Нет сомнения, что постулированные авторами общекартвельские морфонологические чередования будут и впредь направлять этимологические поиски картвелистов.

---

[7] См.: В. Т. Топурия, К вопросу о слоях *N* и *S* в картвельских языках, «Сообщения АН Груз. ССР», II, 1—2, 1941, стр. 193—194; А. С. Чикобава, Древнейшая структура именных основ в картвельских языках, Тбилиси, 1942, стр. 247.

[8] См.: Н. Марр, Основные таблицы к грамматике древнегрузинского языка с предварительным сообщением о родстве грузинского языка с семитическими, СПб., 1908, стр. 2.

Рецензируемая монография отражает такие весьма характерные черты современного сравнительно-исторического языкознания, как его тесная связь с типологическими исследованиями (ср. подзаголовок труда — «Типология общекартвельской структуры»), постоянное внимание к вопросам хронологизации реконструируемых явлений, систематическое сочетание методик внешней и внутренней реконструкции.

Следует отметить высокий методологический уровень рецензируемого труда. Среди части картвелистов, по-видимому, до последнего времени существует убеждение в том, что в ходе сравнительно-исторического исследования они приходят к самой онтологической реальности праязыка (в частности, реконструкциям Н. Я. Марра даже адресовались упреки в том, что они являются «предположениями под астериском», а не фактами). Авторы же работы отчетливо осознают, что постулируемая ими общекартвельская языковая система не относится к числу фактов, а «является некоторым структурно-теоретическим построением, гипотетической моделью, отражающей в первом приближении некогда существовавшую в пространстве и времени языковую систему, постулируемую на основании сопоставления реально засвидетельствованных языков» (стр. 4, 384). С другой стороны, необходимо подчеркнуть значительный удельный вес дедуктивного элемента в труде, особенно дающего себя знать во второй его части, которая посвящена общекартвельским аблаутным чередованиям и в которой на фактическом материале картвельских языков верифицируются некоторые гипотезы, выдвинутые в свое время в более продвинутых отраслях компаративистики.

Еще одно существенное качество монографии Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани состоит в том, что она представляет очень важный, однако все еще недостаточно распространенный у нас жанр лингвистических исследований, на практике верифицирующих действенность структурных методов исследования в области сравнительно-исторического изучения языков (следует отметить, что такая методическая направленность придана работе вполне сознательно). Исходным пунктом в трактовке почти всех рассматриваемых в работе вопросов, например в реконструкции подсистемы сонантов, реконструкции древних апофонических чередований, является детальное изучение распределения рефлексов прослеживаемых величин по языкам. Хотя в общетеоретическом плане дистрибуционные процедуры, как известно, не гарантируют постоянной адекватности лингвистического решения[9], авторами монографии убедительно показана практическая эффективность методики дистрибутивного анализа как своего рода сокращения пути в компаративистике.

Думается, что достаточно очевидные достоинства рецензируемой монографии делают ее одним из лучших достижений нашего сравнительно-исторического языкознания последних лет.

Рецензируемая монография, как и каждое действительно выдающееся исследование, посвященное широкому кругу проблем, наводит на целый ряд мыслей, вызывает новые вопросы, различного рода уточнения, дополнения и, конечно, замечания.

Наиболее дискуссионным выводом работы представляется постулация авторами для целого класса общекартвельских глагольных корней особой продленной ступени, называемой авторами «ступенью растяжения» (см. стр. 240—255). Гипотеза относительно последней выдвигается здесь для того, чтобы объяснить нарушение принципа моновокализма, сформулированного Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани на основе всего предшествующего рассмотрения, двуморфемными образованиями тематического аориста типа (*w*)-*çer-e* «(я) нацарапал», наличными вместо ожидающихся в соответствии с принципом моновокализма форм типа (*w*)-*çr-e*. Думается, что авторы находятся на правильном пути, восстанавливая во всех рассматриваемых в этой связи конкретных случаях долготу корневого гласного (например, **w-çēr-e*): подобная реконструкция подтверждается фактами сванского языка, где трактуемым в разделе корням отвечают корни с долгим вокализмом (ср. сван. *bēl-* «дуть; раздувать», *šḳād-* «ковать», *žoγwān-* «брать с собой», *lōḳ-* «лизать» и др.). Вместе с тем в большей мере вероятным кажется предположение, что долгота гласного в рассматриваемых основах является фактом чисто фонологического порядка, т. е. составляет неотъемлемое качество этих основ. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в двух сванских диалектах, по сей день сохраняющих противопоставление гласных фонем по долготе — верхнебальском и лашхском — не видно каких-либо следов чередования нормальной и продленной ступеней огласовки (в частности, их не обнаруживает А. Л. Ониани, специально рассматривающий случаи колебания долгих и кратких гласных в отдельных сванских основах[10]). В то же время в этих диалектах существует также обширный класс именных и прочих основ, характеризующихся по-

[9] См. об этом, например: Н. Хомский, Логические основы лингвистической теории, «Новое в лингвистике», IV, М., 1965, стр. 548—551.

[10] См.: А. Л. Ониани, К вопросу о долгих гласных в сванском языке, «Иберийско-кавказское языкознание», XIII, Тбилиси, 1962, стр. 210—212.

стоянным и комбинаторно необусловленным долгим гласным: ср. *bārq* «шаг», *dīna* «девочка», *γumūr* «ель», *txēre* «волк», *sḳōdi* «глубокий», *pēdias* «близко» и мн. др. (интересен в этой связи и вывод авторов о том, что в общекартвельских именных морфемах продленную ступень огласовки реконструировать не удается). Таким образом, предлагаемая в работе реконструкция особой продленной ступени огласовки для общекартвельского глагольного корня нуждается, на наш взгляд, в дополнительной аргументации. В этих условиях рассмотрение самой по себе вполне корректной гипотезы о наличии количественных противопоставлений гласных на праязыковом уровне (об ее адекватности свидетельствуют как некоторые межъязыковые звукосоответствия, так и нарушения принципа моновокализма и наличие исконных долгот в сванском) композиционно более оправданным было бы в главе, посвященной вопросам реконструкции общекартвельского вокализма.

Авторы, несомненно, могли бы привести дополнительный материал для аргументации и тех положений, которые не вызывают особых сомнений. Так, в частности, при рассмотрении на стр. 75, 78—81 (и 403—406) процесса вокализации древнего сонанта *ḷ в исходе занских именных основ, они почему-то не приводят его более архаичного рефлекса в мегрельских говорах в виде *ər* (ср. зугдидско-самурзаканские *dačxər-* «огонь», *zisxər-* «кровь», *ladər-* «сырой, свежий», *inčər-* «бузина» и др.) с еще непроясненным сверхкратким вокализмом, и таким образом, более близкого к восстанавливаемому прототипу (в то же время точка зрения, отстаивающая исконность гласных последнего слога рассматриваемых занских основ, вынуждена в некоторых случаях допускать более сложные преобразования последних: ср. *dačxur-* > *dačxər-* > *dačxir-* [11].

Трудно согласиться с отдельными материальными соположениями авторов. Так, хевсурское диалектное *kaw-* «род высокой ограды» скорее всего отражает широкую культурную изоглоссу, охватывающую многие горские кавказские языки, и в конечном свете восходит к адыгскому *kăw/čăw* «плетень, ограда» [12] и едва ли имеет отношение к картвельскому *kwa-* «камень» (см. стр. 44—45). Трудно принять сближение груз. *wir-* «осел» ~ сван. *wil-* «мул» (стр. 85), поскольку сама реалия едва ли может уходить в протокартвельскую древность (кроме того, есть основания усматривать для основы иранский источник: ср. предполагаемое раннесреднеперс. *wīr-* «осел»). Сомнительна также этимологическая связь груз. *qel-* «рука» с мегр. *xu-* «пригоршня» (стр. 89). Можно указать и на некоторые другие проблематические сближения или реконструкции архетипов (так, на стр. 82 вопреки излагаемой трактовке рефлексов слогового *ḷ и неслогового *l в ауслауте общекартвельских основ, а также сванским формам *gu*, *gwi* «сердце», авторы восстанавливают соответствующую протолексему в виде **gul-* «сердце»: между тем трудности, которые при этом приходится преодолевать авторам, снимаются, если реконструировать, по крайней мере для некоторого диалектного ареала праязыка, архетип **gu-*).

Перечисляя на стр. 244 своих предшественников, предполагавших наличие количественных противопоставлений гласных еще для общекартвельского состояния, Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани упускают из вида Н. Я. Марра, впервые выдвинувшего эту мысль в картвелистике [13].

В работе встречаются отдельные терминологические неточности. Одним из наиболее досадных упущений этого рода является неоднократное повторение такого примера contradictio in adjecto как «реконструкция модели» (ср., например, стр. 4, 145, 368, 384), иногда встречающегося и в некоторых других работах по сравнительно-историческому языкознанию. Должно быть достаточно очевидным, что компаративист именно строит, а не реконструирует модель того или иного языкового оригинала прошлого. Рассматриваемый термин, конечно, имел бы право на существование при условии понимания модели в смысле «pattern» Э. Сепира, от чего, однако, авторы далеки. Менее существенная неточность состоит в том, что чанский иногда квалифицируется авторами как язык (ср. стр. 3, 13, 466) — соответственно статусом языка наделяется и мегрельский — иногда же как диалект (стр. 383, 395).

Анализ рецензируемой книги был бы неполным, если не остановиться на пространной вводной статье Г. В. Церетели «О теории сонантов и аблаута в картвельских языках» (стр. 009—029 и 031—051), не только компенсирующей отсутствие в работе раздела, посвященного истории вопроса, но и имеющей существенное самостоятельное значение. Прежде всего оно заключается в рассмотрении методологических и чисто методических недостатков, характеризующих картвелистику

[11] Ср.: Г. В. Рогава, Вопросы исторической фонетики картвельских языков, I — Некоторые вопросы истории гласных в картвельских языках, Тбилиси, 1962, стр. 52.

[12] См.: В. И. Абаев, Осетинский язык и фольклор, I, М.— Л., 1949, стр. 90.

[13] См.: Н. Я. Марр, Введение к работе «Определение языка второй категории Ахеменидских клинообразных надписей по данным яфетического языкознания», в его кн. «Избр. работы», 1, Л., 1933, стр. 55.

и не разрешавших ей до последнего времени подняться до уровня современной компаративистической дисциплины (рассмотрением этих недостатков до последнего времени обычно пренебрегали). Вместе с тем статья намечает в общих чертах программу исследований, направленных на разрешение вопроса об отношении картвельских языков к индоевропейским, с одной стороны, и к абхазско-адыгским и нахско-дагестанским, с другой. Нельзя не присоединиться и к выводу Г. В. Церетели о том, что фундаментальный труд Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани представляет собой целый этап в диахроническом картвельском языкознании.

Г. А. Климов

Последние годы стали настоящим периодом «бури и натиска» для сравнительной картвелистики. Впервые после известных работ Г. Деетерса и А. С. Чикобава[1] недавно появились обобщающие исследования в области картвельской сравнительной фонетики, морфологии и лексикологии[2].

В центре нового обширного сравнительного исследования Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани — авторов, уже предложивших ряд удачных и оригинальных решений некоторых спорных вопросов картвельской сравнительной грамматики[3], стоит принципиально новая для картвелистики проблема: восстановление системы морфологических чередований гласных, исходной структуры морфем и правил их сочетаемости на протокартвельском уровне. Для того, чтобы приступить к ее решению, авторам пришлось основательно пересмотреть реконструкцию протокартвельской фонологической системы (в особенности подсистем сонантов и гласных), предпринять тщательное исследование глагольных структур картвельских языков, изучить формальную сторону словообразовательных процессов, провести ряд специальных этимологических исследований, т. е. затронуть фактически все основные аспекты протокартвельской реконструкции. Важные новые результаты, достигнутые авторами во всех перечисленных областях, делают книгу крупным событием в сравнительной картвелистике; их работа несомненно окажет сильное влияние на дальнейшее развитие этой отрасли компаративистики.

В первой главе работы (стр. 21—72/ /388—399) рассматривается статус фонем *w и *j в протокартвельском. Авторы показывают, что хотя в древнегрузинском v, w и u, в сванском w и u, в мегрельском и чанском v и u являются самостоятельными фонемами, на раннегрузинском, раннесванском и раннезанском уровнях они были аллофонами одной фонемы — сонанта *w; в протокартвельском эта фонема реализовалась в виде неслогообразующего варианта /w/ в позициях #—V, V — # и V — V и в виде слогообразующего варианта /u/ в позициях #—C, C—# и C — C (в позиции C — V колебания, о чем см. ниже)[4]. Аналогичное распре-

---

[1] G. Deeters, Das kharthwelische Verbum, Leipzig, 1930; Арн. Чикобава, Чанско-мегрельско-грузинский сравнительный словарь, Тбилиси, 1938.

[2] K. H. Schmidt, Studien zur Rekonstruktion des Lautstandes der südkaukasischen Grundsprache, Wiesbaden, 1962; С. Жгенти, Сравнительная фонетика картвельских языков. I — Проблема структуры слога, Тбилиси, 1960 (на груз. яз.; резюме на русск. и англ. яз.); А. Г. Мартиросов, Местоимение в картвельских языках. Историко-сравнительный анализ, Тбилиси, 1964 (на груз. яз.); Г. А. Климов, Склонение в картвельских языках в сравнительно-историческом аспекте, М., 1962; его же, Этимологический словарь картвельских языков, М., 1964.

[3] См. в особенности: Т. В. Гамкрелидзе, Сибилянтные соответствия и некоторые вопросы древнейшей структуры картвельских языков (на груз. яз.), Тбилиси, 1959; Г. И. Мачавариани, Общекартвельская консонантная система (на груз. яз.), Тбилиси, 1965; его же, О трех рядах сибилянтных спирантов и аффрикат в картвельских языках, М., 1960 («XXV Международный конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР»); его же, Из истории соответствий гласных в картвельских языках (на груз. яз., резюме на русск. яз.), «Труды Тбилисск. гос. ун-та», 69, 1958; его же, «Корневой тип» страдательного залога в картвельских языках (на груз. яз., резюме на русск. яз.), «Вопросы структуры картвельских языков», I, Тбилиси, 1959; один из авторов известен и как талантливый индоевропеист, см., например: Т. В. Гамкрелидзе, Хеттский язык и ларингальная теория, «Труды Ин-та языкознания [АН ГрузССР]». Серия восточных языков, III, Тбилиси, 1960.

[4] Здесь и ниже # пауза (начало или конец слова), C согласный, V гласный,— место, занимаемое соответствующим вариантом сонанта.

деление устанавливается для двух вариантов сонанта *j : /j/ и /i/.

Особенно интересны здесь разделы, в которых авторы рассматривают пути фонологизации позиционных вариантов сонантов в отдельных картвельских языках. Так, в древнегрузинском фонологизация *v* осуществилась в результате введения варианта /v/ в позиции, где первоначально был возможен лишь /w/ под влиянием морфем, в которых /v/ был закономерен: 3-е лицо ед. числа аориста *-šva* вместо *-*šwa* под влиянием форм 1—2-го лица *-šev* («родить») — см. стр. 41—42[5]. Аналогичным путем вариант /w/ был введен в позиции между согласными *C — C*, где первоначально наличествовал лишь вариант /u/ под влиянием случаев с закономерным /w/ в позиции *C — V*: 3-е лицо ед. числа аориста *-ḳwda* вместо *-*ḳuda* под влиянием форм 1—2-го лица *-ḳwed* («умереть») (стр. 48—49). Подобный метод позволяет авторам дать ряд убедительных этимологий ставшим непрозрачными отглагольным образованиям: например, др.-груз. *qvel-*, занск. *qval-* «сыр» — к др.-груз. *qav-* «скисать» (стр. 44)[6].

Наибольшие трудности представляет истолкование колебаний в позиции *C — V* в древнегрузинском (*CwV* и *CuV*) и занском (*CvV* и *CuV*), не объяснимых действием аналогии. Для грузинского авторы допускают, что *u* представлено в первоначально подударном положении (др.-груз. *qŭa-* «обух»), *w* — в безударном (др.-груз. *-swa*, 3-е лицо ед. числа аориста /«пить»/) — см. стр. 47/394. Такое объяснение, по-видимому, предполагает, что вариант /u/ исходен в данной позиции; это кажется сомнительным, поскольку в позиции *C — VC* обычен вариант /w/. С другой стороны, авторы вынуждены здесь принять вслед за А. С. Чикобава существование подвижного разноместного фонологического ударения на раннегрузинском уровне (ср. стр. 352—353), сама же разноместность ударения постулируется фактически только на основании колебаний, подобных указанным (ср. также ниже, стр. 127)[7].

Для занского предполагается распределение: #*CuV*#, если *V* — гласный **a* или **e* и *CvV* во всех остальных случаях (стр. 58/395), причем для объяснения реально засвидетельствованных форм приходится принимать довольно сложные и не всегда мотивированные процессы перемещения ударения в позиции # *Cue / a* # (стр. 59—60). Здесь действительно наблюдаются многочисленные колебания не только между мегрельским и чанским, но и внутри каждого из этих языков. Интересно, что в древнегрузинском слогообразующий вариант /u/ представлен фактически только в существительных с исходом на *-a*: *qua-* «обух», *ʒua-* «сука», *ṭua-* «вымя», *šua-* «середина», **kua-* «камень» [ингилойск. *ku(v)a-*], ср. груз. *čḳua* «ум»; исключением является лишь *zγwa* «море». Может быть, аналогичное распределение характеризовало первоначально и занский (ср. мегрельск. *ǯua* «сука», *kua* «камень»); после завершения занского процесса **e* > *a* в позиции исхода слова у существительных, где в занском сохранился картвельский **a* (в остальных случаях **a* > занск. *o*), стали возможны и случаи с *w* (ср. чанск. *pswa* < **m-swa-* «крыло»: груз. *swe*). Утрата фонетической мотивированности распределения /w/ и /u/ перед *-a* в занском в таких случаях должна была привести в конечном счете к свободному варьированию обоих вариантов (чанск. *pswa* ~ чанск. *psua*, мегрельск. *psua*; чанск. *kwa* ~ мегрельск. *kua* и т. п.).

Важно отметить, что хотя в протокартвельском **w* и **j* принадлежат к одному классу фонем, между ними имеется функциональное различие: слогообразующий аллофон сонанта **j* — /i/ выступает в системе чередований гласных как особая ступень огласовки в тех ос-

[5] Ср.: С. Жгенти, К вопросу о лабиализованных согласных в картвельских языках (на груз. языке; резюме на русск. и франц. яз.), «Изв. Ин-та языка, истории и материальной культуры им. Н. Я. Марра [АН ГрузССР]», X, 1941, стр. 185.

[6] Возражения вызывает лишь сопоставление др.-груз. *kva-* «камень» с диалектн. хевсурск. *kav-* «каменная крепость, крепостная стена». Хевсурское слово, как и тушинск. *kav-* «огороженное каменной стеной место содержания скота» [Ф. Утургаидзе, Тушинский диалект грузинского языка, Тбилиси, 1960 (на груз. яз.), стр. 213], пшавск. *kavcixe* «крепостная стена» (И. Чкония, Грузинский глоссарий, СПб., 1910, стр. 55), скорее заимствование, связанное с аварск. *kavu*, чеченск. *kav* «ворота», кабард. *k'ev* «плетень». Ожидаемая закономерная грузинская форма, вероятно, сохранена в ингилойск. *ku(v)a-* «камень», предполагающем др.-груз. **kua*. Засвидетельствованная древнегрузинская форма *kva-*, возможно, представляет упрощение параллельной формы с вставным *-v-*: **kuva-* > *kva-*, ср. тушинск. *čḳva-* «ум» (Ф. Утургаидзе, указ. соч., стр. 219) при обычном груз. *čḳua*, *čḳuva*.

[7] Ср.: А. С. Чикобава, К вопросу об ударении в древнегрузинском языке (на груз. яз.), «Сообщения АН Груз. ССР», III, 2—3, 1942, стр. 192—194. В концепции А. С. Чикобава разноместное ударение на древнегрузинском уровне восстанавливается на основании синкопы гласных. Авторы рецензируемой работы не могут оперировать подобным аргументом: для них синкопа гласных — общекартвельское явление.

новах, где не содержится неслогообразующего аллофона /j/ (он является ступенью редукции гласного *e*); соответствующий же аллофон сонанта **w* — /u/ не участвует в системе чередований гласных, являясь лишь позиционно обусловленным корреспондентом аллофона /w/. С этим обстоятельством, как нам кажется, тесно связана некоторая несимметричность распределения сонантов **j* и **w*: **j* представлен не во всех возможных для **w* позициях перед гласным. Если **w* обнаруживается перед *e* и *a* в начальной позиции и после согласного (#*we*, #*wa*, C*we*, C*wa*), то **j* выступает в соответствующих позициях лишь перед гласным *a* (ср. # *ja-*: сванск. *ja-r* «кто», род. пад. *i-ša*, C*ia-*: картв. **xiar-/xiad-* «радоваться», **kian-* «качаться», ** ia-* (уменьш. суффикс); в позиции перед **e* в основах, возводимых к протокартвельскому, **j* полностью отсутствует. Такой пробел в распределении **j* при наличии чередования *e* : *i* позволяет предположить, что картв. **e* в ряде случаев восходит к **je* (или **ie*) и упомянутое чередование отражает регулярную модель **je* : *i*, аналогичную модели **we* : *u*: так, др.-груз. аорист 1 — 2-е лицо ед. числа *-ved* ~ 3-е лицо ед. числа *-vid-a* («идти») < **-wjed* ~ *wida* подобно *-šwer*, 1—2-е лицо ед. числа ~ *šur-a*, 3-е лицо ед. числа («уставать»).

Во второй главе (стр. 73—144/400—415) авторы восстанавливают по два аллофона для картвельских сонантов **l*, **r*, **n*, **m*. Слогообразующие варианты этих сонантов /l̥/, /r̥/, /n̥/, /m̥/ выступают в тех же условиях, в каких представлены /i/ и /u/ — в позициях C — C, # — C и C — # (колебания в позиции C — V : CRV в грузинском ареале при CR̥V в занско-сванском). Реконструкция протокартвельских слоговых плавных и носовых, впервые предложенная в рассматриваемой работе[8], несомненно является важным шагом вперед в картвельской сравнительной фонетике — и прежде всего потому, что она позволяет единообразно объяснить целый ряд казавшихся нерегулярными соответствий.

Авторы детально рассматривают рефлексы слоговых сонантов в картвельских языках. В древнегрузинском они обычно совпадали с соответствующими неслогообразующими вариантами: **ʒ₁aγl̥* = > *ʒaγl-* «собака». Такое совпадение произошло, по-видимому, и в позиции C—V: **tm̥ia-* > *tma* «волосы». Излишним является, на наш взгляд, предположение о существовании протокартвельских вариантов в соответствующей позиции (груз. **tma* ~ занск.-сванск. **tm̥a*)[9]. В позициях C — C и # — C авторы обнаружили ряд интересных реликтов слоговости в грузинском (**-r̥-* > груз. *-or-*, **-l̥-* > груз. *-i-*, **l̥-* > груз. *lo-*, ср., например, груз. *kort̥-n-i-s* «клюет» при др.-груз. *h-krt̥-n-i-s*, др.-груз. *saxid* «домой» < **saxl̥-d*, см. стр. 100—105, 124—125/407—408). Предлагаемое объяснение — сохранение слоговых сонантов в подударной позиции — спорно из-за отсутствия надежных аргументов, поддерживающих гипотезу о существовании подвижного ударения на раннегрузинском уровне. Скорее в подобных случаях следует считаться с влиянием на литературный грузинский язык определенной группы периферийных диалектов, долго сохранявших слоговость в соответствующих позициях (о таких диалектах см. на стр. 105).

В занском в соседстве с исходным слоговым сонантом обычно развивался вторичный гласный, на тембр которого часто влиял гласный соседнего слога (обычно предшествующего): **ʒ₁aγl̥-* > *ʒoγor-*, **tm̥a-* > *toma*. Это положение значительно меняет существовавшее до сих пор представление о первоначальной структуре многих картвельских корней. Выясняется, что наиболее точно исходная корневая структура сохранена в грузинском, а так называемое «полногласие», характеризующее занский, представляет вторичное явление; восстанавливаются исходные формы типа **ʒ₁aγl̥-*, **tm̥a-*, а не **ʒ₁aγal-*, **tama-*, как обычно предполагалось ранее. Более близкими к архетипу оказываются и грузинские формы с начальными сочетаниями согласных типа *tba* «озеро»; в их занских и сванских соответствиях (например, занск. *toba*) сочетания устранены в результате развития анаптиктических гласных (стр. 114—119)[10].

Рефлексация слоговых сонантов в сванском во многом аналогична занской. Здесь развивались вторичные гласные; в позиции C—C обнаруживаются случаи

---

[8] Результаты, полученные Т. В. Гамкрелидзе и Г. А. Мачавариани в этой области, были уже с успехом использованы Г. А. Климовым при реконструкции протокартвельских основ (Г. А. Климов, Этимологический словарь картвельских языков, стр. 21).

[9] В противном случае подобный параллелизм придется принять и в позиции C—: груз. **ʒ₁aγl̥-* ~ занск.- сванск. **ʒ₁aγl̥-*.

[10] Традиционная концепция «полногласия» наиболее полно представлена в работах: А. С. Чикобава, Древнейшая структура именных основ в картвельских языках, Тбилиси, 1942 (на груз. яз., резюме на русск. и англ. яз.) (ср., например, стр. 270—271); его же, К вопросу об ударении в древнегрузинском языке. Согласно этой точке зрения, исходная структура корня сохранена в занском; в грузинском предполагается синкопа безударных гласных.

полной вокализации сонантов[11]. Важную деталь представляет рассмотрение рефлексов конечных *-ḷ и *-l в сванском (стр. 81—83/403—404): *-ḷ > сванск. ḷ-w (ср. сванск. žaγw, дат. пад. < *ʒ₁aγḷ- «собака»), но *-l > сванск. -š (ср. сванск. ṭiš < *ṭil- «вошь»). Такое объяснение делает излишним постулирование особой протокартвельской фонемы на основании соответствия груз. l ~ сванск. š[12].

В главе о сонантах специально разбираются аномальные фонетические соответствия, являющиеся предметом оживленной полемики в картвелистике (в начале слова) груз. s- ~ сванск. l- ~ занск. ∅- и (в любой позиции) сванск. št (šd) ~ груз. t ~ занск. t (стр. 130—140/411—412). Для первого соотношения нередко предполагалась исходная латеральная фонема[13]. Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани показали, что данное соответствие представлено в позициях, находящихся в отношениях дополнительного распределения с позициями, где обнаруживается соответствие груз. s ~ сванск. š ~ занск. š, отражающее фонему *s₁. Авторы на этом основании делают достаточно убедительный вывод, что соотношение груз. s ~ сванск. l ~ занск. ∅ восходит к той же фонеме *s₁ (перед *a, *e и *ʒ₁). Труднее согласиться с объяснением соответствия сванск. št(šd) ~ груз. t ~ занск. t как отражения сочетания *s₁t с той же фонемой *s₁. Постулируемое сочетание выступает в позициях, где обычно допустимы лишь одиночные согласные (или сочетания, для которых предполагается развитие из одиночных фонем). Едва ли можно видеть здесь в s₁ исходный аффикс, как думают авторы (стр. 307): в таком случае мы ожидали бы существования соответствующих сочетаний *s₁k, *s₁p и т. п., в действительности не засвидетельствованных. Совокупность данных такого рода скорее указывает на то, что упомянутое соответствие отражает особую протокартвельскую фонему[14].

Далее (в третьей главе, стр. 145—172/416—428) авторы характеризуют протокартвельскую систему гласных. На основании известных грузинско-занско-сванских соответствий они восстанавливают троичное противопоставление гласных *e — a — o* (*i* и *u* исключаются из системы гласных как позиционно обусловленные варианты сонантов). Анализ ряда аблаутных соотношений позволит в дальнейшем авторам реконструировать для протокартвельского соответствующую триаду долгих гласных (см. об этом ниже, стр. 135).

В этом разделе рассматривается развитие исходной системы вокализма в сванском и занском. Вслед за В. Т. Топуриа авторы предполагают общесванский процесс умлаутизации гласных[15], в лашхском диалекте умлаутированные гласные были обычно заменены неумлаутированными в результате аналогического выравнивания в именных и глагольных парадигмах (стр. 155—157). Более тщательного анализа требуют, по-видимому, случаи появления в лашхском *e* (вместо обычного *a*) в соответствии с *ä* других сванских говоров; авторы объясняют такие аномалии обобщением в парадигме умлаутированного варианта: *ä* (< *a*) > лашхск. *e*. Однако, как показал В. Т. Топуриа, во многих подобных случаях ед-

---

[11] Ряд этимологий, где предполагается вокализация сонантов, вызывает возражения. Связь сванск. ḳoʒ с груз. ḳlde «скала» (стр. 97) сомнительна из-за необычности соответствия сванск. ʒ ~ груз. d. Сванск γeder и др.-груз. qndur- «бобы» (стр. 98) едва ли восходят к протокартвельскому архетипу. Нерегулярное соответствие сванск. γ ~ груз. q, как и семантика слова, скорее указывают на «культурное слово», стоящее в одном ряду с упоминаемыми авторами севернокавказскими формами.

[12] Ср., например: Г. А. Климов, Этимологический словарь ..., стр. 24, где восстанавливается протокартвельский *z₁. Объяснение авторов рецензируемой книги предполагает отказ от сближения груз. col- «жена», сванск. čoš- «coire» с аварск. чIужу, адыг. шъуыз «жена». Единственным аномальным случаем, нарушающим распределение -w и -š в сванском является сванск. gwi, gu- (косвенные падежи) «сердце», соответствующее груз. gul-. Авторы указывают, что ожидаемое сванск. *guš, вероятно, сохранено в диалектном (ушгульском) guh «грудка». В пользу этого предположения говорит и сванск. zih- «давить» < *ziš- при груз. zel-/zil- «мять» (Г. А. Климов, Этимологический словарь..., стр. 86). Форма gu-, однако, попрежнему нуждается в объяснении; возможно она восходит к варианту *gwḷ-, существовавшему наряду с *gul-.

[13] Ср.: G. Deeters, Die kaukasischen Sprachen, в кн. «Handbuch der Orientalistik», VII.— Armenisch und kaukasischen Sprachen, Leiden — Köln, 1963, стр. 76; K. H. Schmidt, указ. соч., стр. 77—78.

[14] Ср. гипотезы об исходной аффрикате [Г. В. Рогава, Основные вопросы сравнительно-исторического изучения фонетики картвельских языков (на груз. яз.), «Иберийско-кавказское языкознание», IV, 1953, стр. 48] и сибилянтном спиранте (К. В. Ломтатидзе, Некоторые вопросы иберийско-кавказского языкознания, ВЯ, 1955, 4, стр. 79).

[15] См. В. Топуриа, Еще об умлауте в сванском языке (на груз. яз.), «Bull. de l'Université de Tiflis», VIII. 1929, стр. 345.

ва ли можно предполагать исходный *a в сванском и протокартвельском: сванские данные указывают на конечный -a (не вызывающий умлаута корневого гласного), ср. верхнебальск. *bäč*, род. пад. *bäcä-š* < **bäča-* ~ лашх. *beč*; данные грузинского указывают в ряде случаев на первоначальный **e*: верхнебальск. *wäre*, лашх. *wēre* «борода» ~ груз. *ç̣wer-*; верхнебальск. *dädw* (род. пад. *dädwäš*), лашх. *dedw* «самка» ~ груз. *dedal-*[16]. Интересно, что упомянутое внутрисванское соотношение выступает и в части тех случаев, когда обнаруживается нерегулярность в грузинско-занских соответствиях гласных: груз. *e* ~ занск. **o*, **ọ* (авторы склонны предполагать здесь протокартвельские колебания **e/a*, ср. стр. 159), ср. груз. *mç̣q̣er-* «перепелка» ~ мегрельск. *č̣q̣or-* < **č̣q̣ar-* при сванск. верхнебальск. *šq̣äžw* (род пад. *šq̣äžwäš*), лашх. *šq̣ežw*; груз. *ḳedel-* «стена» ~ мегрельск. *ḳidala-*, чанск. *ḳoda-*, *ḳida-* при сванск верхнебальск. *č̣wäd* (род. пад. *č̣wädäš*), лашх. *č̣wed* < **č̣ädwa-*. Соответствия такого рода скорее указывают на то, что аномалии вокализма в сванском и занском взаимно связаны и отражают не первоначальные различия в огласовке корня, а колебания в суффиксальном оформлении соответствующих имен, ср. груз. *ç̣wer-* «борода» ~ сванск. **wā̈re* < **wēra-j* < **ç̣wera-*, груз. *ḳedel-* «стена» ~ занск. **ḳd-el-a-* (мегрельск. *ḳidala*) ~ сванск. * *č̣ädwa* < **ḳed-l-a-*.

В разделе о занском вокализме наиболее существенным достижением является установление древнего процесса умлаутизации в этом картвельском диалекте (стр. 167—169), ср. мегрельск. *gen-i* «теленок» с умлаутизацией < занск. **gan-i* < картв. **gen-i* при глаголе мегрельск. *gan-* «подкармливать теленка», закономерно соответствующем груз. *gen-*. Таким образом получает объяснение отклонение от регулярного соответствия груз. *e* ~ занск. *a*: случаи с занск. *e*, обнаруживающиеся, как правило, в именах, отражают обобщенные формы с умлаутизацией гласного перед *i* (например, в им. пад. ед. числа на *-i*). В этом разделе можно найти еще много интересных деталей, проясняющих занское развитие[17].

Ядро книги составляет глава, посвященная реконструкции системы глагольного аблаута (стр. 175—278/429—449). Факты функционального чередования гласных в отдельных картвельских языках (прежде всего в грузинском и сванском) были давно отмечены и тщательно описаны[18]. В ряде работ В. Т. Топуриа, Г. Деетерса, Х. Фугта были установлены связи между системами чередований отдельных картвельских языков[19]. Но восстановление протокартвельской системы чередований, охватывающей весь комплекс глагольных форм и основывающейся на определенных закономерностях сочетания морфем, является целиком заслугой авторов рассматриваемой работы. Успех их реконструкции во многом определен удачным выбором метода сравнения: сопоставлялись не только идентичные глагольные классы в отдельных картвельских языках, но и тождественные этимологически образования, входящие в сравнимые классы, что позволило уточнить морфологическую структуру соответствующих типов.

Основные выводы авторов в этом разделе сводятся к следующему. Глагольный корень в протокартвельском принципиально может представлять несколько различных моделей, каждая из которых характеризуется специфическим противопоставлением вокализма и суффиксального оформления основ презенса и аориста[20]. В некоторых моделях аблаутные чередования характеризуют также противопоставление по переходности-непереходности. Набор возможных огласовок: нормальная ступень (*e* или *a*), ступень удлинения (*ē* или *ā*), ступень редукции (*i*) и нулевая ступень (*∅*).

---

[16] См.: В. Топуриа, К истории окончания имен в сванском языке (на груз. яз.), «Bull. de l'Université de Tiflis», VII, 1927, стр. 307—312).

[17] Специального упоминания заслуживает изящное объяснение соответствий типа мегрельск. *ǯa* «дерево», мн. число *ǯalepe* ~ др. -груз. *ʒel-*. В занском при образовании мн. числа на *-epe* от основ на гласный развивался вставной *-l-*, устраняющий зияние: *kua-l-epe* «камни», *ǯuma-l-epe* «братья» и т. п. (ср. груз. *kva*, *ʒma*). Как только возникли пары типа *kua* ~ мн. число *kua-lepe*, в существовавших в языке ранее парах типа **ǯal-* ~ мн. число *ǯal-epe* осуществилось переразложение (*ǯal-epe* > *ǯa-lepe*), после чего как Rückbildung была создана форма ед. числа *ǯa*.

[18] См. в особенности: для грузинского — А. Шанидзе, Основы грузинской грамматики. I — Морфология, Тбилиси, 1953 (на груз. яз.); для сванского — В. Т. Топуриа, Сванский язык. I — Глагол, Тбилиси, 1931 (на груз. яз.).

[19] Интересный обзор этих работ дает Г. В. Церетели в предисловии к рецензируемой книге (стр. 016—019/038—041).

[20] Основы эти обнаруживают два словообразовательных типа — атематический, когда глагольный корень не осложнен суффиксами, и тематический, причем в последнем в аористе возможен лишь суффикс *-e*, в презенсе — разнообразные суффиксы структуры — VC: *-eb*, *-av*, *-i* < **-ei* и др.

Таблица 1

Характеристика по переход. — непереход.	Презенс	Аорист	Примеры соответствующих форм
Переход. ↕ Непереход.	-C_1eC_2 -C_1C_2-eC_3	-C_1iC_2-e -C_1eC_2 (3-е лицо ед. числа -C_1C_2-a)	груз. -*čer* ~ -*čir-e* «держать» сванск. -*ked* ~ [-*kəd*] «рвать» сванск. *ked-en-* < * *kd-en-* ~ сванск. -*ked* (3-е лицо ед. числа -*kad* < * *kd-a*) «рваться»
Переход.	-C_1C_2-eC_3	-C_1eC_2/-C_1aC_2 (3-е лицо ед. числа -C_1C_2-a)	груз. -*čr-i* ~ -*čar*/-*čer* «резать» (3-е лицо ед. числа -*čr-a*) чанск. -*čkor-un-* ~ *čkor-i*
Переход.	-C_1C_2-VC_3	-C_1aC_2 (3-е лицо ед. числа -C_1C_2-a)	др.-груз. -*qn-av* ~ -*qan* (3-е лицо ед. числа -*qn-a*) «пахать» сванск. -*qn-i* ~ -*qan* мегрельск. -*xon-un-* ~ -*xon-i*
Переход.	-C_1eC_2 -C_1aC_2	-$C_1\bar{e}C_2$-e -$C_1\bar{a}C_2$-e	груз. -*ban* ~ -*ban-e* «мыть» груз. -*ber-* ~ *ber-e* «дуть» сванск. [-*bēl-e*] ~ -*bel-e*
Переход.	-C_1C_2-eC_3	-$C_1\bar{a}C_2$-e	груз. -*tl-i* ~ -*tal-e* «тесать» мегрельск. -*tol-un-* ~ -*tol-i*
Переход.	-C_1C_2-eC_3	-C_1C_2-e	груз. -*rcx-i* ~ -*rcx-e* «мыть» мегрельск. -*rčx-un-* ~ *rčx-i*

Для одноморфемных (не содержащих суффикса-детерминанта) глаголов авторы восстанавливают следующие возможные модели (см. стр. 262—265, табл. 1).

Для двуморфемных основ, представляющих сочетание корневой морфемы с суффиксом детерминантом структуры -(*V*)*C*, возможно меньшее число моделей огласовки (см. табл. 2).

Как видно из таблиц 1 и 2, для всех типов глагольных основ выводимо общее правило сочетания корневой и суффиксальной морфем: нормальная ступень огласовки корня (*e* или *a*) может сочетаться лишь с суффиксом с нулевой ступенью огласовки (**der-k*); суффикс с нормальной ступенью огласовки может сочетаться лишь с корнем, не представляющим нормальной ступени огласовки — здесь возможна нулевая ступень (*-*čr-a* при *-*čar*, *-*dr-ek* при *-*der-k*), ступень удлинения (*-*bēr-e*) или ступень редукции (*-*čir-e*). Аналогичные отношения связывают огласовку 1 и 2-го суффиксов. Эту закономерность авторы формулируют как принцип моновокализма: «в многоморфемной глагольной основе в нормальной ступени может быть представлена только одна морфема» (стр. 243/445).

Во многих случаях совпадающие глагольные модели представлены у этимологически тождественных корней в разных картвельских языках. Это обстоятельство и помогло авторам реконструировать описанную систему. Однако часто в разных языках этимологически тождественные корни выступают в различных моделях; в этих случаях, естественно, обнаруживаются не закономерные фонетические соответствия гласных, а разные, обусловленные структурой соответствующей модели огласовки. Разбор некоторых интересных примеров такого рода (стр. 266—272) открывает новые возможности для картвельской этимологии[21].

Авторы тщательно анализируют судьбу отдельных аблаутных моделей в картвельских языках. Наиболее важные новые результаты здесь — регулярное обобщение огласовки 3-го лица ед. числа аориста на всю глагольную парадигму в занском (приведшее к ликвидации большинства аблаутных чередований — см. стр. 214—225, 237—238/441—442), пре-

[21] Ср., например, соотношение груз. *gl-i*/*gal-e* ~ сванск. *gil-* «рвать(ся)», о котором Г. А. Климов («Этимологический словарь...», стр. 63) замечает: «соотношение огласовок неясно». Основываясь на результатах Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани, это соотношение следует истолковать как результат обобщения разных глагольных моделей в грузинском и сванском.

Таблица 2[1]

Характеристика по переход. — непереход.	Презенс	Аорист	Примеры соответствующих форм
Переход.	$-C_1C_2$-eC_3	$-C_1C_2$-iC_3-e	груз. *-dreḳ* ~ *-driḳ-e* «сгибать» мегрельск. [*-dirik-un*] ~ *-dirik-i*
↕			↕
Непереход.	$-C_1C_2$-C_3-eC_4	$-C_1eC_2$-C_3 (3-е лицо ед. числа $-C_1C_2$-C_3-a)	груз. *-drḳ-eb-i* ~ *-derḳ* (3-е лицо ед. числа *-drḳ-a*) «сгибать» мегрельск. *-dirk-un-* ~ *dirḳ-i*
Переход.	$-C_1C_2$-$\bar{e}C_3$-eC_4	$-C_1C_2\bar{e}C_3$-e	груз. *-çon-eb-i* ~ *çon-e* «взвешивать» сванск. [*-çwēn-e*] ~ [*-çwēn*]
Переход.	$-C_1C_2$-C_3-eC_4	$-C_1C_2$-aC_3-e	чанск. [*ḳorob-un-*] ~ *-ḳorob-i*

[1] В таблице не представлена модель с удлинением в 3-ем лице ед. числа аориста (сванск. *-xwid, -xwīd-a*) — о вероятном вторичном происхождении этого типа см. ниже.

образование двуморфемной модели типа **derḳ/dreḳ* в сванском в одноморфемную модель с сохранением чередования в корне (стр. 197—202). Кроме отношений в системе презенс — аорист, авторы специально рассматривают в этой главе чередования гласных в суффиксах имперфекта и каузатива.

Ряд важных пунктов предлагаемой авторами реконструкции, по-видимому, требует дополнительного обсуждения. Так, авторы восстанавливают аблаутную модель с тематическим презенсом и корневым аористом, характеризуемым неморфологической альтернацией гласных *a/e* в корне, — тип, представленный, например, в груз. презенс *-čr-i* ~ аорист *-čar/-čer* (3-е лицо ед. числа. *čr-a*) (см. стр. 225—228/439—440). Действительно, в этом типе в грузинском литературном языке и в особенности в грузинских диалектах обнаруживаются варианты с двумя огласовками в аористе; к приведенным авторами случаям можно прибавить груз. *-sar/-ser* «истреблять», груз.- хевсурск. *-tar*/литерат. *-ter* «тащить», груз. диалектн. *-pxvar(i)/-pxver* «рвать». Случаи такой не несущей морфологической нагрузки альтернации сами по себе выглядят подозрительно в составе строгой системы функциональных чередований гласных и намекают на возможное устранение неких функциональных различий, существовавших между соответствующими формами. И в самом деле, такие функциональные различия мы обнаруживаем как реликтовое явление в ряде случаев. Огласовка *-a-* характеризует здесь аорист с переходным значением, а вокализм *-e-* — аорист с непереходным (медиальным) значением, ср. др.-груз. *-ǯar* (1—2-е лицо ед. числа) «пошевелил» ~ *-ǯer* «пошевелился», пшавск. *-tar-e* «потащил» — пшавск. *-ter* «потащился», др.-груз. *-qad-e* «извлек» ~*-qed* «двинулся», др.-груз. **-cad-e* «искупил» ~*-cet* «ошибся»[22]. Соотношения такого рода указывают как будто на то, что в интересующем нас типе произошло смешение двух первоначально различавшихся морфологически огласовок *a* и *e*, связанное с развитием новых способов выражения противопоставления по переходности — непереходности. В сванском вытеснение соответствующей модели было, вероятно, связано с активизацией типа переход. *-ḳed/ *-ḳid-e* ~ непереход. *-ḳed*; общность огласовки непереходного аориста (*e*) в обеих моделях облегчила замещение переходных форм типа **-ḳad*[23].

[22] См.: В. Топурия, К образованию форм страдательного залога III типа в грузинском языке (на груз. яз.; резюме на русск. яз.), «Сообщения АН ГрузССР», III, 9, 1942, стр. 968; А. Г. Шанидзе, Основы грузинской грамматики. I, стр. 476—477; И. И. Кавтарадзе, История грузинского языка XII—XVIII вв. I, Тбилиси, 1964, стр. 256 (на груз. яз.; резюме на русск. яз.).

[23] Реликтом огласовки *-a-*, первоначально характеризовавшей переходные глаголы, возможно, является в сванском огласовка *-a-* в причастиях и отглагольных именах на *na-*, *ma-*, *la-*, обнаруживаемая в лентехском диалекте (при верхнебальск. *-ä-*, лашх. *-e-*), ср. лентех. *na-ṭax-w* «возвратившийся» от *ṭex/tix*, лентех. *naqad-w* «пришедший», *ma-qad* «урожай» от *qed/qid* (см.: В. Т. Топурия, Сванский язык, I, стр. 218—220, 226, 228); ср. груз. *nacar-* «зола» при

Некоторые сомнения вызывает многообразие возможных моделей тематического аориста — в особенности в связи с тем обстоятельством, что атематическая глагольная форма (будь то корневой аорист или корневой презенс) допускала только огласовки *a* или *e*, причем для аориста возможна их исходная функциональная противопоставленность. В тематическом аористе, согласно предлагаемой авторами реконструкции, возможна нулевая ступень (груз. *-rcx-e*), ступень редукции (груз. *-č̣ir-e*, *-driḳ-e*) и ступень удлинения (груз. *-ber-e*, *-ban-e* < **-bēr-e*, **-bān-e*). Подобное многообразие огласовок для единой в словообразовательном (суффикс *-e*) и функциональном плане категории нехарактерно для таких типичных систем аблаута, какими являются, например, семитская и индоевропейская. Представляется возможным, что предложенная авторами система явилась результатом развития более простой исходной структуры.

Выше было отмечено, что по крайней мере в части случаев чередование *e* : *i* может отражать более раннее регулярное чередование нормальной и нулевой ступеней огласовки **je* : *i*, так что для одноморфемных тематических аористов с огласовкой *i* как исходное состояние можно предполагать не особую редуцированную ступень, а обычную нулевую: груз. *-č̣er* ~ *-č̣ir-e* «держать» < **-č̣jer* ~ *-č̣ir-e* (как, например, *-rcx-e*), груз. *-pen* ~ *-pin-e* «стлать» < **-pjen* ~ *-pin-e* (ср. сванск. *-pān* < **pjan* с долготой, вызванной утратой *j* при масдаре *li-pīn-e*, как сванск. *-xiad* ~ масдар *li-xīd-e* «радоваться»). Естественно, после завершения процесса **je* > *e* чередование *e* : *i* перешло в разряд чисто аблаутных чередований[24], так что огласовка *i* приобрела характер особой ступени аблаута. На этой стадии огласовка *i* могла быть использована как морфологическая характеристика в аористе переходных двуморфемных глаголов, где проведение обычной системы чередований должно было создать формы, частью омонимичные соответствующим непереходным формам (ожидался бы аорист непереход. 1-2-го лица ед. числа *-derḳ*, 3-го лица ед. числа *-drḳ-a* ~ аорист переход. 1-2-го лица ед. числа *-drḳ-e*, 3-го лица ед. числа **-drḳ-a* > *driḳ-e*, *driḳ-a*). Позднекартвельская система представляет таким образом, морфологическое чередование *e* : *i*, но исторически это чередование развилось из чередования *e* : *∅* в глаголах с корневым *j*.

С другой стороны, может быть, следует согласиться с Х. Фугтом, предполагавшим на основании соответствия глаголов с долгим гласным в сванском глаголам без редукции в *-e*-аористе в грузинском (сванск. *-bēl*, *-šḳād* ~ груз. *-ber-e*, *č̣ed-e*), что в протокартвельском долгота гласного характеризовала данные глагольные корни[25]. Приняв сопоставление Фугта, авторы истолковали его иначе: по их мнению, первоначально долгота (ступень удлинения) существовала только в тематическом аористе, в сванском же она распространена вторично и на другие глагольные формы. Основной аргумент, поддерживающий эту точку зрения — наличие в грузинском при тематическом аористе без редукции (предполагающем исходную долготу) однокоренных образований с редукцией корневого гласного, ср. груз. *sa-č̣m-el-* «еда», предполагающее **č̣ăm* при аористе *-č̣am-e* < **-č̣ām-e*, груз. *sa-ḳut-ar-* «собственный» < **ḳwĕt* «сечь, резать» при аористе *-ḳwet-e* < **-ḳwēt-e* (стр. 241)[26]. Такие случаи, как нам кажется, можно объяснить иначе. Ясно, что после сокращения исходных долгот грузинские формы типа *-ber-e*, *-č̣ed-e* < **-bēr-e*, **-č̣ēd-e* перестали быть мотивированными и образовали одну из возможных моделей, по которой стал строиться аорист, в том числе аорист первоначальных корней с кратким гласным, сохранивших в других формах регулярную нулевую ступень.

Подобное предположение подтверждают следующие соответствия: I — грузинским глаголам с аористом модели C_1eC_2-*e* и ступенью редукции в других образованиях ни в одном случае не соответствуют сванские глаголы с долготным аористом модели -$C_1\bar{e}C_2$-(*e*) — в сванском здесь всегда представлены другие типы аориста с кратким гласным; II — грузинским глаголам с аористом модели -$C_1e\,C_2$-*e*, не представляющим ступень редукции в других образованиях, как правило, соответствуют сванские глаголы с долготным аористом модели -$C_1\bar{e}C_2$-(*e*). В группу I, таким образом, входят глаголы с первоначально кратким гласным корня, в группу II — с исконным долгим, ср.:

I. груз. аор. *-ḳwet-e* «резать», *sa-ḳut-ar* «собственный» ~ сванск. *-ḳwešd*; груз. аор. *-txar-e*, през. *-txr-i* «рыть» ~ сванск. *-štxar*; груз. аор. *-gal-e*, през. *-gl-i* «рвать» сванск. *-gil*; груз. аор. *-qad-e*, през. *-qd-i* «извлекать» ~ сванск. *-qəd*; груз. аор. *-zard-e*, през. *-zrd-i* «растить» ~ сванск. *-rd* < **zrd*.

---

cer-/car- «просеивать», груз. *kar-* «ветер» при *ker-*«погаснуть».

[24] Реликтом более раннего состояния является аномальная модель корневого аориста: груз. 1-2-е лицо ед. числа *-ved*, 3-е лицо ед. числа *-vid-a*.

[25] H. Vogt, Alternances vocaliques en géorgien, NTS, XI, 1939, стр. 132—133.

[26] Существование в сванском отыменных глаголов с вторичным удлинением (*berg* «мотыга» ~ *bērg* «мотыжить», ср. стр. 247), по-видимому, никак не может подкрепить предположение авторов.

II. груз. аор. *-ber-e* «дуть» (*-*br-* не существует) ~ сванск. *-bēl-e*; груз. аор. *-čed-e* «ковать» (*-čd-* не существует) ~ сванск. *-škād-e*; груз. аор. *-kap-e* «рубить» (*-*kp-* не существует) ~ сванск. *-kāp-e*. груз. аор. *-con-e* «нравиться» < **cwen-e* (*-*cun-* не существует) ~ сванск. *-cwen-e* «показывать»; груз. аор. *-tew-e* «оставлять» (*-*tw-* не существует) ~ сванск. *-tēw-e* «гневаться»[27].

Наличие в сванском существительных и числительных, где долгота не объясняется комбинаторно (ср. сванск. *p̣ēr* «пена» и груз. *p̣er-*, сванск. *wōštxw* «четыре» и груз. *otx-* [28]), также делает весьма вероятным предположение о том, что и в глаголах долгие гласные не отражают морфологическую ступень удлинения, но характеризуют корень как таковой[29]. Если принять предложенную точку зрения, аористы типа *-*bēr-e* не представляют специфическую аблаутную модель: они отличаются от нормального типа *-*rc*$_1$*x-e* лишь потому, что исконные долгие стояли вне обычной системы чередований — в частности, не могли чередоваться с нулевой огласовкой.

Подобная процедура приводит нас, по-видимому, к реконструкции на определенной стадии протокартвельской системы с одной ступенью огласовки в тематическом аористе — нулевой ступенью, обусловленной нормальной огласовкой суффикса (*-e*). На этом уровне лишь чередование *a* : *e* в атематических формах, выражающее противопоставление по переходности — непереходности, являлось собственно морфологическим чередованием. Нулевая ступень выступала в любой морфологической категории при присоединении к корню (за исключением корней с исконными долгими) элементов определенной структуры — суффиксов типа -V(C) (принцип моновокализма).

В следующем разделе рассматриваются чередования гласных в системе имени (стр. 279—303/450—452). Авторы устанавливают, что для двуморфемных имен характерна «моновокалическая» структура, обнаруженная в соответствующих глагольных основах (ср. тип C_1VC_2-C_3, **sax-l-* «дом»; тип C_1C_2-VC_3. **km-ar-* «муж»). В отличие от глагольных основ здесь, однако, не представлено чередование C_1VC_2-C_3 : C_1C_2-VC_3 (тип **derk-drek-*): каждая именная основа стабильно отражает лишь одно из двух возможных состояний. Для многих именных основ на протокартвельском уровне реконструируется парадигма с чередованием нормальной (*e* или *a*) и нулевой ступеней огласовки. Установление протокартвельской древности такой модели, сохранившейся частично лишь в грузинском, является несомненной заслугой авторов. Они продемонстрировали, что в сванском и занском имена с чередованием обобщают обычно одну ступень огласовки (в занском, как правило,— нулевую), ср. др. груз. им. пад. *mkerd-i*, род. пад. *mkrd-is-a* «грудь» при сванск. *mučod*, мегрельск. *kidir* < **mkrd-*. Чередование двух ступеней огласовки именных основ авторы связывают с колебаниями огласовки, обнаруживающимися в падежных аффиксах, ср. *-ad/-d* в обстоятельственном падеже, *-es*$_1$ (по данным сванского) / *-is*$_1$ в родительном (стр. 283—284). Предполагается, что и здесь исходной была «моновокалическая» модель: нормальная огласовка основы сочеталась с нулевой (или редуцированной) ступенью огласовки падежного аффикса и обратно. Строго доказать это предположение, однако, не удается ввиду регулярного обобщения одного варианта аффикса и частого обобщения одной формы корня.

Авторы склонны истолковать меньший удельный вес чередований гласных в системе имени как результат разрушения здесь аблаутных отношений, аналогичных отношениям в глагольной системе (ср. стр. 450). Важно, однако, отметить, что в имени, в отличие от глагола, представлен лишь один тип чередований — нормальная ступень: нулевая ступень[30], являющийся фактически лишь отражением правила сочленения морфем. По-видимому, сняв результаты действия этого правила, развившегося на определенном этапе языкового развития, мы получим состояние, характеризуемое стабильной огласовкой непроизводных имен. Такая ситуация (функциональное чередование гласных в системе глагола — стабильная огласовка в именах), веро-

[27] Сванск. аорист *-cād-e* «изменять» при груз. *-cwal-e/cwl-i* объясним как результат заместительного удлинения в результате утраты *w*. В случае груз. *-ǯγwan-e* «посылать» ~ сванск. *-žγwān-e* имеем закономерное соответствие. Нулевая ступень характеризует в грузинском форму с другой огласовкой суффикса: *-ǯγw-en/ǯγw-n-a*.

[28] Для последнего сопоставления авторы принимают протокартвельскую долготу (стр. 245).

[29] Недостаточно надежна реконструкция специальной модели со ступенью удлинения в 3-м лице ед. числа аориста, основывающаяся на анализе глагола **xwj-ed-* «встречаться» (стр. 258—260). Долгота в сванском здесь, вероятно, объясняется комбинаторно (*-xwīd* < **-xwj-ad*). Сокращение долготы в 1-2-м лице ед. числа аориста в этом типе В. Т. Топурия удачно объяснил особенностями акцентуации соответствующих сванских форм (В. Т. Топурия, Сванский язык. I, стр. 154).

[30] Чередование *e* : *i* в именах не отмечается, колебания *a* : *e* представлены спорадически и, как уже отмечалось выше, являются вероятно вторичными.

ятно, типична для языковых систем, допускающих аблаут. Сферой, где развиваются аблаутные чередования, как правило, является глагол с его многообразием противопоставимых категорий; отсюда эти чередования распространяются и на именную систему, но захватывают ее лишь частично. Такая стадия отражена в индоевропейском и семитохамитском[31], представлена она, вероятно, и в протокартвельском.

Вопрос о существовании протокартвельских долгот в именных основах авторы оставляют открытым, отмечая, что для грузинских имен, не представляющих форм с нулевой огласовкой (где исходная долгота вероятнее всего) не обнаруживается соответствий с долгим гласным в сванском (стр. 302—304). Однако уже Х. Фугт установил, что на грузинском уровне продуктивным классом с чередованием гласных являлись лишь именные основы с определенной структурой (основы с исходом на *-l*, *-r* и начальным сочетанием согласных, неодносложные основы); развитие такой системы могло полностью затемнить первоначальное противопоставление имен с чередованием и без чередования[32]. Если считать долготу не характеристикой морфологической категории, а постоянным признаком определенных корней (ср. стр. 22), существование ее в именных корнях в протокартвельском (как это имеет место в сванском)[33] весьма вероятно.

Итоговым является раздел о структуре морфем и правилах их сочетаемости в протокартвельском (стр. 303—325/452—458). Основной тип корневой морфемы реконструируется как CVC, где C — любой согласный или сонант, а кроме того — сочетание согласного с сонантом *w*, или так называемый децессивный гармонический комплекс согласных (с последовательностью: согласный передней артикуляции — согласный более задней артикуляции)[34]. Тип без начального согласного VC наличествует лишь у некоторых имен и, вероятно, является вторичным (утрата C-)[35]. В ряде случаев восстанавливаются корни более простой структуры C (глагольные — например, **b-* «связывать», и именные, например, **d-a-* «сестра»). Суффиксальные морфемы характеризуются структурой -VC. При сочетании корневой морфемы с суффиксальной нормальная ступень огласовки может быть представлена лишь у одной морфемы: C_1VC_2-C_3 или C_1C_2-VC_3. Для префиксальных морфем обычны структуры C-, V- и CV-; аналогичную структуру имеет большинство местоименных корней и различного значения частицы. Это сходство, по-видимому, содержит некоторые указания на происхождение префиксов.

Реконструкция корневых морфем, предлагаемая авторами, несомненно, более точно отражает протокартвельское состояние, чем выдвигавшиеся ранее предположения о господстве в протокартвельском односогласных корней, что было связано, главным образом, с вычленением первого согласного корня в качестве исторического показателя грамматического класса[36]. Возможно, однако, что и тип с тремя согласными $C_1VC_2C_3$, который авторы считают двуморфемным, в ряде случаев включает неразложимые одноморфемные корни, подобно тому как аналогичный тип в индоевропейском (вопреки Э. Бенвенисту) не всегда членим на две морфемы. У Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани, как и у Бенвениста, аргументация двуморфемности таких корней чисто формальная: поскольку есть основы типа $C_1VC_2C_3$/$C_1C_2VC_3$, где -(V)C_3 явно суффикс (имеются родственные образования структуры C_1VC_2), постольку все основы с аналогичным чередованием (и, далее, все основы структуры $C_1VC_2C_3$) являются производными, и отсутствие соответствующих бессуффиксальных форм типа C_1VC_2 объясняется их утратой в языке. Подобное заключение, как нам кажется, переоценивает фактор симметричности корневой структуры, восстанавливаемой для определенного синхронного среза языка-основы. Индоевропейские факты, на наш взгляд, требуют признания одноморфемности образований типа **sneiguh-* «снег» именно на том основании, что родственные образования с корнем **snei-* отсутствуют. Здесь несущественен тот факт, что аналогичную структуру CVSC имеют явно двуморфемные образования типа **sker-t-*, **sker-bh-* «резать» — двуморфемные только потому, что засвидетельствовано **sker-* с тем же значением. Точно так же картвельское **zard-/zṛd-* «расти(ть)» следует признать одноморфемным (отсут-

[31] О частичном сохранении стабильной огласовки в именах в семитохамитском см.: И. М. Дьяконов, Семитохамитские языки, М., 1965, стр. 27—31.

[32] См.: H. Vogt, Alternances vocaliques..., стр. 129, 132—134.

[33] Ср. ниже о существовании в занском имен с огласовкой **ō* (стр. 135).

[34] См. об этом подробнее: Г. С. Ахвледиани, Две системы гармонических смычных в грузинском языке, сб. «Памяти академика Л. В. Щербы (1880—1944)», [Л.], 1951; Г. И. Мачавариани, К типологической характеристике общекартвельского языка-основы, ВЯ, 1966, 1, стр. 4—5.

[35] Восстанавливаются также редуплицированные именные основы типа **zisx-ḷ-* «кровь» < **si-sx-ḷ-* (стр. 316—317/451).

[36] Ср.: А. С. Чикобава, Древнейшая структура именных основ в картвельских языках, Тбилиси, 1942 (на груз. яз., резюме на русск. и англ. яз.)

ствует *zar-), хотя структурно это образование не отличается от двуморфемного *šer-ṭ-/šṛ-ṭ- «гасить», восходящего к *šwer- «гаснуть» + -(e)ṭ. Вполне аналогична здесь ситуация с двусогласными картвельскими корнями: существование в протокартвельском двуморфемных основ структуры CVC, образованных от корней структуры C (ср. *b-am- к *b- «связывать», *r-in- «создавать» к *r- «быть» и т. п.) отнюдь не предполагает, что всякая глагольная основа структуры CVC является производной.

Авторы отмечают, что при сочетании префиксальных морфем с корневыми обычное для суффиксации правило моновокализма не соблюдается, хотя некоторые аномальные случаи чередования гласных обнаруживаются. Исходя из предположения о большей древности префиксации по сравнению с суффиксацией, они видят здесь пережиток «доаблаутного состояния». Следует, однако, помнить и о другой возможности. Префиксация, независимо от времени ее возникновения, всегда оставалась (и остается в большинстве картвельских языков) продуктивным способом словообразования (ср. модели причастий, отглагольных имен, сравнительной степени прилагательных и т. п.); в продуктивных же моделях, как известно, древние отношения преобразуются весьма активно. Вполне вероятно поэтому, что несоблюдение правила моновокализма при префиксации — относительно новое явление, подобно тому как новым явлением было его несоблюдение в суффиксальных моделях, долго сохранявших продуктивность (ср., например, груз.-занск. *beγ-el- «амбар» вместо регулярного *beγ-l-, стр. 282). С этим предположением хорошо согласуется явно реликтовый характер тех случаев, когда правило моновокализма сохранялось при префиксации (стр. 322—324).

Итоговый характер носит и раздел, в котором рассматриваются преобразования протокартвельской морфонологической системы в отдельных картвельских языках (стр. 325—365/459—467, частично 416—428). Здесь более полно реконструируется картвельская фонологическая система, включающая класс гласных, противопоставленных по долготе — краткости (*a*, *e*, *o* — *ā*, *ē*, *ō*), класс сонантов, имевших неслогообразующие и слогообразующие варианты (*j*, *w*, *r*, *l*, *m*, *n*) и класс согласных, для которого были характерны противопоставления по характеру смычки (*p* — *p̣* — *b*, *c* — *ç* — *ǯ* и т. д.) и месту артикуляции (*c* — c_1 — *č*, *s* — s_1 — *š* и т. д.). Особенно интересна и убедительна в этом разделе картина сложной эволюции занского вокализма. Авторы показывают, что на раннезанском уровне (после 1-го передвижения гласных) сохранялось противопоставление трех протокартвельских гласных: *e > занск. *a*, *a > занск. *o* (в ряде позиций в соседстве с лабиальными совпало с занск. *ǫ*), *o > занск. *ǫ* (закрытый звук, давший *u*, *i* в мегрельском и чанском). На этой стадии различались долгие и краткие гласные: *ā, *ō > занск. *ō (> *o* во всех позициях); обнаружение специфического занского рефлекса долгих (стр. 334—336/419—420)[37] особенно важно для подтверждения протокартвельского характера долгот[38]. Развитие сложной системы сванского вокализма вызвано фонологизацией умлаутированных вариантов гласных[39]. Интересно отмечаемое авторами различие тенденций в преобразовании морфонологической протокартвельской модели (стр. 364—365/466—467). Занский и сванский представляют здесь как бы противоположные полюсы: развитие почти полностью агглютинативной системы (занский) — сохранение и обновление системы с внутренней флексией (сванский); грузинский занимает промежуточную позицию.

Книгу заключает раздел «Картвельский и индоевропейский» (стр. 365—380/467—472), где авторы выдвигают ряд предположений о характере морфонологической модели, предшествовавшей протокартвельской модели, восстановлен-

---

[37] Предшествующая попытка обнаружения рефлексов долгот в занском (V. Polák, Contributions à la grammaire historique des langues kartvéliennes, «Archiv orientální», XXIII, 1—2, 1955, стр. 80—81) должна быть признана неудачной: этимологические данные не подтверждают предполагаемых В. Полаком фонетических соответствий.

[38] Авторы, верные своей концепции долготы как морфологической ступени чередования, восстанавливают исходные долготы на основании соответствия груз. *o* — занск. *o* только в глагольных основах. Однако такое же соотношение обнаруживается в целом ряде имен, ср. груз. *gora-* «холм» ~ занск. *gola-*, груз. *ḳord-* «целина» ~ чанск. *ḳord-* «глыба земли» и др., где, таким образом также восстанавливается *ō (постоянно представленный в соответствующих корнях).

[39] Любопытно, что в результате этого процесса в сванском возникла система гласных, являющаяся точной копией системы вокализма, восстанавливаемой для пратюркского: четыре «квартета» гласных, противопоставленных по палатальности/непалатальности и долготе/краткости *a* — *ä* — *ā* — *ǟ*, *o* — *ö* — *ō* — *ȫ*, *u* — *ü* — *ū* — *ǖ*, *ə* — *i* — *ə̄* — *ī* и аномальная пара, фонетически палатальная *e* — *ē*. О тюрк. *e, *ē, отличных от *ä, *ǟ, см., например; J. Németh, Zu den *E*-Lauten im Türkischen, «Studia orientalia» ed. Societas Orientalis Fennica, XXVIII: 14, Helsinki, 1964.

ной в работе. Протокартвельская система, по их мнению, могла развиться из системы, характеризовавшейся одной гласной фонемой, реализовавшейся первоначально позиционно в виде *e* или *a*[40]. В этой системе была представлена монотонная слоговая структура $C_1VC_2V(C_3)$ и наличествовало фонологически релевантное ударение, что обусловило на позднекартвельском уровне синкопу гласного безударного слога (> нулевая ступень и, возможно, на другом этапе, ступень редукции), сохранение подударного гласного в позиции перед закрытым слогом и его удлинение в положении перед открытым слогом ($C_1\acute{V}_2CV > C_1\bar{V}C_2V$). Предполагается также, что сочетания с *w* и гармонические комплексы согласных, выступающие в тех же позициях, что и отдельные согласные, являются на этом уровне самостоятельными фонемами. Как справедливо замечают сами авторы, «подобные реконструкции носят характер сугубо гипотетических построений» и как таковые представляют лишь один из многих возможных и столь же гипотетических вариантов.

Важно, что типологические сходства протокартвельского с индоевропейским, которые обнаружили авторы работы, отчетливо вырисовываются не на этом сугубо гипотетическом уровне[41], но на куда более реальном уровне протокартвельской реконструкции, представленном в основных разделах работы. Типологически близки индоевропейская и картвельская фонологические системы (бедный вокализм, существование особого класса сонантов). Типологически близки индоевропейская и картвельская системы аблаута (противопоставление нормальной и нулевой ступени, невозможность двух нормальных ступеней в основе, откуда чередования типа и.-е. **perk- : prek-*, картв. **derḳ-* : *dreḳ-*[42]. Типологически близки, наконец, индоевропейская и картвельская структуры корня (основная модель CVC). Сходство морфонологических моделей позволяет авторам с полным правом говорить о картвельско-индоевропейском морфонологическом изоморфизме.

Вопрос о причинах такого изоморфизма несомненно привлечет еще внимание картвелистов и индоевропеистов и станет предметом специальных исследований. Авторы склонны истолковать это явление как результат типологического сближения неродственных языков в рамках «некоего общего языкового союза»[43]. Нам кажется преждевременным исключение из числа допустимых предположение о том, что индоевропейско-картвельский изоморфизм является результатом развития общей структурной модели в языках, связанных отдаленным генетическим родством[44]. Конечно, типологические сходства сами по себе никак не свидетельствуют о генетическом родстве. Однако сочетание типологических сходств и сходств материальных (сходств конкретных морфем, не объяснимых как заимствования) обычно представлено в языках родственных, а именно такая ситуация обнаруживается при сравнении индоевропейского и картвельского[45].

---

[40] Напомним, что для авторов чередование *a* : *e* — нефункциональная альтернация (см. об этом выше); гласный *o*, стоящий вне системы чередований, возводится ими к сочетаниям **wa*, **we* (условия изменения остаются неясными).

[41] В отличие от типологических сходств с абхазско-адыгскими языками, которые можно обнаружить лишь при условии принятия именно данной гипотезы из нескольких возможных.

[42] С нашей точки зрения, картвельское морфологическое чередование *a* : *e* сопоставимо с индоевропейским морфологическим чередованием *o* : *e*.

[43] Более конкретная интерпретация предлагается в докладе: Г. И. Мачавариани, К вопросу об индоевропейско-картвельских (южнокавказских) типологических параллелях, «VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук (Москва, август 1964)», М., 1964. Здесь предполагается процесс «индоевропеизации» лингвистического массива, связанного более древними типологическими чертами с северокавказскими (главным образом абхазско-адыгскими) языками. См. также: Т. В. Гамкрелидзе, «Анатолийские языки» и вопрос о переселении в Малую Азию индоевропейских племен, «VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук (Москва, август 1964)», стр. 5.

[44] На это справедливо указывает в своей важной вводной статье к рецензируемой книге Г. В. Церетели («О теории сонантов и аблаута в картвельских языках», стр. 023/045).

[45] Ср. неполный, но достаточно характерный список индоевропейско-картвельских морфемных сходств: и.-е. **me-* — мест. 1-го лица ед. числа (косв.), **ne-/nō-* —мест. 1-го лица мн. числа (косв.), **e-* — указ. мест. ~ картв. **me-(n)* — мест. 1-го лица ед. числа, **na-* — мест. 1-го лица мн. числа (инклюз.), **e-* — указ. мест.; и.-е. - *∅* — Nom., **-es/-s* — Gen., **D-* — Abl. ~ картв. *∅-* — неоформл. пад., **-es₁/ -is₁* — Gen., **-ad/ -d-* — обстоят. пад.; и.-е. **-k-*, **-lo-*, **-i̯o-* — уменьш. суфф. ~ картв. **-aḳ-*, **-al-*, **-ia-* — то же; и.-е. **mē* (запрет.) **ne* (отриц.) ~ картв. **mad*, **nu* (запрет.); и.-е. **kerd-/kred-* «сердце» ~ картв. **m̥-ḳerd-* «грудь»; и.-е. **esH-* ~ картв. **si-sx-l̥-* (редупликация) «кровь»; и.-е. **peHu̯-* «огонь» ~ картв. **px(w)-* «теплый»; и.-е. **per-* «передний край» ~

В заключение нужно подчеркнуть, что по точности метода, богатству фактического материала и масштабности обоснованных выводов исследование Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани представляет выдающееся явление не только в картвелистике, но и в современной диахронической лингвистике вообще. Оно значительно изменяет и углубляет существующие представления о структуре протокартвельского и в то же время имеет более общее значение как во многом образцовая реконструкция языка, характеризуемого системой функциональных чередований гласных. Особенно много поучительного могут почерпнуть из этой работы специалисты в области индоевропеистики и семитохамитологии[46], где реконструкция аблаутных чередований на праязыковом уровне представляет еще целый ряд нерешенных проблем.

Авторов работы и грузинское языкознание в целом можно поздравить с крупным успехом.

В. М. Иллич-Свитыч

картв. **pir-* «край»; и.-е. **seu(H)-* ~ картв. **šw-* «рождать»; и.-е. **legh-* «лежать» ~ картв. **lag-/lg-* «класть, лежать»; и.-е. **dheH-* ~ картв. **d(w)-* «класть»; и.-е. **tep-* ~ картв. **tep-* «греть(ся)»; и.-е. **ker-* ~ картв. **kar-* «связывать»; и.-е. **seH-* «сытый» ~ картв. **ǯeγ-* «насыщаться»; и.-е. **kuel-* ~ картв. **kwer-* «круглый».

[46] В связи с этим хотелось бы высказать одно практическое пожелание. Русское резюме, даже значительное по объему, не может достаточно полно передать содержание большого исследования. Желателен перевод на русский язык всего текста работы.

А. М. Мухин. **Функциональный анализ синтаксических элементов.** — М. — Л., 1964. 292 стр.

В последние два десятилетия замечается обострение интереса к проблемам общего синтаксиса, что продиктовано прежде всего стремлением распространить опыты структурного описания фонемного и морфемного уровней языка на высшие уровни, особенно на синтаксический уровень. В связи с этим возникает вопрос о том, обладают ли различные уровни языка изоморфной структурой, что сделает возможным описание различных аспектов языка в тождественных терминах, как это принимается некоторыми исследователями, в том числе и автором обсуждаемой монографии, и в какой мере для синтаксического уровня пригодна строгая и экономная процедура описания, столь плодотворно применяемая в фонологии. В то же время допущение изоморфизма фонологического и синтаксического уровней языка влечет за собой настоятельную необходимость определить конститутивные единицы каждого уровня, вскрыть их иерархические отношения и обнаружить инварианты соответствующего уровня языка. Не приходится сомневаться в том, что в современном языкознании указанные проблемы не получили однозначного решения и даже исходные посылки общей синтаксической теории остаются неясными и приглашают к дискуссии. Значительным вкладом в общую теорию синтаксиса, особенно в раздел синтагматики, является книга А. М. Мухина «Функциональный анализ синтаксических элементов».

А. М. Мухин является автором многочисленных оригинальных и тонких этюдов по английскому и общему синтаксису, опубликованных в различных изданиях за последние десять лет. Обсуждаемая книга А. М. Мухина завершает долголетние разыскания автора в области общей теории синтагматики и, частично, в области исторического синтаксиса английского языка. Предвосхищая все, что будет сказано ниже, со всей определенностью подчеркну, что данная книга по глубине и мастерству синтаксического анализа, по обширному, частично самостоятельно собранному материалу, по представленной в ней глубоко продуманной и весьма последовательно проводимой общей теории синтагматики, является крупным вкладом не только в германистику, но и в общую теорию языка.

Как для отдельных этюдов А. М. Мухина, так и для данной книги весьма характерна одна отличительная особенность лингвистического анализа автора: попытка детального и всестороннего описания различных синтаксических структур на основе принятия весьма небольшого количества исходных посылок и постулатов. Весьма последовательно проводимый анализ на протяжении всей книги приводит к логически глубоко обоснованным выводам, добытым в основном индуктивным путем, но создающим подчас впечатление, что они были получены на основе чистой дедукции.

Что касается исходных синтаксических понятий, положенных в основу общей

теории синтагматики, то сам автор характеризует их следующим образом: «34.8. Итак, мы рассмотрели целый ряд понятий, формулирования которых требует проведенное выше исследование парадигматических и синтагматических отношений синтаксических элементов,— понятия функциональной синтаксической единицы (синтаксического инварианта), названной синтаксемой, и ее вариантов (факультативных, комбинаторных, оттеночных), сильной и слабой позиции синтаксемы и ее основного варианта. Вместе с понятием дифференциального синтаксико-семантического признака и понятием позиции, введенными в начале работы, эти последние могут составить основной понятийный аппарат синтаксемики как одного из разделов синтаксиса» (стр. 277).

Представляется, что детальный и углубленный анализ синтаксемы и ее вариантов, а также разработка парадигматических и синтагматических отношений синтаксических элементов являются наиболее убедительными и обоснованными опорными пунктами в общей теории А. М. Мухина. Естественно, что и здесь имеются уязвимые положения; на некоторых из них я сейчас остановлюсь, хотя замечу, что эти спорные, неясно сформулированные и даже сомнительные положения ни в какой мере не влияют на весьма положительную оценку работы в целом.

Прежде всего в известном уточнении нуждается само понятие и н в а р и а н т а синтаксического уровня или синтаксемы. Так, автор указывает на то, что «адекватность формулировки здесь может быть достигнута только путем введения понятия функциональной синтаксической единицы, вариантами которой являются родительный и винительный объекта» (стр. 262). Поскольку родительный и винительный падежи в системе определенного языка характеризуются известной совокупностью структурных признаков, образуя определенные морфосемантические поля, то рассмотрение этих двух структур — родительного и винительного падежа — как в а р и а н т о в функциональной синтаксической единицы, с неизбежностью заставляет ввести понятие а р х и с и н т а к с е м ы, если исследователь действительно настаивает на изоморфизме фонемного и синтаксического уровней, что неоднократно подчеркивает А. М. Мухин, не вводя, однако, понятия архисинтаксемы. На чем зиждется тогда параллелизм двух уровней языка? Подчас создается впечатление, что автор чисто внешние совпадения фонемного и синтаксического уровней и некоторые внешние схожие приемы структурирования единиц данных двух уровней склонен рассматривать как выявление подлинного изоморфизма фонемного и синтаксического уровней. Так, давая классификацию синтаксем (о чем будет сказано ниже), автор подчеркивает, что «здесь, следовательно, уже вырисовываются контуры классификации синтаксем, подобной в своих основаниях классификации фонем, объединяемых в категории (гласные, согласные), серии или ряды и т. п. на основании тех или иных (более общих или менее общих) дифференциальных признаков» (стр. 257). Вряд ли можно сомневаться в том, что классификационная схема синтаксем и фонем имеет действительно общие основания, однако эти общие основания разделяются л ю б о й научной дисциплиной (вычленение категориальных, общих и частных признаков и т. д.) и к изоморфизму разных уровней языка это по сути дела никакого отношения не имеет. Что касается самой классификационной схемы синтаксем, то обращает на себя внимание ее подчеркнуто логико-понятийный, а не синтаксический характер. Автор называет признаки, положенные в основу классификации синтаксем, «синтаксико-семантическими» (стр. 256), но не подлежит сомнению, что собственно семантический критерий играет здесь главенствующую роль. Можно полагать, что доведенная до своего логического завершения данная классификационная схема будет скорее фрагментом универсальной грамматики, чем определенным этапом при описании синтаксических структур древнеанглийского языка. Здесь скорее всего следует усматривать стремление построить общую теорию синтагматики (или синтаксемики) на д е д у к т и в н о-индуктивных принципах. Именно этим стремлением можно объяснить следующее положение автора, которое, с точки зрения классического языкознания, ориентированного преимущественно индуктивно, могло бы показаться не внушающим особого доверия: «Выбор древнеанглийского языка в качестве исследовательской базы здесь оказался случайным. Вместо древнеанглийского базой для постановки проблемы синтаксической инвариантности мог бы, по-видимому, послужить любой другой язык, особенно современный, как в его устной, так и письменной формах» (стр. 5). В этом плане представляется затруднительным ответ на вопрос, в какой мере А. М. Мухину удалось дать адекватное и исчерпывающее описание некоторых синтаксических структур древнеанглийского языка и в какой мере именно сам материал древнеанглийского языка наталкивал автора на выбранную им методику лингвистического анализа. Во всяком случае, следует со всей определенностью подчеркнуть оправданность и плодотворность поисков в этом направлении[1]. Здесь следует взвесить также то

[1] Могу сослаться в этой связи на инструктивные исследования Э. Кошми-

обстоятельство, что анализ парадигматических особенностей синтаксем (и, шире, синтаксической парадигматики), что составляет сильную сторону в книге А. М. Мухина, невольно влечет за собой известный крен в сторону логико-понятийных категорий или синтаксических универсалий. Не приходится также забывать, что парадигматические отношения Ф. де Соссюром были названы ассоциативными, что подчеркивало их «психический», понятийный, во всяком случае не чисто языковой характер. Справедливости ради надлежит оговорить, что автор последовательно дает анализ всех функций родительного падежа в древнеанглийском языке в двух срезах: парадигматическом и синтагматическом.

Весьма ценной и заслуживающей самого пристального внимания в исследовании А. М. Мухина является разработка вариантов синтаксем, среди которых автор выделяет три группы: факультативные, комбинаторные, оттеночные варианты. Ставя вопрос о том, следует ли варианты считать принадлежностью языка или речи, автор указывает на то, что «из сказанного явствует, что варианты функциональной синтаксической единицы являются собственно единицами языка, а не речи, т. е. принадлежат к сфере абстрактных (языковых), а не конкретных (речевых) элементов» (стр. 252). Для меня не подлежит сомнению обоснованность и справедливость этого положения. Разрешу себе сослаться на свою работу «Понятие давления системы и иерархия языковых единиц», где я писал о том, что «инвариант допускает большее или меньшее количество вариантов, что может определяться как структурными особенностями данной языковой единицы, так и уровнем языка. Естественно, что инвариант существует лишь постольку, поскольку существует его манифестация, т. е. варианты. Следовательно, вариантность — признак не только определенного уровня языка, но прежде всего самой языковой системы»[2]. Но если это справедливо, то тогда изоморфизм фонемного и синтаксического уровней, на что неоднократно и настойчиво указывает автор, как раз в отношении вариантов и их функциональной характеристики требует специального рассмотрения. Останавливаясь на роли вариантов, Н. С. Трубецкой подчеркивал: «Комбинаторные варианты являются, если можно так сказать, фонологически вспомогательным средством. Они сигнализируют либо о границе слова (или морфемы), либо о наличии определенного рода соседней фонемы»[3]. В какой мере комбинаторные варианты синтаксем оказываются схожими с функциональным поведением комбинаторных вариантов фонем? Не оказывается ли и здесь изоморфизм фонемного и синтаксического уровней мнимым?

Таковы некоторые из моих замечаний по поводу основных положений монографии А. М. Мухина, которые, как уже указывалось выше, не влияют на общую весьма положительную оценку данного труда. Автор с большим мастерством обосновывает оригинальную многообещающую теорию синтаксемики, перерастающую в общую теорию синтаксиса, на обширном и инструктивном материале неоднократно проверяет оправданность и внутреннюю логику своих построений и дает в руки исследователя — англиста, германиста и общего языковеда — изобилующее фактами ценное и важное исследование. Автор великолепно владеет методикой лингвистического анализа, смело ставит и решает некоторые из узловых вопросов общей теории синтаксиса, проявляя в то же время осторожность и вдумчивость в своих окончательных выводах.

Э. А. Макаев

дера, особенно на его работу «Die noetischen Grundlagen der Syntax», в кн.: E. Koschmieder, Beiträge zur allgemeinen Syntax, Heidelberg, 1965, стр. 70—89.

[2] Э. А. Макаев, Понятие давления системы и иерархия языковых единиц, ВЯ, 1962, 5, стр. 48.

[3] См.: Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 58

Г. А. Меновщиков. **Язык сиреникских эскимосов.** Фонетика, очерк морфологии, тексты и словарь. — М. — Л., Изд-во «Наука», 1964. 220 стр.

В рецензируемой книге, об опубликовании которой было объявлено в статье под тем же заголовком[1], Г. А. Меновщиков приводит важный языковой материал, собранный им во время экспедиций в 1954—1955 и 1960—1961 гг. в поселке Сиреники (к юго-западу от бухты Провидения) среди последних носителей наиболее западного из всех известных эскимосских диалектов. В книге матриал подается в значительно расширенном виде: здесь приводятся фонетический обзор (стр. (12—21) и морфологический очерк (стр. 26—104), в большей мере основанные на материале, который получен в 1960—1961 гг. с помощью 38-летней А. И. Париной, владеющей не только эскимосским и чукотским языками, но и хорошо говорящей по-русски. А. И. Парина помогала автору фиксировать и переводить тексты, а также собирать грамматический и лексический материал (стр. 109, 168). Из приводимых фольклорных и бытовых текстов (стр. 109—174), которые представляют большой интерес также для фольклористов и этнографов, три были записаны в 1954 г. со слов 68-летнего Нумылена с помощью его сына — школьного учителя и охотника Пиура (стр. 109); все эти люди совместно с сиреникцем Тагруре являлись также информантами при записи словаря. Словарь, содержащий около 2400 слов и форм слов (стр. 177—203), в 1960—1961 гг. был проверен и дополнен с помощью А. И. Париной, Тагруре и 54-летней Киргыны, ибо лучших информантов, работавших во время экспедиции 1954—1955 гг.— Нумылена и Пиура — к тому времени в живых уже не было (стр. 176). Кроме того, в работе содержится сравнительный тематический словарь (стр. 204—216), в котором 365 сиреникских слов сопоставляются с семантическими эквивалентами (или близкими эквивалентами) в двух других диалектах азиатских эскимосов—чаплинском и науканском, а также в имакликском[2] (если не считать ряда лакун в сопоставлениях с последним диалектом).

Как хорошо известно, последний из упомянутых диалектов принадлежит к той же группе, к которой относятся эскимосские диалекты, распространенные к востоку от Гренландии и к югу от о. св. Михаила в заливе Нортон (имеется около 40 тысяч носителей этих диалектов). Указанная группа диалектов, обычно известная под названием восточного эскимосского (ВЭ), по терминологии М. Свадеша именуется «инупик» в отличие от диалектов «юпик», распространенных далеко к югу и западу. Эти названия «настоящий человек, эскимос» восходят к вост.-эским. *inuk* (в восточной Гренландии *ī*), зап.-эским. *juk* (в сиреникском *юх*) «человек, эскимос». От диалектов juk на материковой части Аляски Л. Л. Хаммерих отличает диалект čux на о. Нунивак и диалекты šuk на о. Кодьяке и тихоокеанском побережье вплоть до Перривилля на п-ове Аляске, по соседству с алеутской территорией[3].

Классификация эскимосских диалектов на восточные и западные была произведена еще В. Г. Богоразом, который в 1901 г. ознакомился со всеми тремя диалектами, распространенными на азиатском побережье[4]. Вопреки утверждению Н. Л. Гондатти (1895) Богораз в 1901 г. обнаружил, что «эскимосские диалекты азиатского берега близки между собой, не исключая и третьего южного, и люди разных ветвей племени хорошо понимают друг друга, говоря каждый на своем диалекте, что неоднократно имело место в моем присутствии»[5]. По указанию В. Г. Богораза небольшой текст был переведен с чаплинского диалекта на два других диалекта[6], и хотя Богораз был озадачен некоторыми отклонениями сиреникского диалекта, он не поколебался отнести все азиатские диалекты к восточноэскимосским диалектам юго-западной Аляски (здесь сокращенно ЮЗ).

Согласно Г. А. Меновщикову, сиреникский диалект является отдельным языком, непонятным населению Чаплино, причем Меновщиков находит заявление Богораза «мало убедительным» (стр. 7, примеч. 6), ибо уже в начале 30-х годов, когда этот диалект все еще употреблялся в пятнадцати семьях, он провел несколько лет в Сиренике и «лично убедился в значительных отличиях их языка от языка чаплинских эскимосов»: «сиреникцы и чаплинцы всегда общались

[1] Г. А. Меновщиков, Язык сиреникских эскимосов, ВЯ, 1962, 3.

[2] Имакликский диалект — диалект прежних обитателей о. Ратманова в Беринговом проливе — идентичен с диалектом обитателей о. Крузенштерна и мыса принца Уэльского на американской стороне — ср. стр. 204, где дается ссылка на работу: D. Jennes, Comparative vocabulary of the Western Eskimo dialects, Ottawa, 1928.

[3] L. L. Hammerich, The Western Eskimo dialects, «Proceedings of the XXXII Congress of americanists», Copenhagen, 1956, стр. 632—639.

[4] В. Г. Богораз, Материалы по языку азиатских эскимосов, Л., 1949, стр. 40.

[5] Там же, стр. 29. Богораз сам не говорил ни на одном из этих диалектов, но свободно объяснялся на чукотском языке.

[6] Там же, стр. 178.

между собою или на чаплинском диалекте или на чукотском языке» (стр. 6—7). Материал, зарегистрированный в 1954—1955 и в 1960—1961 гг., когда еще оставалось около 20—30 взрослых носителей диалекта (стр. 7), намного лучше иллюстрирует особенности диалекта, чем 14 строчек текста Богораза (в этом тексте, к тому же, наблюдается несколько повторений). Однако и текст Богораза дает возможность понять большинство фонетических и грамматических особенностей, подчеркиваемых Г. А. Меновщиковым (стр. 105 и сл.). Следует указать, например, на аффрикату *č* [tš], которая, согласно Г. А. Меновщикову, не встречается ни в одном другом эскимосском языке и диалекте, кроме сиреникского (стр. 18; ЮЗ *č* в сиреникском соответствует *s*). Из 45 слов, встречающихся в кратком тексте Богораза, 10 отличаются от чаплинских слов, для перевода которых они используются, в том числе 3 слова, которые, согласно Г. А. Меновщикову, не встречаются ни в одном другом эскимосском языке или диалекте (стр. 22 и сл.), например: чапл. *nəṛómalṛi*, но сирен. *tamaṛimılṛix* «стал есть» (ср. стр. 24: *тамых'*-«есть»), которое Богоразом, видимо, отождествлялось с ЮЗ *tamuagā* «жует (что-то)» (Barnum, 1901), ВЭ *tamuq-tuq* «жует» и т. д., чапл. *тамалъык'* «разжевывание»[7].

Взаимное понимание носителей различных диалектов или языков зависит от языковой практики территориально соприкасающихся народностей; к 1930 г., согласно Г. А. Меновщикову, чаплинцы не имели случая слышать, как сиреникцы говорят на своем собственном языке, а, как известно, взаимное понимание между носителями родственных диалектов или языков зависит также от степени владения тем диалектом, который является родным для данного человека.

Очень важно, что Г. А. Меновщиков спас от забвения исключительно интересный эскимосский диалект; из приводимого им материала исследователь эскимосского языка может понять, насколько сиреникский диалект отличался от других эскимосских диалектов.

Наиболее важными частями книги являются тексты, которые остаются основными документами связной сиреникской речи, и словарь, «основная задача» которого — «дать специалистам фактический материал для более широкого изучения самого языка сиреникцев, сравнительно-типологических исследований всей эскимосско-алеутской семьи языков и установления их взаимодействия с иносистемными палеоазиатскими языками» (стр. 176), в то время как «фонемный состав языка сиреникских эскимосов, как и сам язык, не подвергался специальному исследованию»[8].

В предисловии к текстам автор указывает, что «ударения в словах связного текста не всегда совпадают с ударениями в отдельно взятых словах, помещенных в словаре» (стр. 107).

Количественная сторона звуков и ударение являются трудными проблемами Сиреникскому диалекту свойственна отмеченная Г. А. Меновщиковым (стр. 107) акцентуация русского типа, отражаемая в таких записях слов, как *ма́ммых'* «молоко», *мамы́х'-тык'ых'-тых'* «сосет грудь» (стр. 190). Здесь количество гласных зависит от ударения, но не наоборот, что типично для большинства, если не для всех прочих эскимосских диалектов. Ударение может зависеть от других факторов, однако количество звуков безусловно является решающим фактором для осознания слов и форм слова. По крайней мере восточноэскимосские диалекты обладают тем же типом слоговой структуры, который типичен для финского языка. Слова, записанные Г. А. Меновщиковым на о. Ратманова, как *умек'* «байдара» и *уман* «сердце», я слышал как [umeaq] и [ūmman] от эскимоса из Уэльса, а также при прослушивании большого собрания магнитофонных записей, сделанных в Нунамиуте на Северной Аляске (записи сделаны Х. Ингстад в Брукс Рэйндже и будут изданы мной), хотя гемината *-mm* в диалекте Уэльса несколько сокращена. Возможно, что дифтонг, произносимый как [ei] моим уэльсским информатором (далее на восток— [äi] и т. д.), например, в слове [kumeit] — мн. число от *kumak* «вошь» — превратился в долгое *ē* в диалекте прежних обитателей о. Ратманова (в чаплинском диалекте большинство таких дифтонгов слилось в одну гласную), например, в приводимом Меновщиковым *таг'ет* «вены», вторичное мн. число от *taʁaq*, мн. число, по Дженнессу, taq'αt= *taqqat* (< **taqaʁ-ыt*[9]).

Что касается различения увулярных и велярных согласных, которые являются основополагающими для эскимосского, то использование материала в сравнительных целях требует подготовительной филологической работы. Например, слово *на́х'цыг'ра́х'*, *нах'сыг'рах'* «девушка» (стр. 192, 207) содержит увулярное *х'* и в большинстве случаев также увулярное *г'*; кроме стр. 29, где сказано, что *нахцыграх'* является производным от *нахцых* «женщина», везде приводимом в таком написании или с *-хс-* (на стр. 22: *ныхсых*), тогда как Богораз записал форму мн. числа *на́хсiṛ-i*[10]. Если морфо-

[7] Г. А. Меновщиков, Эскимосско-русский словарь, Л., 1954, стр. 126.

[8] Г. А. Меновщиков, Язык сиреникских эскимосов, стр. 12.

[9] Ср.: K. Bergsland, The Eskimo-Uralic hypothesis, JSFou, 61, 2, 1959, стр. 8 и сл.

[10] В. Г. Богораз, указ. соч., стр. 29.

логические данные верны, то, как мне представляется, и в обоих слогах самой основы слова, вероятно, содержался увулярный: **нáх'сых'*, причем это слово можно соотнести с наук. *нывех'сак'*,имакл. *нек'сек'* «девушка»; *нек'саг'* — *г'руг* «девочка» (стр. 207), в Уэльсе (собственные наблюдения) — [neaχseaq], [neaχsāʞžuk], по Дженнессу — *niaqsaʞq*, мн. число *-aʞuit*, на Нунамиуте — *nыviaqsiaq* «девушка, незамужняя женщина» (производное с суффиксом *-siaq* «приобрел» от слова, обнаруживаемого в гренландском в виде *niviaq* «молодая девушка», мн. число *niviššat*, в передаче Клейншмидта *nivíssat*). На Уэльсе утрата интервокального *-v-* регулярна, ср. [soik] (два слога) < *savik* «нож», [oani] < *avani* «там, далеко», [uani], по Дженнессу — *wani* < *uvani* «здесь» и *avun* < *apun* «снег на земле» и т. д. [при этом имеет место «передвижение звуков» (Lautverschiebung): нуль < γ, γ < *k* и т. д.]. В сиреникском утрата *-v-* возможна лишь в исключительных случаях; здесь, как и в чаплинском диалекте, сочетания различных гласных регулярно сливались в единые гласные (ср. стр. 15), сначала в долгие гласные, о чем свидетельствуют знаки ударения в *нáх'цыг'рáх'*, у Богораза *náxciŋ-i*.

Как говорилось выше, Г. А. Меновщиков не претендует дать адекватное описание языка. В текстах имеется много интересных слов и грамматических форм, которые нельзя найти в словаре или в морфологическом очерке, причем в фонетическом обзоре принимается во внимание лишь небольшая часть материала. Использование материала во всей его полноте, вероятно, привело бы к иным выводам относительно фонемного и грамматического строя рассматриваемого диалекта, а также к углублению концепции Богораза относительно взаимной связи эскимосских диалектов, распространенных на азиатском побережье.

За пределами фонемного обозрения (стр. 13—21) в рецензируемой книге остается аффриката *ц* [t̂š], для которой Г. А. Меновщиков приводит как чисто типологическую параллель чукотское женское произношение мужского [r]. Эта аффриката часто чередуется с [r], а после смычных, где [r], видимо, не встречается, — с [š]. Звук [š] встречается также в интервокальной позиции, например на стр. 72, так что его нельзя считать просто аллофоном [r] или [s] (стр. 20). Указанный звук, вероятно, представляет собой с диахронической точки зрения оглушенный при позиционном контакте с тем или иным глухим согласным, как это наблюдается, например, в чукотском. Аффриката в таких случаях появляется перед гласной [ы], а [r] или [š] — перед гласными [u], [a]. Переход [u], [a] в [ы], который является наиболее характерной чертой сиреникского вокализма (ср. стр. 15), в свою очередь в определенной мере связан с конечными спирантами [x], [χ], которые по сравнению с конечными смычными [k], [q] большинства эскимосских диалектов, являются фонологической особенностью сиреникского, специально подчеркиваемой Г. А. Меновщиковым (стр. 105). Например: на стр. 19 [qы̄t̂šы̄χ] (лучше *-x*) «дерево», стр. 189: *к'ыцых'* (*-x*) «топливо, дрова», но на стр. 65: *к'ырух* «хворост» в *к'ырух-тух'-тык'ых'-ты-х'* (лучше *-тых'*) «за хворостом идет он», ср. чапл. *к'ук* (вероятно, = [qū̄k]) «полено, топливо»[11], ВЭ *qыřuk*, уэльск. *qižuk*, канадск. *qijuk*, гренландск. *qišuk* (пишется *qissuk*) «дерево (материал)»; стр. 186: *к'аг'цых'*, стр. 109: относит. пад. *к'аг'рум* «стрела, патрон», чапл. *х'ук'*, нунив., чугачск. *χuq*, ВЭ *qaʞřuq* и т. д. «стрела» (ЗЭ χ- < **qχ-* < *qaʞ-*, как в некоторых других словах); стр. 166, предложения 17—18[12]: *ýк'цых'*, твор. пад. *ук'шýнын'* «жир», чапл., *ук'ук'*, ЮЗ *uquq*, ВЭ *uqřuq* и т. д. «жир»; причастие прошедшего времени *-кцых'*, например на стр. 198: *тыгы́кцых'* «избранный», стр. 188 и др.: мн. число *-кшай*, чапл. *-как'*, мн. число *-кат*. Наиболее примечательной особенностью является сохранение в сиреникском, как и в восточноэскимосском (после гласного [ы] и после согласного), согласного, который регулярно утрачивается в чаплинском и в других западноэскимосских диалектах.

Г. А. Меновщиков указывает на семантическую тождественность *-цы(х')* с чаплинским суффиксом *-ка(к')* / *-к'а(к')* (стр. 96, примеч. 88), но приводит иное морфологическое расчленение: *аг'ак'-цых* (опечатка вместо *-цых'*) «ушедший» и т. д. В этом случае такое расчленение можно считать разумным, ибо основа здесь оканчивается на увулярный согласный, как это видно из словаря: *аг'áх'-тык'ы̄х'-тых'* «идет» (стр. 177); в данном случае мы исходим из сведений, приводимых на стр. 83, откуда становится ясным, что после согласных основ ставится суффикс настоящего времени *-тык'ых'-тых'*, а после гласных основ — суффикс *-цыкых'-тых'*, например в *уцымы-цык'ы̄х'-ты-н'* «мастерю я», ср. чапл. *улимак'а* «почитает (что)» (переходный глагол 3-го лица ед. числа с *-а*), гренландск. *ulima-voq* (*-wuq*) «рубить топором». Из данных, приводимых на стр. 198, вытекает, что упомянутое выше причастие *тыгы́кцых'* «избранный» имеет гласную (вокалическую) основу; ср. также пример *тыгы-цык'ых'-тыг'-á* «берет, принимает (его, то)» (форма переходного глагола 3-го лица ед. числа с *-а*), анализируе-

[11] Г. А. Меновщиков, Эскимосско-русский словарь, стр. 75.

[12] Ср.: Г. А. Меновщиков, Язык сиреникских эскимосов, стр. 114, предл. 18—19.

мый опять-таки в соответствии с тем, как это делается на стр. 83. Если бы мы согласились с морфологическим членением *ты́гык-цых'* (стр. 96), то получили бы несуществующую основу на *-к*. Наиболее адекватным анализом другого причастия представляется *аг'ах'+кцых'>аг'ак'цых'* «ушедший», или, если угодно, *аг'а(х')-к'цых'*; при этом следует иметь в виду следующее правило: конечный увулярный согласный основы сохраняется при увуляризации начального велярного согласного в суффиксе. Форму типа *ана́кцых'* «беглый» (стр. 179) нельзя разлагать на *ана́-кцых'* или *ана́к-цых*, а следует понимать как *ана́х + кцых'* или *ана́(х)-кцых'*, что видно из рассмотрения формы настоящего времени *ана́х-тык'ых'-тых'*, «удаляется» (там же, здесь приводится по стр. 83). Как вытекает из примеров, приводимых в другой книге Г. А. Меновщикова, те же правила имеют силу и в отношении чаплинского суффикса *-как'*, включая форму с согласным увулярным основы *-к'ак'*[13]. Такое положение является обычным в большинстве, если не во всех эскимосских диалектах.

Как видно из упомянутых выше форм настоящего времени и из форм прошедшего времени типа *уцымы-цы-н'* «мастерил (сейчас) я», *афталг'ах'-ты-н'* «только что работал я» в следующих формах основа на конечный *-т-* поглощена начальным *т* суффиксов: *аг'аг'ы-тык'ых'-ты-мкын* «веду я тебя», *аг'аг'ы-ты-мкын* «вел сейчас я тебя» (стр. 86). Эта основа образована от упомянутой выше непереходной основы *аг'ах'-/аг'аг'-* «уйти», причем не с помощью суффикса *-ы* (стр. 74), а суффикса, идентичного чаплинскому *-та* (там же), т. е. с помощью весьма обычного эскимосского суффикса, известного как *-ut(ы)-* «вместе, для, по отношению к (нему и т. д.) и т. п.», который фигурирует в других эскимосских грамматиках еще со времен Клейншмидта[14]. Суффикс форм прошедшего времени (*-цых'* после вокалической основы, *-тых'* после согласной основы) хорошо известен на Аляске в виде *-řuq/-tuq* и в гренландском диалекте в виде причастия *-šuq/-tuq*, в передаче Клейншмидта *-ssoK/-toK*[15], при этом в западноэскимосском на Аляске наблюдается упомянутая выше регулярная утрата спиранта: *-uq/-tuq*, а в чаплинском регулярное стяжение гласного основы и гласного поствокалического варианта суффикса: *тагик'* «он пришел (сейчас)», *тагин'а* «я пришел (сейчас)» =*-taγi-+ -uq*, *-и-Ɔа*, *аглях'-тук'* и т. д.[16]. Инкорпорированный суффикс в так называемых формах настоящего времени, вероятно, содержит деривационный суффикс *-řaq-/-taq-*, чапл. *-та* «часто»[17], который не должен представлять больших затруднений для чаплинца, знакомого с регулярным соответствием «чапл. нуль звука = сирен. *ц/ф*», несмотря на то, что в чаплинском формы настоящего времени не совпадают в точности с сиреникскими: *тагик'ук'*, *агляг'-акук'* (возможно, мы имеем здесь обобщенный поствокалический вариант того же суффикса: *taγi- + -aquq*, *aγlaʁ- + (t)aquq* [или *-(t)aqūq*?]). Таким образом, соответствия других форм прошедшего времени становятся очевидными: сирен. *уцымы-мы-цы-н'* «мастерил я», *афтал-г'аг'-ы-мы-цы-н'* «работал я» (стр. 83), чапл. *таги-ма-н'а* «я пришел», *агля-ма-н'а* «я шел»[18], сирен. *аг'аг'-ы-сымы-ры-мкын* «вел я тебя» (стр. 86), чапл. *аглясимамкын* «я тебя вел»[19], хотя указанные формы в обоих диалектах должны быть проанализированы иначе: сирен. *уцымы-(ы)мы-цы-н'*; *афталг'аг'-ымы-цы-н'*; *аг'аг'-ы(т)-сымы-ры-м(а)-кын*, чапл. *таги-(и)ма-(у)-н'а*; *агля(г')-(и)ма-(у)-н'а*, *агля(г')-(ут)-сима-(а)-м(а)-кын*; кускоквимск. *patûmauK* «(оно) было покрыто», основа *patu-*; *igaumauK* «(оно) написано на нем», основа *igar-* (=*iγaʁ-*); *Kánerutsimauk* «ему сказали», *Kánerutâ* «он сказал ему» = *Káner-(qanʁ-)* «говорить» + *-uta-* «с» + *-a-* (индикатив) + *-a* (3-е лицо ед. числа «он — ему»)[20]; гренландск. *tigusimavâ-tiγu-sima-va-a* «(я думаю, что) он взял (что-либо)» и т. д. Различие между сиреникскими и чаплинскими формами заключается в том, что последние в большой мере подвергались стяжению в результате утраты интервокальных согласных, сохраняемых в сиреникском. То же относится и к некоторым основам, которые Г. А. Меновщиков не обнаружил ни в одном эскимосском языке, кроме сиреникского (стр. 22 и сл.), и к их регулярным чаплинским соответствиям, например на стр. 19 [at͜šыχ], стр. 22 *ацых'*, стр. 181 *ацых* «кровь» < **ařuk* > чапл. *аўк* (стр. 22 *awk*), во всех диалектах по ту сторону Берингова пролива — *auk* (с дифтонгом, который перед

[13] Г. А. Меновщиков, Эскимосский язык, Л., 1960, стр. 407.

[14] S. Kleinschmidt, Grammatik der grönländischen Sprache, Berlin, 1851, стр. 159 и сл.

[15] S. Kleinschmidt, указ. соч., стр. 112 и сл.

[16] Г. А. Меновщиков, Эскимосский язык, стр. 244 и сл.; на стр. 242 анализируется форма *таги-н'а*, в составе которой не усматривается никакого суффикса времени.

[17] Г. А. Меновщиков, Эскимосско-русский словарь, стр. 182.

[18] Г. А. Меновщиков, Эскимосский язык, стр. 242.

[19] Там же, стр. 248.

[20] J. Hinz, A grammar and vocabulary of the Eskimo language as spoken by the Kuskokwim and Southwest Coast Eskimos of Alascka, Bethlehem, 1944, стр. 104.

согласными типами *-l-*, несомненно, в фонемном отношении отличен от сочетания *-aw-* = *av* и в современном гренландском слился в долгое *ā*). Вряд ли возможно адекватно описать характер связи этих двух диалектов и оценить возможность взаимного понимания их носителей в терминах чаплинского (письменного) диалекта.

В предисловии к текстам автор отмечает, что грамматический комментарий к ним излишен, ибо «в тех случаях, когда русский перевод не сможет оказать читателю помощь в правильном грамматическом толковании текста, он всегда может использовать в этих целях очерки морфологии и приложенный словарь» (стр. 109). В интересном тексте № 6 (стр. 129, предложение 130) можно найти следующую конструкцию: *к'уг'ы́сяг'ны́н' кувр́ипына́н'* «горшок не выноси». Из морфологии (стр. 39) мы узнаем, что первое из двух слов — существительное в твор. падеже с суффиксом *-нын'-*; из примера *аг'ах'-пына-н'!* «не ходи!» (стр. 89) можно легко понять, что отрицательная форма повелительного наклонения глагола выступает здесь как непереходная; в словаре (стр. 185) можно найти легко анализируемые формы *кув-цык'ых'-тыг'-а* «льет, наливает, отливает», переходную форму с личным суффиксом *-а* «он — его» (3-е лицо ед. числа), *кув-цы́к'ык'-ты́х'* «льется и т. д.», т. е. соответствующую непереходную форму с ожидаемым пассивным смыслом (анализ мой.— *К. Б.*). Таким образом, остающийся элемент *-ри* является, очевидно, каким-то деривационным суффиксом. В морфологии суффикс *-ри-* можно найти только на стр. 81: *малих'к'аг'-ри-цык'ых'-ты-г'-а* «гоняется за кем-то» (ср. *малих'к'ах'-тык'ых'-ты-г'-а* «гонится за кем-то он»), причем делается замечание, относящееся также к двум другим парам переходных и к паре непереходных форм: «совершенно очевидно, что здесь имеет место выражение различных видовых признаков действия, отличающихся от описанных выше». В словаре на стр. 190 можно найти ту же пару форм с теми же переводами, с той лишь разницей, что форма с *-ри-* (т. е. форма, необходимая для объяснения текста) выступает здесь в непереходной форме на *-тых'* в то время как в текстах, видимо, отсутствуют примеры на тип, данный в морфологии. Найдя в гренландском словаре (по изданию Клейншмидта 1871 г., или по изданию Шульца-Лоренцена 1926 г., или по английскому изданию 1927 г.) хорошо известное слово, соответствующее *кув-*, можно обнаружить (при тех же значениях, что и в словаре Меновщикова) переходную форму *kuivâ* (*kui-va-a*), непереходную форму *kuivoK* (*kui-vuq*), а также так называемую полупереходную форму *kuissivoK* (*kui-ši-vuq*) — форму, имеющую активное значение с дополнением в твор. падеже, т. е. именно те формы, которые необходимы для объяснения текста; сиреникская полупереходная основа точно соответствует в фонетическом отношении также гренландской основе: *куври-* (синкопа) = *kui-ši-* (фонематически не отличается от *kuvi-ši-*). На стр. 70 автор упоминает полупереходные формы («глаголы залога внутреннего действия») с суффиксом *-ти* (чапл. *-u/-ти*), например, *аг'аг'ы-ти-цык'ых'-ты-х'* «несет что-то сам он» (ср. выше), т. е. *аг'аг'-ыт-и-цык'ых'-тых'*, гренландск. (другая основа) * *autdlarûssivoq* = (в современном произношении) *ā̧ḷḷaʁuš-šivuq* < **aullar-ut*(*ы*)*-ři-*, переходный *autdlarûpâ* «забирает его или нечто с (*-utы*) собой». Таким образом, переходная форма с интранзитивирующим суффиксом *-ри-*, приводимая на стр. 81, остается загадочной.

Важный довод Г. А. Меновщикова в пользу того, что сиреникский диалект отделился от других эскимосских языков «задолго до периода массового территориального дробления эскимосов», состоит в следующем: «в отличие от всех эскимосско-алеутских языков и их диалектов» в сиреникском нет дв. числа (стр. 38); «при этом ни в фольклорных текстах, ни в бытовой речи не наблюдается даже каких-либо остаточных грамматических форм с показателями этого числа ни в имени, ни в глаголе» (стр. 106). Согласно Е. С. Рубцовой, которая также вела запись сиреникских текстов (стр. 27), дв. число «сохранилось только в личных местоимениях»[21]. В морфологическом разделе рецензируемой книги можно найти лишь формы мн. числа *лян'ий*, относит. падеж *лян'ита* «они» и т. д. (стр. 53, 55 и сл.), но в словаре имеется форма *ляки* «они», которая также встречается в текстах и употребляется для обозначения двух лиц (женщины и ее брата — стр. 129, предложение 124, двух мужчин — стр. 169, предложение 19); ср. также в твор. падеже *лякы́тын'* «у них» в отношении пары воронов (стр. 110, предложение 19). Эта форма дв. числа отличается от чаплинской формы *лъкык* и, видимо, представляет более раннюю форму **la-кык*, перешедшую в *la-kij* по аналогии с формой мн. числа *la-ŋij*. В текстах также можно найти хорошо известный тип *Апайы́пыйа́г'ныкы́х милн'у́гныкы́х* «паук и жук» (стр. 167, текст 15, 1), *Пиҩра́ныкы́к*, *Ратҳугьины́кык* «Пиура и Ратхугы» (стр. 168, предложение 18, ср. предложение 19: *ляки*), *Аны́мылы́г'а́й* (мн. число) *нани́г'цыга́г'аг'ны́кы́х'* [= *-х*] «вышли со старушкой» (стр. 158, предложение 75; другое лицо, о котором идет речь,— мужчина), чапл. *-нку-к*. Этот тип,

[21] Е. С. Рубцова, Материалы по языку и фольклору эскимосов, ч. 1, М.— Л., 1954, стр. 10.

возможно, был заимствован в определенный период из чаплинского диалекта (ср. конечное *-к* в тексте 15, 1), ибо, согласно Г. А. Меновщикову, влияние последнего на сиреникский было и интенсивным и длилось в течение продолжительного времени (стр. 37, 70 и т. д.).

Однако эти формы дв. числа, возможно, являются реликтами — точно так же, как в современном гренландском, где существуют несколько реликтов дв. числа. В гренландском дв. число исчезло как самостоятельная категория в течение последнего века, в чем можно убедиться, сопоставив грамматики П. Эгеде (1760), Фабрициуса (1802), Клейншмидта (1851), Расмуссена (1888) и Шульца-Лоренцена (1930, 1945), а также при сравнении текстов, записанных, начиная с 1820 г. В то время, когда я записывал алеутскую речь на о. Атке (1950, 1952), дв. число находилось в процессе очень быстрого исчезновения; молодая женщина (25 лет), которая помогала мне истолковывать магнитофонные записи с речью ее шестидесятилетнего отца, практически владевшего только одним языком — алеутским и регулярно использовавшего дв. число[22], даже не различала формы дв. числа, использовавшиеся ее собственным отцом, хотя она жила с ним одна и слышала его рассказы много раз до того, как я их записал. (На Атке все семьи в домашних условиях использовали алеутский язык, причем с ним жила лишь одна семья американского учителя.) В Сирениках эскимосы живут вместе с чукчами и говорят на чукотском языке, в котором нет дв. числа. Таким образом, гипотеза, позднего чукотского влияния является предпочтительной, хотя, конечно, нет никакой возможности ее проверить (в тексте Богораза, состоящего из 14 строчек, нет ситуации, требующей использования дв. числа).

Мн. число на *-j*, которое также озадачило Богораза, вероятно, представляет более раннее *-ř, ср. местоименные формы мн. числа типа *ам-кы-р-а*, мн. число от *ам-на* «тот», ср. чапл. *ам-ку-т*, ВЭ *арки-а* (возможна утрата интервокального *ř, ср. ниже; интересное *-а* снова появляется в относит. падеже *ин'цым-а*, чапл. *ин'ум* «тот», ВЭ *ау-řит-а*). Во всех других диалектах находим конечное *-t* (если оно не слилось с *-n*), так что предположительно вторичное *-ř в сиреникском, кажется, следует соотнести с конечными спирантами [x], [χ] (или соответствующими звонкими), которые Г. А. Меновщиков считает «структурными элементами» сиреникского, общими с диалектом Нунивака (ср. выше *ěих*, сирен. *юх*) и с алеутским (стр. 9, 21, например, алеут. [q'íl'ax] «небо», т. е. *qila-χ* «утро»). Эским. *-t* (противопоставленному *-n*), сирен. *-j* соответствует в других алеутских диалектах *-n*, но в алеутском на Атке — *-s*, при сандхи также *-z-*, что, несомненно, отражает более раннее *-δ (в других позициях алеут. δ обычно соответствует эским. *ř*), в то время как эским. *-n* (противопоставленному *-t*) соответствует в диалекте Атки *-n*, например во 2-м лице ед. числа притяжательного суффикса в абсолютном падеже [алеут. *-ɪn*, после вокалических основ *-n* с удлинением гласного: эским. *-(ы)n*, *-n*]. Ни в одном эскимосском диалекте, видимо, нет фонематической оппозиции конечных смычных и спирантов, а существует только оппозиция ротовых и носовых согласных (элиминированна в восточных говорах восточноэскимосских диалектов), а в определенных говорах конечные велярные и увулярные смычные и спиранты могут свободно варьироваться (например, в полярном эскимосском Гренландии). Следует отметить, что эским. *-t*, алеут. (на Атке) *-s* соответствует в сирен. *-j* не только в различных формах мн. числа, но также, как представляется, в варианте 2-го лица ед. числа притяжательного суффикса в относит. падеже, где в чаплинском диалекте находим *-к*: *маг'нух'ах' -пык* «твоего ребенка», сирен. *ман'ах'пи* «твоего ребенка, твоих детей» (стр. 45), предположительно = *-pij*, ЮЭ *-pit*, после гласного *-vit*, алеут. (на Атке) *-mis*, аттуанск. и вост.-алеут. *-miв*. Чапл. *-к*, при всей его неясности, видимо, представляет собой инновацию, имеющую параллель только в науканском диалекте, так что и здесь, как и в некоторых других пунктах (на которых я не буду останавливаться), сиреникский материал, спасенный от забвения Г. А. Меновщиковым, проливает новый свет на взаимосвязи эскимосских диалектов.

В сиреникском имеется также несколько морфологических инноваций, но большинство из них представляются совсем недавними. В локативных падежах существительных, не имеющих при себе притяжательного суффикса, так же как и в чукотском, не различается ед. и мн. число (стр. 38 и сл., стр. 106), ибо падежные суффиксы ед. числа с начальным *m* (в диахроническом плане — с относительным суффиксом) были заменены суффиксами, которые в других диалектах встречаются только во мн. числе и после притяжательных суффиксов: локатив *-ни*, аллатив *-ну* (< *-nun*), твор. пад. *-нын'* (пример см. выше; ЮЭ *-тык*, *пык*, как и в азиатском эскимосском также и в аблативе; ВЭ твор. пад. *-тык*, *-пык*, аблатив *-min*, *-nin*). При употреблении

[22] См. тексты, опубликованные в моей книге «Aleut dialects of Atka and Attu» (Transactions of the American Philosophical society». New series, 49, pt. 3, Philadelphia, 1959), стр. 58—77.

с вокалическими основами эти суффиксы не содержат также и *n*, а конечный гласный основы и гласный суффикса сливаются, например стр. 39: *аса* «земля» (вероятно, сопоставимо с чапл. *аси* «низ» с регулярным расширением конечного *-i* в *-а* в сиреникском), локатив *аси*, аллатив *асу*, твор. пад. *асын'*; по мнению Г. А. Меновщикова, эти варианты чрезвычайно древни (стр. 39 и сл., стр. 106). Но он также приводит другое объяснение, а именно тот факт, что у некоторых вокалических основ только аллатив и твор. падеж имеют варианты без начального носового, например, *к'айа*, локатив *к'айни* (синкопированная форма), аллатив *к'айу*, твор. пад. *к'айын'* (стр. 40). Фактами, обусловливающими утрату интервокального *n*, возможно, были наличие конечного носового (впоследствии утраченного в аллативе) и слабое ударение, ибо на стр. 41 мы находим форму *лю-нын'* «из жилища» с основой, ставшей моносиллабической в результате утраты первого слога в сикрениском, ср. чапл. *пыŋlu* ЮЗ, *ŋ(ы)lu*, ВЭ *ыγlu* < **ыŋlu*. Причем само описываемое явление в целом должно быть более поздним по времени, чем замена форм с *m*, от которых остались явные реликты, например *на́т-му* «куда» (чапл. *навык*), уэльск. *naʔn-тип*, с добавлением *-ну*: *к'ул-мы́ну* «вверх», чапл. *к'ул-мун*, ВЭ *qun-тип* (алеут. *qusa-тиδ-аʁап*) и т. д.

Решающим моментом в аргументации Г. А. Меновщикова, таким образом, оказываются лексические различия; на стр. 22 он приводит список из 45 существительных и 7 глаголов, которые, по его мнению, кроме сиреникского, не встречаются ни в одном эскимосском языке или диалекте, в том числе упомянутые выше слова, обозначающие «есть», «женщина», «лес», «кровь» и «земля» (общеэскимосское слово для этого понятия сохраняется в упоминаемом на стр. 7 и сл. топониме, географически относящемся к местности, расположенной к западу от Сиреник). Список существительных по существу тот же, который был опубликован ранее[23], но содержит небольшие поправки и одно важное уточнение: «спина» больше не переводится *кыгыта*, чапл. *хута*, что означает «зуб», ЮЗ *kxun*, относит. падеж *kxūtы-т*, ВЭ *киγип*, *кыγиtы-т*, а дается правильное *кигыта*, чапл. *хата*, ВЭ *kian*, *kiatы-* «верхняя часть тела»; эта пара слов хорошо иллюстрирует то положение, что гласные первого слога в целом лучше сохраняются в сиреникском, чем в чаплинском и восточном эскимосском на Аляске (в ВЭ *-γ-* регулярно утрачивается после всех гласных, кроме [ы]). Можно было бы внести и другие коррективы в словарь. Например, понятию «усы», согласно сравнительному словарю, соответствует слово *ун'ыг'ий*, чапл. *ун'ак'*, мн. число *ун'аг'ыт* (стр. 205), а не *у́мка*, которое, согласно сиреникскому словарю, означает «лес» (стр. 200: *у́мка*), явно заимствованное из чукотского *умкуум*, мн. число *умкы-т*. В упомянутом списке Г. А. Меновщикова есть еще три или четыре чукотских заимствованных слова, одно из них отмечается как заимствование уже в книге Г. А. Меновщикова «Эскимосский язык» (стр. 12): *к'ицанру* «журавль» < *к'эт-чанро*. Население на мысе Чаплино говорит на чукотском языке, так что понимание этих слов не должно составлять трудности.

Как указывает автор, большинство слов в языке сиреникцев и в чаплинском диалекте — тождественны, различаясь с основном своим фонетическим обликом, чему, в частности, способствует также любопытное соответствие *n-* ~ *j-*, проявляющееся в некоторых словах сиреникского и чаплинского диалектов, например, *йафлъых'* «сустав», чапл. *нафлъюк'* (стр. 23), [jájvы̄χ] «озеро», чапл. [nájvaq] (стр. 21). Это соответствие также дает возможность понять слово со значением «голова»: чапл. *наск'ук'*, ЮЗ *nasquq* (< *najquq* наук. > **jaj(ы)-quq* > *ыӣы́к'у(па́х)* > *ыцы́к'у(пах)* «череп» (стр. 145, предложения 21, 20) > *ицык'ых'*. В этом случае звуковые переходы делают слово почти неузнаваемым. Но в списке имеются также и более простые примеры, особенно если при их рассмотрении также учитывать данные «Эскимосско-русского словаря» Г. А. Меновщикова, например, чапл. *сыгыск'ук'* «колено»[24], сирен. *сигыск'ых'* «колено» (стр. 22), ЮЗ *čišquq*, ВЭ *sītquq* (суффикс *-quq*; алеут. *čiδ(i)γi-*). Чаплинское слово *канагак'* «колено» (стр. 22) в науканском и других диалектах означает «берцовую кость» (Дженнесс); подобные семантические сдвиги, конечно, необходимо учитывать; например, *як'ых'* «рука», в словаре: «1. крыло; 2. рука» (стр. 203), ср.чапл. *як'ук'*, «крыло»[25] и т. д. В словаре можно найти *пахкы́ныг'а́х'* «бурый медведь» (на стр. 22 с *-х'к-*) наряду с местоименным наречием *па́х-кы[н +]нын'* «оттуда сверху», а именно «изнутри страны, далеко от берега» (стр. 56), т. е., возможно, «житель материка». Перед нами, видимо, инновация,возникшая в результате лексического табу, которое в восточном гренландском, например, затронуло в поразительной степени даже основной словарный фонд[26]. Будучи за-

[23] Г. А. Меновщиков, Язык сиреникских эскимосов, стр. 109.

[24] Г. А. Меновщиков, Эскимосско-русский словарь, стр. 117.

[25] Там же, стр. 150.

[26] Ср. эскимосские данные в работе: K. Bergsland, H. Vogt, On

имствованными из общего словаря, такие слова в большинстве своем достаточно прозрачны.

Насколько я могу судить, учитывая мое очень ограниченное знание азиатского эскимосского, остается менее двадцати слов, соответствия которым следует искать в ареально иных диалектах. Большинство этих соответствий, если не все, можно без большого труда найти по ту сторону Берингова пролива, например, сирен *ун'ывата* «сердце», ЮЗ *uŋūvan*, *uŋūvaiы-*, ВЭ *ūmman* (у Меновщикова *уман*) < * *uŋu-v/ma-un* «средства для поддержания жизни» (чапл. *их'сяк'ук'* в других местах означает «ложечка»). Пожалуй, наиболее интересным словом в списке является *умльых'*, мн. число *умльуй* «день», чапл., наук. *аг'ныk'* (вероятно, из *ыv-*), ЮЗ *ыv-пыq* «день», *ыχtuq* «рассветает», но ВЭ *uvluq*, *uvlut* (в сравнительном словаре, на стр. 214 имакликская лексема не приводится. Рассмотрение сиреникского слова указывает не только на то, что в восточноэскимосском перед *l* обнаруживается денализованный *m* (что вполне регулярно), а не первоначальный *v*, но главным образом на то, что в чаплинском диалекте (а не в азиатском эскимосском в целом) имеются лексические инновации, общие с западно-эскимосскими диалектами Аляски. Здесь опять сиреникский диалект проливает новый свет на другие соседствующие эскимосские диалекты.

Согласно Г. А. Меновщикову, древние носители сиреникского языка, возможно, оказались «в соседстве с эскимоидными же племенами типа алеутов, которые отделились от эскимосов еще за несколько тысячелетий», ибо «в языке сиреникцев имеются лексические и структурные элементы алеутского языка» (стр. 9). В его статье «Эскимосскоалеутские параллели»[27], на которую автор ссылается, можно найти два слова, которые он, возможно, имеет в виду. Первый пример: «брат младший»: сирен. *ун'йых'*, алеут. *ун'их'*[28]. В алеутском слове, которое означает «сестра» в отношении своего брата (*hujū*, основа *huju-*), имеется преаспирированная носовая, ярко представленная в алеутском на Атке: [uŋŋi-χ], [uŋŋī] «его сестра» (в аттуанск. регулярно > *huŋi-*, *huŋī*), во времена Вениаминова, вероятно, также в восточноалеутском: *'γн'икъ-uniq* (Иохельсон — *huŋiχ*, *uŋiχ*), а последние, очевидно, отражают сочетания типа *-tn-* или *-δn-*[29]. В этом случае сиреникское слово должно отражать прежде всего более раннее **ujŋaq*, что представляется вполне возможным (в приводимом материале имеются и другие примеры метатезы). Однако будучи, согласно приводимым в книге данным, синонимом чапл. *уюг'ак'*, ЮЗ *ujuvaq* «младший брат (в отношении к старшему брату)», «младшая сестра (в отношении к старшей сестре)», изучаемое слово явно отражает более раннее **ujuŋaq* или просто *ujuvaq* (имеется много примеров синкопы, а также другие примеры вторичной назализации), так что это слово вряд ли можно считать подходящим примером на указанный выше случай.

Другого из двух примеров Г. А. Меновщикова — «теплота»: чапл. *пук'лгя*, сирен. и алеут. *уг'нāсях'* (стр. 189) вообще нельзя найти в рецензируемой книге; подходящим словом, видимо, следует считать здесь приводимое Вениаминовым вост.-алеут. *уг'нāсякъ* «теплота», очевидно, опечатка вместо *'вг'насякъ* = *huvnāsaq*, ср. Тихон (1903) ев. от Иоанна XVIII, 18: *тхйдинъ-ŷг'наянанъ* «грелись» = *huv na-ja-na-n* (а также с *-s* в атканском переводе Саломатова в 1861 г.), атканск. *huvnāza-* «быть теплым; тепло; теплота», производное с суффиксом *-uza-* (ВЭ *-uĭaq*) от *huv-na-* «подветренная сторона; пелена», ср. *huv-δaγ* «кипеть». В книге «Эскимосский язык» (стр. 12) Г. А. Меновщиков приводит это слово в виде *уг'ных'сях'* (так же в алеутском) вместе с *уг'ныг'ца* «холод», которое в рецензируемой книге дается как *угныг'ыца* «мороз; стужа», ср. *угныг'ытых'* «холод» (стр. 199), т. е. *угныг'-ы(т)-тых'* «без тепла» (отрицательный суффикс *-ыт-*, ср. стр. 85), ВЭ *ūnaq* «тепло»; *ūnaqtuq* «жаркий», наук. (Дженнесс) *ūnaqsiaq* «средства для создания тепла», т. е. «дерево (материал)», чапл. *унах'сик'* «дерево, бревно; доска»[30] и несомненно сирен. **угных'сях'* «тепло» (с велярным, а не с увулярным *-г'-*) < **иγu-naq-siaq*. Исходной основой (с хорошо известным суффиксом *-naq*) является сирен. *иγu-*, «печься» (стр. 199), ВЭ *ū-* «вариться», и, конечно, несмотря на аналогичное значение, она не могла иметь ничего общего с алеут. *hūv-na-*, *-δaγ-*, которое скорее следует соотнести с чаплинским словом *пу́к'лъя*, «теплота», ЮЗ *puq* [—] *la*, нунивак. *puχlaniχ* «солнце» и, с ассимиляцией сочетания, как и в нескольких других случаях, сирен. *пулъых'* «лето, (ср. чапл. *кик*, ЮЗ *kiak* «лето», ВЭ *kiak* «тепло»); эскимосскому *p-* в алеутском

---

the validity of glottochronology, «Current anthropology», 1962, стр. 127—128 и 150.

[27] «Уч. зап. [ЛГПИ им. Герцена]», Кафедра языков народов Крайнего Севера», 1960, 167.

[28] Там же, стр. 182 и 186 s. v. «сестра».

[29] Ср.: K Bergëland, Some problems of Aleut phonology, сб. «For Roman Jakobson», The Hague, 1956, стр. 43, примеч. 25.

[30] Г. А. Меновщиков, Эскимосско-русский словарь,, стр. 141.

регулярно соответствует *h*-, сохраняемое в атканском и аттуанском, но утраченное в современном восточноалеутском, главным образом уже в период полевой работы Иохельсона[31]. Интерпретация фактов, конечно, всегда открыта для дискуссии. Однако без фактов не может быть и дискуссии. Своей книгой, а также своими предыдущими работами Г. А. Меновщиков оказал большую услугу изучению эскимосской группы языков, которая представляет интерес не только для специалистов, но и для всех занимающихся различными возможностями формирования человеческой мысли.

Рецензируемая книга безусловно окажется очень важной для сравнительного изучения эскимосских диалектов. В данном случае, как и в других областях языкознания, сравнительное изучение требует большой филологической работы и предполагает адекватный описательный анализ сравниваемых диалектов. Как замечает Г. А. Меновщиков в предисловии к своей книге, «для этого потребуется координированная работа исследователей по языкам и диалектам всех территориальных групп эскимосов» (стр. 4).

К. Бергсланд

Перевел с английского *М. М. Маковский*

[31] См. написанные мной совместно с Свадешем и Маршем статьи в IJAL, 17, 1951, стр. 173 и сл., 212 и сл., а также мою статью «Aleut and Proto-Eskimo» в кн. «Proceedings of the XXXII. International congress of Americansts, Copenhagen, 1956», Copenhagen, 1958.

西田龍雄. 西夏語の研究. 上巻. 京都. 1964

Т. Нисида. **Исследования по тангутскому языку.** I. — Токио, 1964. 223 стр. + + 16 стр. вклеек)

Первый том «Исследований по тангутскому языку», где Т. Нисида подводит итог многолетних исследований в этой области, посвящен реконструкции тангутской фонетики. Его работа протекала в трудных условиях: на протяжении длительного времени возможности Т. Нисиды, как и всех зарубежных исследователей тангутского языка, были ограничены тем, что они располагали лишь частью необходимых для реконструкции тангутской фонетики материалов, которые были опубликованы еще в 20-е годы.

В 1960 г. вышла в свет «Тангутская филология», где были собраны опубликованные и неопубликованные исследования Н. А. Невского по тангутскому языку [1]. Основную часть «Тангутской филологии» занимает словарь, в котором Н. А. Невский собрал все результаты исследования тангутского языка. По поводу каждого иероглифа как минимум указывается его место в Гомофонах, как максимум — место в Гомофонах, значение, иноязычные транскрипции, чтение по фаньце, принадлежность к рифме, тон.

Книга Т. Нисиды представляет собой значительный шаг вперед в реконструкции тангутской фонетики благодаря тому, что он детально изучил и обработал лингвистический материал, содержащийся в «Тангутской филологии».

Представляется полезным предпослать разбору книги некоторые общие соображения, которые могут оказаться весьма важными для понимания логических основ процедуры реконструкции.

Реконструкция фонетики тангутского языка — особая задача, имеющая мало общего с реконструкцией языков, пользующихся алфавитной письменностью.

Иероглифическая письменность отличается от алфавитной принципом обозначения — она передает план содержания обозначаемой лингвистической единицы, тогда как алфавитная — ее план выражения. По элементам иероглифа можно с большей или меньшей вероятностью судить о значении передаваемой иероглифом лингвистической единицы, а по элементам фонетического письма можно судить о произношении передаваемой лингвистической единицы.

В любом случае при реконструкции фонетики неизвестного языка существенную помощь оказывают иноязычные транскрипции, сделанные с помощью известных письменностей.

Известно, что транскрипция представляет собой как бы отображение фонологической системы одного языка на фонологическую систему другого. Поскольку фонема-образ должна быть связана с фонемой-прообразом акустическим сходством, фонемы транскрибируемого языка могут передаваться с помощью вариантов фонем транскрибирующего и наоборот. В связи с этим вполне возможно, что транскрипция одинаково передает различные единицы транскрибируемого языка и различно передает одинаковые.

Реконструкция фонетики языка, пользующегося иероглифическим письмом, сложнее не только потому, что раскрыть на основании иноязычных транскрипций чтение нескольких тысяч знаков труднее, чем чтение тридцати или пятидесяти [2]. При реконструкции фонетики такого языка приходится специально решать проблему тождества транскрибируемых единиц.

При реконструкции языков с алфавитной письменностью проблема тождества транскрибируемых единиц, собственно, не ставится; считается очевидным, что лингвистические единицы, передаваемые одной и той же упорядоченной последовательностью букв, тождественны по фонемному составу независимо от их транскрипций.

При реконструкции языков с иероглифической письменностью, где внешний вид иероглифа не содержит никаких указаний на его чтение, проблема тождества должна решаться особо [3]. Тождество слогов, обозначенных одним и тем же иероглифом, очевидно, но для того чтобы судить о тождестве слогов, обозначенных разными иероглифами, нужны дополнительные свидетельства. Адекватная реконструкция фонетики языка с иероглифической письменностью — это реконструкция, которая различает звуки, различаемые самими носителями языка, а не те звуки, которые воспринимали создатели транскрипции. Она возможна только при условии дополнительных внутренних указаний о чтении иероглифов.

Это значит, что реконструкция фонетики языка, пользующегося иероглификой, должна основываться на двух видах источников. Внутренние источники дол-

[1] См. об этом: Н. И. Конрад, О тангутском языке и тангутской письменности (К выходу из печати «Тангутской филологии» Н. А. Невского), ВЯ, 1961, 3.

[2] Выражение «чтение иероглифа» здесь используется вместо более точного и громоздкого «произношение лингвистической единицы, передаваемой иероглифом».

[3] Такого рода указания могут быть выявлены только в результате специального исследования, которому должна предшествовать фонетическая реконструкция.

жны указывать группы одинаково произносимых, но различных по значению иероглифов. Внешние источники должны представлять собой иноязычные транскрипции иероглифов. Ни одному из двух видов источников нельзя отдать предпочтение. Таким образом, общая процедура реконструкции фонетики языка с иероглифической письменностью должна состоять из двух последовательных этапов: установление различий во внутренних источниках, а затем их фонетическая интерпретация на основании иноязычных транскрипций.

Должным образом оценивая значение внутренних источников при реконструкции, Т. Нисида в предисловии пишет по поводу своих ранних работ следующее: «Основная мысль, которую я проводил в указанных выше работах, такова: иноязычные транскрипции и Гомофоны могут служить достаточным основанием для отрывочной реконструкции, но для реконструкции фонологической системы тангутского языка в целом этого материала недостаточно. Однако реконструкция станет вполне возможной в том случае, если привлечь данные Вэньхая и Вэньхай бао юня» (стр. IX).

Единственным внутренним источником, доступным Т. Нисиде, были Гомофоны, представляющие собой словарь, где слоги тангутского языка расположены по начальным согласным. Гомофоны делятся на девять разделов, причем каждый содержит слоги, начинающиеся с согласного, принадлежащего соответствующему инициальному классу. На нынешнем уровне исследований структура разделов Гомофонов остается не вполне ясной.

Среди внутренних источников наибольшее значение для реконструкции тангутской фонетики имеют Вэньхай с Вэньхай Цза лэем и Фонетические таблицы, потому что они обладают более ясной структурой. Кроме того, Вэньхай и Вэньхай Цза лэй содержат фаньце, которыми снабжены все группы или отдельные иероглифы, содержащиеся в этих словарях, однако этими источниками Т. Нисида не располагал.

«Тангутская филология» позволила получить более подробные сведения о Вэньхае по сравнению с теми, которые давала статья Н. А. Невского о тангутских словарях, опубликованная в 30-е годы. Т. Нисида реконструирует фонетику тангутского языка на основании Гомофонов и указаний Н. А. Невского на принадлежность иероглифов к рифмам Вэньхая.

На основании Гомофонов Т. Нисида делит иноязычные транскрипции на девять классов в зависимости от принадлежности транскрибируемых иероглифов к соответствующим разделам. Проанализировав начальные согласные транскрибирующих слогов каждого класса, Т. Нисида получил возможность судить о консонантизме тангутского языка в период создания транскрипции. Однако при этом утверждается только существование некоторого множества согласных. Начальные согласные слогов отдельных групп, образующих раздел, реконструируются только в том случае, если хотя бы один из иероглифов группы имеет иноязычную транскрипцию. Поэтому, несмотря на то, что состав консонантизма известен автору, значительное число групп остается не реконструированным, потому что внутренняя структура разделов Гомофонов до сих пор не ясна, а чтений по фаньце, которые позволяют реконструировать группу без транскрипций, Гомофоны не имеют.

Для того чтобы получить представление о Вэньхае, Т. Нисида сгруппировал тангутские иероглифы на основании указаний о принадлежности иероглифов к рифмам в словаре Н. А. Невского. Так были получены рифмы, т. е. классы односложных морфем, по поводу которых было известно, что эти слоги имеют одинаковую вокалическую часть[4]. Но они не могли заменить самого Вэньхая, во-первых, потому что указания на принадлежность к рифме имеют не все иероглифы, а во-вторых, потому что рифма Вэньхая характеризуется специальной структурой, которая не получила отражения в словаре Н. А. Невского.

Таким образом, Т. Нисида не мог полностью выполнить требование первого этапа логической процедуры реконструкции. Различия между группами иероглифов во внутренних источниках ему удалось учесть в минимальном объеме. В связи с этим, естественно, круг проблем, которые Т. Нисида разрабатывал, оказался довольно узким, а некоторые важные проблемы реконструкции фонетики тангутского языка (проблема тонов, медиалей и т. п.) вообще не могли быть поставлены из-за отсутствия соответствующего материала. И самое главное, он не получил возможности провести полную частную реконструкцию, т. е. реконструкцию групп и отдельных иероглифов, различаемых во внутренних источниках. Он мог предложить реконструкцию только тех групп и иероглифов, которые имели иноязычные транскрипции.

Система тангутских согласных излагается в первой части Фонетических таблиц. Эта часть Фонетических таблиц составлена в точности по образцу китайских таблиц, причем составители находят в своем родном языке столько же согласных, сколько и в китайском. Т. Нисида совершенно справедливо сомневается, было ли в действительности такое точ-

[4] Согласно китайской фонологической традиции, в вокалическую часть слога входит также и конечный согласный.

ное совпадение тангутского консонантизма с китайским. На основании иноязычных транскрипций он показывает, что в первой части Фонетических таблиц не учитываются полуносовые смычные сонанты *mb*, *nd*, *ng*, *nts*, *ntś* и неносовые ликвидные *ł* и *lh*.

Т. Нисида успешно справился с этой частью реконструкции: не имея в своем распоряжении тангутских фаньце, он сумел реконструировать тангутский консонантизм и получить решение, почти полностью согласующееся с данными внутренних источников.

Иное впечатление производят в книге те места раздела консонантизма, где говорится о стечениях начальных согласных.

Проблема стечений начальных согласных в тангутском языке имеет свою историю. В 1931 г. С. Вольфенден выдвинул гипотезу относительно наличия в тангутском языке стечений согласных в начале слога, как это имеет место во многих синитических языках; позднее, он привел дополнительно еще несколько доказательств [5]. Один из основных фактов, подтверждающих эту гипотезу, он видел в биномах китайской транскрипции тангутских иероглифов. Здесь необходимо сделать небольшое отступление в область китайской транскрипции.

В средневековом Китае существовала хорошо разработанная система транскрипций иностранных языков. При этом основные закономерности китайской транскрипции оставались в силе независимо от того, какой язык транскрибируется. Поэтому было бы справедливым считать, что транскрипция тангутских иероглифов является частным случаем применения китайской транскрипции. Слог иностранного языка мог передаваться в китайской транскрипции одним или двумя иероглифами. Последний способ транскрипции получил название биномной. Биномы в китайской транскрипции иностранных языков встречаются постоянно. Имеются два типа биномов — биномы типа эрхэ и биномы типа фаньце. Биномы типа эрхэ служат для передачи иноязычных слогов со стечением согласных в начале слога, которое было невозможно в среднекитайском языке. В этом случае начальный согласный первого слога совпадает с первым согласным транскрибируемого стечения, а второй слог обозначает второй согласный транскрибируемого стечения и вокалическую часть транскрибируемого слога. Биномы типа фаньце служат для передачи слогов без стечения согласных: согласный первого слога совпадает с согласным транскрибируемого, а вокалическая часть второго — с его вокалической частью. Биномы этого типа встречаются в тех случаях, когда в транскрибируемом слоге встречаются дистрибутивно не соединимые в среднекитайском языке гласный и согласный. Обычно в китайской транскрипции при каждом биноме имеется особая помета, предписывающая читать его как эрхэ или как фаньце. Особенностью имеющейся в наличии китайской транскрипции тангутских иероглифов является то, что здесь биномы помет не имеют. Это обстоятельство существенно затрудняет их трактовку.

В систему китайской транскрипции иностранных языков входят также диакритические знаки, относящиеся к одному из элементов транскрибирующего слога. Диакритики могут относиться к начальному элементу слога или к его медиали.

Основная масса китайских биномных транскрипций тангутских иероглифов состоит из биномов с начальным 尼, которые называются биномами типа 尼卒. А. А. Драгунов, сравнив китайскую транскрипцию тангутских иероглифов этого типа с соответствующей тибетской, обнаружил, что начальный элемент 尼 обозначает назализацию последующего согласного [6]. Следовательно, биномы типа 尼卒 следует читать как бином типа эрхэ. Однако А. А. Драгунов оставил открытым вопрос относительно способа чтения остальных биномов. С. Вольфенден без колебаний распространил результаты, полученные при исследовании биномов указанного типа, на все остальные случаи биномной транскрипции, несмотря на то, что тибетская транскрипция в этих случаях стечения согласных не отмечает. Это обстоятельство имеет особо важное значение, потому что тибетская письменность располагает широкими возможностями для передачи стечений начальных согласных. Однако в те годы, когда тангутские фаньце, являющиеся основой реконструкции начальных согласных, еще не были исследованы, такая точка зрения имела право на существование: несходство двух разных транскрипций могло быть объяснено различными внешними причинами.

В трактовке биномов китайской транскрипции Т. Нисида последовал за С. Вольфенденом: все биномы он трактует как биномы типа эрхэ.

Стечения согласных, как и простые согласные, Т. Нисида реконструирует на основании так называемых формул реконструкции. Формула реконструкции ука-

[5] См.: S. N. Wolfenden, On the Tibetan transcriptions of Si-Hia words, JRAS, I, 1931; его же, On the prefixes and consonantal finals of Si-Hia as evidenced by their Chinese and Tibetan transcriptions, JRAS, IV, 1934.

[6] A. Dragunov, Binoms of the type 尼卒 in the Tangut-Chinese dictionary, ДАН СССР, B, 1929, 8.

зывает на явления транскрипции, которые соответствуют определенной фонетической единице тангутского языка. Бросается в глаза простота и однозначность формул при реконструкции простых начальных согласных и их сложность и неоднозначность при реконструкции стечений. При формулах такого рода имеется значительное количество толкований только для данного случая. При этом иногда, чтобы выйти из положения, Т. Нисида вводит дополнительную гипотезу о наличии комбинаторных изменений начальных согласных, которая специально не оговаривается и не развивается на других примерах.

Проблема стечений согласных в начале слога, как и вообще проблема консонантизма, может быть решена только на основании тангутских фаньце.

Все группы и отдельные иероглифы Вэньхая и Вэньхай Цза лэя имеют чтение по фаньце. Первые знаки фаньце образуют цепи по принципу: начальный согласный слога, обозначенного иероглифом А, описывается слогом, обозначенным иероглифом В, начальный согласный слога В описывается иероглифом С, а его начальный согласный — снова через А (т. е. А → В → С → А).

К сожалению, раздел восходящего тона Вэньхая утерян. Мы располагаем лишь некоторыми фаньце знаков этого тона, сохранившихся в рукописном словаре без названия. Поэтому когда в цепи встречается первый знак фаньце, принадлежащий восходящему тону, цепь, как правило, обрывается.

Первые знаки фаньце, образующие цепь, могут передавать один и только один начальный согласный во всех случаях употребления. Для фонетической интерпретации цепи фаньце нужно знать транскрипцию хотя бы одного знака, описываемого с помощью этой цепи. В действительности транскрипций бывает намного больше. Поэтому фонетическая интерпретация цепи проводится достаточно точно.

При этом естественно ожидать, что для описания стечений начальных согласных должны существовать специальные цепи фаньце. И это действительно так: первые знаки фаньце слогов Вэньхай Цза лэя, транскрибированных с помощью биномов типа 尼卒, образуют особые цепи.

Тангутские фаньце имеют одну чрезвычайно важную для нас особенность. Несколько забегая вперед, скажем, что рифмы тангутского языка делятся на четыре цикла: большой цикл и три малых (см. стр. 155). Начальные согласные слогов большого и двух малых циклов описываются с помощью специальных цепей фаньце, характерных для каждого из циклов. Это означает, что различия между циклами заключались не только в вокализме, но и в консонантизме. Поскольку порядок групп внутри рифмы выдержан в порядке традиционных девяти классов тангутских согласных, остается предположить, что различие между начальными согласными разных циклов состояло в наличии какого-то дополнительного согласного, стоящего перед начальным согласным слога. При этом дополнительный согласный должен быть одинаковым для всех слогов цикла. Таким образом, в момент создания Вэньхая и Вэньхай Цза лэя слоги большого цикла характеризовались нулем дополнительного согласного, а слоги первого и второго малых циклов характеризовались некоторыми ненулевыми дополнительными согласными.

Все изложенное позволяет думать, что, если бы Т. Нисида имел в своем распоряжении тангутские фаньце, он более критически отнесся бы к гипотезе С. Вольфендена.

В тангутском языке Т. Нисида реконструирует следующие стечения согласных: *nr-*, *nh-*, *nγ-*, *ŋz-*, *ŋh-*, *tshl-*, *stsh-*, *ntśh-*, *γk-*, *vz-*, *nz-*.

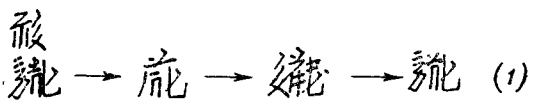
Рассмотрим стечения согласных, реконструированные Т. Нисидой, и проверим их с помощью фаньце. При этом будем исходить из следующего положения, которое нам кажется вполне естественным: если начальный согласный тангутского слога, транскрибированного биномом, описывается первым знаком фаньце, входящим в цепь, которая описывает простой согласный, то этот слог тоже имеет простую начальную согласную. Следовательно, транскрипционный бином в этом случае относится к типу фаньце.

Среди перечисленных выше стечений согласных *nh-* и *ŋh-* реконструируются на основании транскрипции одним иероглифом с диакритическим знаком. Стечение согласных *nh-* реконструируется на основании транскрипционного знака 嘿, которым передается чтение тангутских иероглифов [1] и [2]*. Стечение согласных *ŋh* реконструируется на основании транскрипции 遏輕 тангутского знака [3]. В первом случае диакритический знак 輕 Т. Нисида трактует как знак присоединения *n*, а во втором случае этот же диакритический знак он трактует как знак вставки *-h-* между начальным согласным и слогообразующим гласным этого слога. Такого рода трактовка диакритических знаков не учитывает основные принципы китайской транскрипции иностранных языков и тангутского языка, в частности.

Чтение начального согласного слога, обозначенного иероглифом [1], описывается с помощью [4], входящего в цепь

* Тангутские иероглифы даны в конце статьи.

фаньце:

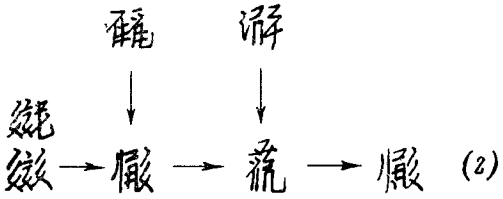


(1)

знаки которой служат для обозначения начального согласного *n*.

Фаньце иероглифа (2) неизвестно, потому что он обозначает тангутский слог, относящийся к восходящему тону.

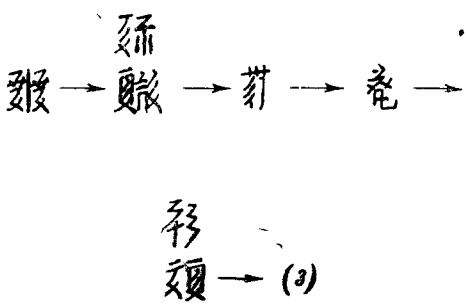
Стечение *nr*- реконструируется на основании биномных транскрипций. Бином 泥六 транскрибирует иероглифы [4] и [5]. Бином 泥綠 транскрибирует иероглиф [5]. Бином 泥浪 транскрибирует иероглиф [63]. Начальный согласный слога, обозначенного иероглифом [4], передается с помощью [6], который входит в цепь (1). Начальный согласный слога, обозначенного иероглифом [5], передается с помощью [7], входящего в цепь



(2)

знаки которой служат для обозначения полуносового начального согласного *nd*-.

Стечение *ŋ*γ-реконструируется на основании биномной транскрипции 魚骨. Бином 魚骨 транскрибирует иероглифы [8], [9], [10], [11], [12]. Начальный согласный иероглифов [8], [10], [12] передается с помощью [13], входящего в цепь

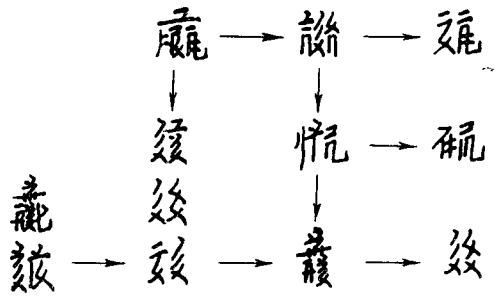


(3)

знаки которой служат для обозначения начального согласного *ŋ*.

Стечение *ŋz*- реконструируется на основе биномной транскрипции 宜則. Бином 宜則 транскрибирует иероглифы [14], [15], [16], [17], [13], [18], [19]. Начальный согласный слогов, обозначенных иероглифами [15] и [16], передается с помощью [20], который входит в цепь (3). Начальный согласный слогов, обозначенных иероглифами [13] и [18], передается с помощью [14], который тоже входит в цепь (3). Начальный согласный слога, обозначенного иероглифом [14], передается с помощью [21], входящего в ту же цепь.

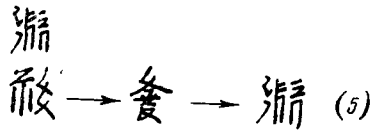
Сочетание *tshl*- реконструируется на основании бинома 妻合婁. Бином 妻合婁 транскрибирует иероглиф [22]. Начальный согласный слога, обозначенного этим иероглифом, передается с помощью [23], входящего в цепь



(4)

знаки которой служат для обозначения начального согласного *tsh*-.

Стечение *stsh*- реконструируется на основании бинома 西頃. Бином 西頃 транскрибирует иероглифы [24] и [25]. Начальный согласный слогов, обозначенных этими иероглифами, передается с помощью соответственно [26] и [27], входящих в цепь

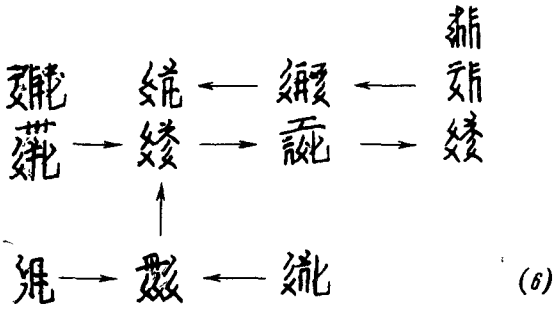


(5)

знаки которой служат для обозначения начального согласного *s*-.

Стечение γ*k*- реконструируется на основании биномов 夷格, 夷耿, 夷隔, 夷客, 夷皆. Бином 夷格 транскрибирует иероглифы [28] и [29], бином 夷耿 транскрибирует иероглифы [30], [31], [32], [28], бином 夷隔 транскрибирует иероглиф [33], бином 夷客 транскрибирует иероглиф [30], бином 夷皆 транскрибирует иероглифы [34] и [35]. Начальный согласный слогов, обозначенных иероглифами [30], [32], [34], [35], передается

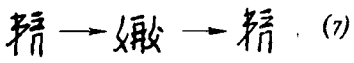
соответственно с помощью [36], [37], [38], [39], входящих в цепь



(6)

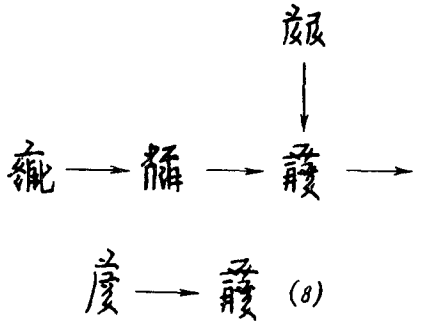
знаки которой служат для обозначения начальной гортанной смычки ʔ-.

Начальный согласный слога, обозначенного иероглифом [29], передается с помощью [40], входящего в цепь



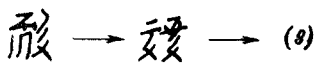
(7)

Стечение *ʁz-* реконструируется на основании биномов 哆則, 哆全, 哆責, 哆將, 哆足. Бином 哆則 транскрибирует иероглифы [41], [42], [43], [44], [45], [46], [47], [48]. Бином 哆全 транскрибирует иероглиф [49]. Бином 哆責 транскрибирует иероглиф [50]. Бином 哆足 транскрибирует иероглифы [51], [52], [53]. Бином 哆將 транскрибирует иероглиф [54]. Иероглифы [42], [44], [46], [47], [48], [51], [52], [53] относятся к восходящему тону и фаньце не имеют. Первый знак фаньце иероглифа [41] неясен. Начальные согласные слогов, обозначенных иероглифами [43], [45], [50], передаются с помощью соответственно [55], [56], [57]. При этом знак [55] входит в цепь



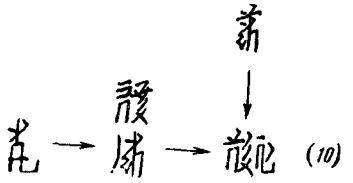
(8)

Знак [56] входит в незамкнутую цепь



(9)

Знак [51] входит в незамкнутую цепь

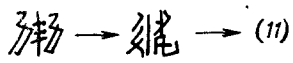


(10)

Знаки этих трех цепей служат для описания начального согласного *ż-*. Следует особо отметить, что несмотря на ссылку на китайскую транскрипцию, реконструкция этого сочетания проведена по тибетской транскрипции. Дело в том, что в китайской транскрипции 哆 никогда не употребляется для обозначения *ʁ*, а только для обозначения *ż*. С другой стороны, 則 употребляются только для передачи шумных аффрикат, но никак не сонантов. Ясно, что в основе реконструкции лежит тибетская транскрипция གཟེ་ иероглифа [42].

Приведенные выше биномные транскрипции ни в коем случае не следует рассматривать как передающие сочетания согласных в начале слога, хотя большинство их относится к транскрипции II малого цикла. Как указывалось выше, бином 哆責 транскрибирует иероглиф [50], относящийся к I малому циклу; начальный согласный слога, обозначенного этим иероглифом, описывается цепью (10), общей для слогов большого и I малого циклов.

Стечение *ňž-* реконструируется на основании биномов 日知, 日識, 日責, 日卒. Бином 日知 транскрибирует иероглиф [58], бином 日識 транскрибирует иероглиф [59], бином 日責 транскрибирует иероглиф [60], бином 日卒 транскрибирует иероглиф [61]. Фаньце иероглифов [59], [61], [60] неизвестны. Начальный согласный слог, обозначенного иероглифом [58], передается с помощью [62], входящего в незамкнутую цепь



(11)

знаки которой служат для обозначения начального согласного *z-*.

Таким образом, во всех тех случаях, где Т. Нисида реконструирует указанные выше стечения согласных, фаньце свидетельствуют о наличии простого согласного.

Т. Нисида не располагал всеми необходимыми материалами и для реконструкции тангутских медиалей. Однако представляется, что даже на основании транскрипций можно было бы достигнуть несколько бо́льших результатов. Т. Нисида реконструирует в тангутском языке две медиали: *-w-* и *-i-*.

Как китайская, так и тибетская транскрипции указывают на наличие медиалей типа *-w-* и *-i-*. Однако Т. Нисида проходит мимо одного весьма существенного момента в китайской транскрипции: китайские слоги, транскрибирующие тангутские слоги первого медиального класса, принадлежат, как правило, одному и тому же дэну. Впервые это наблюдение над китайской транскрипцией опубликовал М. Хасимото [7]. Об этом же иногда говорит и сам Т. Нисида, но не делает из этого факта никаких выводов.

О наличии в тангутском языке дэнов вокалических частей слогов, аналогичных дэнам китайского языка, свидетельствует Вэньхай и Фонетические таблицы. В первом медиальном классе рифмы Вэньхая, которому соответствует первая строка Фонетических таблиц, можно увидеть, что с точки зрения сочетания с начальным согласным все рифмы делятся на три дистрибутивных класса: рифмы, которые не сочетаются с губными щелевыми и шипящими; рифмы, которые не сочетаются с губными щелевыми и свистящими; рифмы, которые не сочетаются с губными смычными и свистящими. Эти три дистрибутивных класса легко интерпретируются на основании китайской транскрипции: первый дистрибутивный класс транскрибируется китайскими слогами первого дэна, второй дистрибутивный класс транскрибируется слогами второго дэна, третий — слогами третьего дэна. Все это означает, что в тангутском языке существовала не одна медиаль типа *-i-*, а две. Таким образом, три дэна тангутских рифм представляют собой три ступени йотации слогообразующего гласного: первый дэн — нулевая йотация, второй — слабая йотация, третий — сильная йотация.

Медиали — показатели дэна тангутские филологи рассматривают в составе системы рифм: каждая рифма характеризуется определенным дэном. Остальные медиали употребляются только в сочетании с одной из медиалей — показателей дэна. Медиаль *-w-*, реконструированная Т. Нисидой, относится к медиалям второго рода. Наряду с нею имеется также медиаль ⊓*-I-*, обладающая рядом дистрибутивных особенностей. Возможна также сложная медиаль второго рода *-IW-*.

Вэньхай и Фонетические таблицы различают 105 рифм, в последовательности которых можно обнаружить закономерности. На основании внешних источников Г. Нисида различает 22 группы рифм, характеризующихся одинаковыми гласными в иноязычных транскрипциях. Это наблюдение совершенно верно, однако закономерности расположения рифм более сложны.

При интерпретации тангутских рифм с помощью иноязычных транскрипций выявляются группы, состоящие из 7—10 рифм, характеризующихся одной и той же гласной в транскрипции. Данные иноязычных транскрипций свидетельствуют о наличии в тангутском языке гласных следующих типов: *U*, *A*, *E*, *Э*, *O*. В последовательности тангутских рифм они следуют друг за другом в указанном порядке. Такой порядок не случаен: звуковые типы следуют в порядке углубления места их артикуляции.

Ряд этих звуковых типов повторяется четыре раза. Последовательность тангутских рифм, внутри которой встретился указанный ряд типов гласных, называется циклом. Циклы рифм различны своей величиной. Первый цикл рифм был назван большим циклом, а остальные — соответственно — I, II, III малым циклами. О существовании циклов тангутских рифм свидетельствуют не только транскрипции, но также и внутренние источники реконструкции. Так, в Фонетических таблицах имеется намек на существование циклов: рифмы, приведенные в первой части Фонетических таблиц, относятся только к большому циклу. Основным доказательством цикличности структуры тангутских рифм являются фаньце.

Т. Нисида, несомненно, видел закономерности в чередовании звуковых типов внутри последовательности тангутских рифм. Однако он не различает циклы, как представляется, потому что не имеет никаких внутренних свидетельств о их наличии, полагаться же только на свидетельства транскрипций рискованно.

Одной из основных проблем, возникающих при реконструкции тангутского вокализма, является проблема дифтонгов.

Естественно предположить, что в основе китайской транскрипции лежит один из северо-западных диалектов, которые характеризуются упрощением среднекитайских дифтонгов. Этот диалект до сих пор не реконструирован, хотя для этого имеются все данные. Поэтому пока приходится довольствоваться сведениями о китайском литературном языке начала XI в., представленного в Фонетических таблицах Сыма Гуана, где дифтонги име-

---

[7] 稿本萬太郎. 文海の韻の音韻組織についてタングート語 音韻論. 言語研究, № 41, 1962, стр. 91—93.

ются. Т. Нисида обратил внимание на то обстоятельство, которое в наших «Исследованиях по фонетике тангутского языка»[8] было оставлено без внимания: китайские слоги с дифтонгом по Фонетическим таблицам Сыма Гуана не распределяются равномерно по транскрипциям слогов всех тангутских рифм, а сосредоточиваются в нескольких определенных рифмах. Это обстоятельство, видимо, не является случайным и должно рассматриваться как свидетельство наличия дифтонгов в китайском диалекте, лежащем в основе транскрипции и, следовательно, в самом тангутском языке.

Тибетская транскрипция, наоборот, свидетельствует, что в тангутском языке имеются только простые гласные. Тибетская письменность располагает возможностями для изображения дифтонгов, однако эти возможности не были использованы. Это обстоятельство также нельзя считать случайным.

Таким образом, налицо противоречие между китайской и тибетской транскрипцией в трактовке дифтонгов. Данные двух транскрипций можно примирить только в том случае, если предположить, что тангутские дифтонги в конце XII в. были настолько слабы, что чередовались с простыми гласными. В этом случае можно сказать, что между китайской и тибетской транскрипцией не существует принципиальных расхождений: просто китайская транскрипция была транскрипцией фонетической, а тибетская транскрипция — фонологической. Кстати сказать, в китайской транскрипции имеются колебания по поводу трактовки тангутских дифтонгов. Об этом свидетельствует транскрипция иероглифа [22] как 妻合婁 и как 桼合.

Т. Нисида реконструирует дифтонги; в принципе же их реконструкция не так уж важна — правда, она желательна в связи с тем, что предстоит не только реконструировать тангутский вокализм, но также и интерпретировать систему тангутских рифм. В подготовляемой нами к печати «Грамматике тангутского языка» дифтонги учитываются.

Т. Нисида реконструирует в тангутском языке четыре вида вокалических частей слога: чистые, назализованные, с конечным *-ĥ* и с конечным *-r*.

Не возникает возражений против реконструкции чистых вокалических частей тангутских слогов. Реконструкции Т. Нисиды вполне удовлетворительны, для их осуществления он располагал достаточными внешними и внутренними данными; могут быть только разные суждения по поводу обозначений.

Проблема назализованных вокалических частей слогов имеет много общего с проблемой дифтонгов. В китайской транскрипции тангутского языка встречается значительное число слогов с конечным *-n* по Фонетическим таблицам Сыма Гуана. Однако это вовсе не означает, что в диалекте, лежащем в основе китайской транскрипции, конечные *-n* сохранились, потому что во многих современных северо-западных диалектах этот конечный согласный отпал. Насколько можно судить по тангутской транскрипции китайского языка, статус назализованных вокалических частей слогов тангутского языка и назализованных слогов диалекта, лежащего в основе китайской транскрипции, был примерно одинаковым, потому что слоги всех китайских рифм, исключая рифмы 東 — 鍾, передаются с помощью одного тангутского иероглифа. Слоги рифм 東 — 鍾 передаются с помощью тангутского бинома, где начальный согласный второго слога обозначает конечный согласный транскрибируемого слога. В связи с этим обстоятельством, китайские слоги, принадлежащие указанным рифмам, в китайской транскрипции тангутского языка не встречаются.

Тибетская транскрипция обычно не передает конечного *-n*, который мы можем ожидать на основании китайской транскрипции. Это обстоятельство можно толковать двояко: либо в тангутском языке назализация отсутствовала, либо она не учитывалась в тибетской транскрипции. Противоречие между китайской и тибетской транскрипцией можно примирить только предположением, что в тангутском языке противопоставление назализованных вокалических частей неназализованным было так же иррелевантным, как и противопоставление дифтонгов — простым гласным. В связи с этим возникает вопрос — для чего в китайской транскрипции так последовательно проводится различие между назализованными и неназализованными вокалическими частями слогов? Из сравнения фактов этих двух транскрипций начинает складываться впечатление, что они передают разные состояния тангутского языка.

Т. Нисида обозначает назализацию с помощью диакритического знака ~. Представляется более удобным для практических целей пользоваться не диакритическим знаком, а просто обозначать конечный согласный *-n*.

Реконструкция конечного *-ĥ* кажется необоснованной. По словам Т. Нисиды, *-ĥ* представляет собой звонкий щелевой фарингальный, однако формула реконструкции, где содержались бы указания на факты транскрипции, из которых выводится существование этого согласного, не приводится. Транскрипции слогов тех рифм, которые реконструируются с

---

[8] М. В. Софронов, Е. И. Кычанов, Исследования по фонетике тангутского языка, М., 1963, стр. 93—98.

этим конечным согласным, не обладают каким-то общим признаком, который бы выделял их из числа рифм.

Реконструкция конечного -*r* основывается на том факте, что тибетские транскрипции тангутских слогов последних 29 рифм, т. е. слогов рифм II и III малых циклов, в большинстве случаев имеют либо надписное, либо конечное ར', между тем как транскрипции большого и I малого циклов, как правило, ни надписного, ни конечного ར' не имеют.

Наличие в тибетской транскрипции слогов указанных двух циклов, конечно, не случайно. Это явление, несомненно, должно иметь отношение к чтению иероглифов, входящих в эти два цикла. Весь вопрос заключается в том, к какой части тангутского слога относится особенность, передаваемая тибетской транскрипцией. Наличие в некоторых примерах конечного -*r* натолкнуло Т. Нисиду на мысль о том, что отличие состоит в ауслауте. Такая интерпретация -*r* не является единственной даже в том случае, если не прибегать к внутренним источникам. В самом деле, имеем ли мы право рассматривать надписное ར' как показатель конечного согласного? На этот вопрос можно дать только отрицательный ответ, потому что все тибетские надписные буквы имеют отношение только к произношению начального согласного. Таким образом, надписное *r* передает некоторую особенность начального согласного. Это соображение вполне согласуется с данными внутренних источников. Выше уже говорилось, что каждый цикл рифм характеризуется собственными цепями первых знаков фаньце. Поскольку первые знаки фаньце передают чтение начальных согласных, особенность в их чтении передавалась с помощью надписного ར'.

Интересно отметить, что китайская транскрипция никак не выделяет китайские слоги II и III малых циклов. Это обстоятельство означает, что либо признак, передаваемый надписным *r*, был фонологически иррелевантным и поэтому не учитывался в китайской транскрипции, либо в том варианте тангутского языка, который передавался в китайской транскрипции, этот признак вообще не существовал. Примечательно, что тибетская транскрипция, которая обычно передает минимум различительных признаков тангутских фонологических единиц, в данном случае акцентирует внимание на том, что отсутствует в китайской. Видимо, и это обстоятельство свидетельствует о том, что китайская и тибетская транскрипции передают разные состояния тангутского языка.

Проблема фонетической интерпретации надписного *r* не проста. Вполне вероятно, что надписное ར' читалось просто как *r* и образовывало стечение согласных в начале слога вместе с начальным согласным слога. Нельзя не учитывать, однако, и того, что в современных северо-восточных тибетских диалектах надписное *r* может произноситься несколькими разными способами в зависимости от последующего согласного[9]. Для окончательного решения этой проблемы необходимы дополнительные материалы.

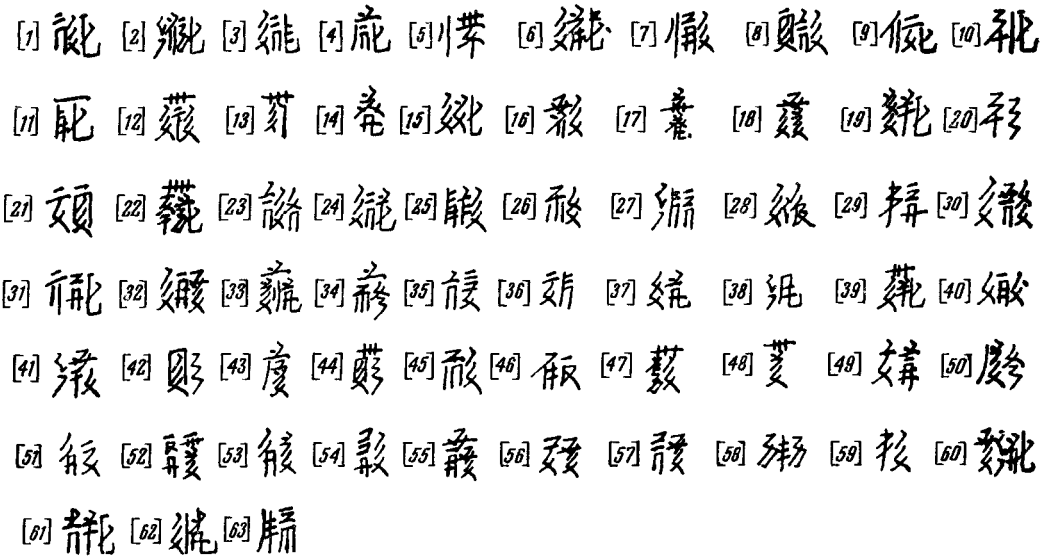
В 1963 г. была выдвинута гипотеза о наличии конечных согласных в слогах тангутского языка в период, предшествующий тому, когда были созданы транскрипции [10]. Дальнейшие исследования приносят важные подтверждения этой гипотезы. На основании китайских источников по истории государства Си-Ся известно, что тангутская письменность была введена в 1036 г. Одновременно с введением письменности, вероятно, должен быть опубликован список тангутских иероглифов. Этот список был не чем иным, как первым тангутским словарем. Поскольку в предисловии к первому изданию Гомофонов говорится о том, что Гомофоны — это первый словарь, где материал расположен по начальным согласным, можно сказать, что все остальные словари, в том числе и первый список тангутских иероглифов, были рифмическими. Достаточных оснований отождествлять Вэньхай с первым списком тангутских иероглифов нет, но допустимо утверждать, что система рифм Вэньхая не может сколько-нибудь существенно отличаться от рифм первого словаря. Таким образом, возможно предположить, что рифмы Вэньхая описывают состояние тангутского вокализма в начале XI в., а иноязычные транскрипции описывают тангутский язык конца XII в.

С введением фактора времени проблема реконструкции тангутской фонетики распадается на две: реконструкция тангутской фонетики конца XII в. и реконструкция тангутской фонетики начала XI в.

Для того чтобы реконструировать тангутскую фонетику конца XII в., имеется достаточно материалов как внешних, так и внутренних. Несмотря на то, что внутренние источники не дают точной картины тангутского языка конца XII в., они вполне пригодны для использования с соблюдением необходимых диахронических предосторожностей. Что касается тангутской фонетики начала XI в.,

[9] Minoru Go, An Eastern Tibetan dictionary and a study of the Eastern Tibetan language, Okayama, 1954, стр. LII.

[10] G. Clauson, The future of Tangut (Hsi Hsia) studies, «Asia Major», New series, XI, pt. 1, 1964, стр. 72.



то здесь дело обстоит наоборот: Вэньхай полностью отражает состояние тангутского языка в тот период, но, к сожалению, мы пока не располагаем достаточным количеством транскрипций, чтобы приняться за реконструкцию. Единственное, что нам пока остается — это внутренняя реконструкция, т. е. указание классов слогов, где должны быть представлены те или иные явления, не учтенные в транскрипции XII в.,— конечные согласные, стечение согласных и т. п.

Итак, первый том работы Т. Нисиды подводит итоги большому периоду исследований по реконструкции тангутской фонетики. Начинается новый период, который характеризуется использованием всех внутренних и внешних фактов, относящихся к фонетике тангутского языка, учетом не только синхронического, но также и диахронического плана исследования.

М. В. Софронов

К. Мирчев, Хр. Кодов. **Енински Апостол. Старобългарски паметник от XI век.** — София, Изд-во на Българската Академия на науките, 1965. 264 стр.

В 1960 г. в селе Енино, расположенном в 5 км севернее Казанлыка (Центральная Болгария), при реставрации старинной церкви была обнаружена древняя славянская рукопись. На основании тщательного палеографического и лингвистического анализа исследователи датировали ее XI в., к которому до сих пор было отнесено не более трех десятков памятников славянской письменности. Рукопись представляет собой часть Праксапостола — 39 листов апостольских чтений, сопровождаемых молитвенными текстами и богослужебными указаниями. Апостольские тексты в столь древней редакции до сих пор вообще не встречались исследователям, и это обстоятельство еще более усиливает ценность рукописи. Перечень наиболее значительных памятников древнейшей славянской письменности пополнился Енинским апостолом (Ен). Под этим названием рукопись издана известными болгарскими палеославистами К. Мирчевым и Хр. Кодовым.

Издателям пришлось затратить немало усилий, чтобы сделать обгоревшие и крайне загрязненные обрывки пергаменных листов достоянием науки. Плачевное состояние рукописи заметно по фототипическим снимкам (листы сфотографированы полностью) — сплошь и рядом совершенно невозможно разобрать, что скрывается за поблекшими очертаниями строк, в других случаях на месте слов находятся дыры, а от 11 листов из 39 вообще сохранились лишь жалкие остатки. Все, что можно было извлечь из столь дефектной рукописи, нашло отражение в публикуемом тексте; плохо различимые буквы заключены в квадратные скобки. С нашей точки зрения, следовало бы смелее вводить простейшие конъектуры, основанные на сличении текста Ен с изданными ранее апостольскими текстами XII—XIII вв.

Издатели не отказываются совершенно от этого средства, но не всегда последовательны в его использовании. Так, на л. 2а, 1—2 воспроизведено... нънаѣ.

Сопоставление с другими текстами дало бы не вызывающее сомнения [скврь]-нънаѣ. Точно так же на л. 5б, 12 вместо оу... ѣетъ следовало бы оу[кар]ѣетъ, на л. 5б, 8 — вместо ... тиемъ — завис]тиемъ. В результате эти три слова (как и многие другие) не нашли отражения в приложенном к изданию словоуказателе к Ен. С другой стороны, реконструированы и попали в словарь [въскрѣ]шение (2а, 8), на[слѣдов]ати (8б, 14—15). Опечаток в воспроизведении текста почти не заметно: только в одном месте обнаружено отсутствие выносного т в слове брат (28б, 13); немного опечаток и в греческих словах: на стр. 224 — διηγέομαε- вместо διηγέομαι, на стр. 249 — ἐλύειυ вместо λύειν.

Публикация текста сопровождается детальным анализом палеографических особенностей и орнаментации памятника. Этот анализ свидетельствует о древности рукописи; авторам, в частности, несомненно удалось доказать, что кириллический Ен является списком с глаголического оригинала (стр. 186—188).

Древность рукописи подтверждается и фонетическими чертами: правильным употреблением юсов, отсутствием йотации ѫ, ѧ и є и др. В связи с этим представляется возможным перенести в XI в. такие фонетические особенности Ен, которые обычно относились к более позднему времени: полное отсутствие ь (ранее отмечалось только в незначительных по объему листках Ундольского), отвердение согласных: цѣ > ца, ѯѣ > ѯа, дѣ > да (ранее встречалось в памятниках не старше XII в. болгарской формации и лишь один раз в Супрасльской рукописи: цасароу), а также смешение ѧ и ѣ. Во всяком случае, эти и некоторые другие фонетические черты говорят о восточноболгарском происхождении памятника.

Описание грамматических особенностей Ен проведено, к сожалению, в отрыве от других текстов апостола; многие черты, приписываемые Ен, оказываются присущими и Христинопольскому апостолу (Христ)[1] — тексту русской формации XII в. Это относится к употреблению инфинитива запрещения (не словопрѣпирати сѧ под влиянием греч. μή λογομαχεῖν — стр. 215) и дательного цели (блоудѣте же еда како властъ си ваша прѣтыканию бѫдетъ немощънымъ — стр. 218). То же относится к употреблению описательных форм будущего времени (стр. 215) и к употреблению конструкции въ + вин. падеж как отклонения от греческого текста (мир бжи да [раз]дѣъв сѧ лътеѣ срдцихъ вашихъ в неже и звани [бы]сте въ едино тѣло — ἐν ἑνὶ σώματι — стр. 221). Все эти черты характерны и для Христ и, возможно, относятся к первичному переводу апостола. С другой стороны, существенные различия между Ен и другими текстами апостола остались неотмеченными. Ср., например, I Кор, VIII, 8—9:

Ен: Брашно насъ не поставить прѣдъ бмъ. Ни бо аще не ѣмъ. лишимъ сѧ ни аще ѣмъ избѫдетъ намъ.

Христ: Брашьно же насъ не прѣдпоставить бви; ни, аще бо ѣмъ, избытъчьствоуѥмъ, ни аще не ѣмъ, лишимъ сѧ.

Ср. также Евр. X, 37:

Ен: да волею бжиею сътворше приимете обѣтование

Христ: Да волею бжьѥю приимете обѣтование

Греч: ἵνα τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ποιήσαντες...

Авторы утверждают, что в Ен употреблен твор. падеж вместо вин., что дало новый смысл (стр. 223). На самом же деле в Ен, вероятно, контаминация двух переводов: 1) да волею бжиею приимете (свободный перевод, но вполне допустимый, отнюдь не дающий «нового смысла», 2) Да волѭ бжиѭ сътворше приимете (буквальный перевод). В Ен. употреблен твор. падеж, но не убрано ставшее ввиду этого излишним сътворше. Абсолютизация Ен приводит к тому, что авторы склонны считать бессмысленным переводом искажение текста при переписке (стр. 225).

Ср. Рим, XIV, 20—21:

Ен. нѫ зло члвкꙋ прѣтыканиѣ ѣдѫщом[оу]

Христ: Нъ зъло члвкоу ѣдоущю прѣтыканиѥмь

Греч.: κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ διὰ προσκομματος ἐσθίοντι.

Христ показывает, что перевод адекватен по смыслу греческому оригиналу.

Анализируя памятник с лексической стороны, авторы приводят также слова Ен, которые отсутствуют в канонических памятниках X—XI вв., но наличествуют в апостольских текстах XII—XIII вв. Подобных слов много. Их перечень свидетельствует о том, что предубеждение против поздних списков, восходящих к текстам, составленным в кирилло-мефодиевскую эпоху, не имеет серьезных оснований и что чехословацкие палеослависты поступили правильно, включив данные этих списков в составляемый ими словарь старославянского языка[2]. Из этого явствует также, что словоуказатель Л. Садник и Р. Айтцетмюллера[3], в который не включена лексика апостольских текстов, дает далеко неполное представление о лексике древнейшего периода развития литературного языка славян. Немногие

[1] Aemilianus Kałužniacki, Actus epistolaeque apostolorum palaeoslovenice, Vindobonae, 1896.

[2] «Slovník jazyka staroslověnského», I—X, Praha, 1959—1965.

[3] L. Sadnik, R. Aitzetmüller, Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten, 's-Gravenhage, 1955.

слова, присущие исключительно Ен, относятся не к апостольским чтениям, а к примыкающим к ним молитвенным текстам и богослужебным указаниям. К сожалению, авторы специально их не выделили. Это благочинение (εὐσταθεία), съприснотекы (ἀένναος) и несколько имен собственных: Маркиѣнъ, Поулхерия, Созонтъ [кстати, в тексте имеется только род. падеж Созона 23б, 10. Почему же в обобщающей форме приведена книжная форма, а не указывающая на устную передачу Созонъ (греч. Σώζων)?], Ѳеопистъ. Абсолютизация ъ Ен сказалась также в анализе лексики и особенно фразеологии. Лексема съличие, как правильно утверждают авторы, является переводом греч. ὑπόστασις, не переводимого в канонических текстах (стр. 224). Но, по данным И. И. Срезневского, она в том же значении выступает в минее 1096 г., а в Христ встречается другой перевод слова ὑπόστασις — тѣлъствие. Не является специфической особенностью Ен перевод πορνεύειν — творити любы (стр. 224). Это обычное соответствие, встречающееся во многих памятниках древнеславянской письменности гораздо чаще, чем однословный эквивалент блоудити. Соответствие повѣсть дѣяти — διηγεῖσθαι (стр. 224) встречается в Христ и (по данным Ф. Миклошича) в кормчей Михановича. Относительно сочетания коупъ дѣяти авторы утверждают, что это эквивалент обычного для канонических памятников коупляж дѣяти (стр. 223). Но контекст (ни брака творити. ни въ пѫтъ ход[ити], ни коупа дѣяти. ни сватъвы ни иного нищ[оже] не творити. 20а, 8) не подтверждает этого мнения. Возможно, что дѣяти коупъ здесь означает «сгрудиться; сбиться в кучу» (от коупъ — cumulus), а не «совершать куплю-продажу» (от коупъ — emptio). Проверка греческим текстом невозможна, потому что фраза не относится к апостольским чтениям. Ср. значения слова коупъ и сочетания творити коупъ в словаре Ф. Миклошича (стр. 323). Замечательно, что другое сочетание из этой фразы — творити сватъбѫ — отсутствует в древнейших памятниках . Оно встречается только в русской Александрии XII в. (I, 21): *нынѣ свадбоу ти творимъ, оженихом тя Клеопатрою Едескою* в соответствии с греч. νῦν γάμον σοῖ τελοῦμεν.

Первостепенной задачей изучения Ен является его сопоставление с широким кругом памятников древнеславянской письменности и в первую очередь с позднейшими апостольскими текстами. Если евангельские тексты уже давно изучаются в этом плане (см. труды В. Ягича, Г. А. Воскресенского, В. Н. Щепкина, Й. Вайса, Й. Курца, К. Горалка, А. С. Львова, Л. П. Жуковской и других ученых), то сопоставительное изучение апостолов лишь начато Г. А. Воскресенским и Л. С. Ковтун[4]. В результате подобного сопоставления должны быть объяснены как указанные выше разночтения между Ен и Христ, так и приводимые ниже, замечательные тем, что Ен представляет непереведенные греческие лексемы, а Христ — их славянские эквиваленты:

Ен:	Христ:
скрина	ковчегъ
стамна	роучька
олтарь	жьртвьникъ
иерей	свѧтитель
архиерей	старѣишина свѧтитель
игоумены (вин. мн.)	вожа (вин. мн.)

Ен, как всякий уникальный памятник древней письменности, будет отныне постоянным источником научных гипотез и обобщений, а слависты всех стран мира всегда будут признательны своим болгарским коллегам, подготовившим превосходное издание этой замечательной рукописи.

М. М. Копыленко

[4] Г. Воскресенский, Древнеславянский Апостол, Сергиев Посад, 1892—1908; Л. С. Ковтун, Русская лексикография эпохи средневековья М.— Л., 1963, стр. 268—314.

М. А. Коростовцев. **Введение в египетскую филологию.** — М., Изд-во вост. лит-ры, 1963. 280 стр.

В русской египтологической науке давно уже возникла необходимость в обобщающем исследовании, которое охватывало бы достижения отечественной и зарубежной египтологии в такой ее наиболее сложной области, как филология. Со времени гениального открытия Ж. Ф. Шампольона наука овладела многими тайнами египетского языка. Была проделана огромная работа по собиранию текстов, их изучению, филологическому анализу. В результате египтология получила берлинский «Словарь египетского языка», а также грамматики, охватывающие все периоды истории языка; появилось множество исследований, статей, заметок по самым различным вопросам теории египетского языка.

«Введение в египетскую филологию», посвященное важнейшим проблемам египетской филологии, вводит в самую суть новых проблем и достижений в об-

ласти изучения египетского языка и помогает ориентироваться в многочисленной египтологической литературе.

В главе I «Египетский язык и его место среди других языков» М. А. Коростовцев возражает против термина «древнеегипетский язык», ибо «определение „древний" создает впечатление, что речь идет о древней стадии живого современного языка» (стр. 3). Египетский язык не имеет своего нового этапа развития; даже его позднейшая ветвь — коптский язык — тоже мертв. Исследователю, таким образом, приходится иметь дело с «мертвыми» стадиями египетского языка — с языком эпохи Древнего Царства, среднеегипетским классическим языком, с новоегипетским (языком эпохи Нового Царства), демотическим и коптским языками (последний пользовался греческим алфавитом с некоторыми знаками, заимствованными из демотического письма) [1]. Автор книги предлагает «определить египетский язык как язык древнего, языческого, дохристианского Египта» (стр. 4). Язык же современного Египта — арабский, точнее — египетский диалект арабского языка.

По вопросу о родстве египетского языка с другими языками в книге приводится обширный материал — от фантастических измышлений, господствовавших в «дошампольоновскую» эпоху, до серьезных научных теорий. Отмечая попытки исследователей сблизить египетский язык с языками индоевропейской семьи, а также с кавказскими языками, этрусским, океанскими и южноамериканскими, М. А. Коростовцев указывает, что эти попытки пока еще не дали положительных результатов (стр. 17).

Исходя из проанализированного им фонетического, лексического и грамматического материала, автор делает общий вывод, что «египетский язык следует рассматривать как один из языков семито-хамитской группы. Вместе со своим потомком коптским языком он составляет в ней самостоятельную подгруппу» (стр. 17).

Некоторые исследователи (например, Ф. О. Олбрайт) утверждали, что египетский язык следует относить только к семитским языкам. Действительно, в области фонетики и морфологии можно найти много общих точек соприкосновения египетского языка с семитскими. Однако некоторые грамматические формы (египетский «старый» перфект, аккадский пермансив, арабский перфект), несмотря на фонетическое и морфологическое сходство, имеют совершенно разные грамматические функции. В отличие от семитских языков в египетском языке отсутствует префиксальное спряжение, столь характерное для первых. Весьма показательно, что египетский язык имеет систему глаголов, независимую от семитских языков. Все это дает достаточные основания для вывода: «египетский язык не может быть отнесен к языкам собственно семитским» (стр. 13). В то же время египетский язык обнаруживает сходство с ливийско-берберскими и кушитскими языками (туарегским, берберским, беджа) и с целым рядом африканских языков.

Родство египетского языка с семитскими и хамитскими языками оправдано исторически. Древний Египет, древнейшее государство Африки, был ареной действия африканских, азиатских и иных сил на протяжении веков [2]; такая историческая ситуация, конечно, не могла не наложить отпечаток на египетский язык.

В главе II («Письмо»), посвященной письму древнего Египта, можно найти самые разнообразные сведения, начиная от описания материала, на котором писали древние египтяне (камень, дерево, остраконы, папирус и т. д.), до анализа чрезвычайно интересных вопросов, связанных с египетским алфавитом. Обстоятельно изложен материал о египетском иероглифическом письме, причем воспроизведена классификация иероглифов, помещенная в грамматике А. Гардинера [3].

Автор прослеживает историю иероглифического письма от пиктографии до алфавитных графем — 24 однозвучных фонограмм для согласных звуков. Египетская система письма, как в семитских языках, не отмечает гласных. В этих языках «согласные выражают семантику слова, его основную сущность, тогда как гласные играют служебную роль, указывая на грамматическую форму слова и меняясь в зависимости от последней. В письме, одной из начальных стадий развития которого была идеография, и в языке, в котором согласные выполняли столь важную функцию, а гласные — служебную, идеограмма при своем превращении в фонограмму на определенной стадии развития становилась сочетанием только согласных звуков. Этим и объясняется безгласность египетского письма» (стр. 48).

Попытка некоторых исследователей представить себе так называемое групповое письмо, «силлабическое», как заключающее в себе элемент вокализации, не может считаться доказанной.

Автор подчеркивает развивающийся характер иероглифической системы на протяжении веков — создание но-

[1] A. Mallon, Grammaire copte, Beyrouth, 1956, стр. 10.

[2] В этом отношении точную характеристику Египту дал крупнейший русский египтолог Б. А. Тураев (см. его книгу «Египетская литература», I, М., 1920, стр. 19).

[3] A. Gardiner, Egyptian grammar, 3. ed., London, 1957.

вых знаков, отмирание старых, появление новых форм для старых знаков. Однако это развитие не подрывало основного принципа иероглифического письма — сочетание фонограмм и идеограмм. Весьма убедителен вывод автора об энигматических надписях. Энигматика была вызвана не криптографическими соображениями, а чисто декоративными, так как отсутствие огласовки давало возможность из идеограмм создавать фонограммы, сплетая их в своеобразные ребусные надписи (см. стр. 59).

Автор дает основные сведения об иератическом и демотическом письме, развившихся на основе иероглифики и употреблявшихся в рукописях. Для понимания текстов чрезвычайно важен раздел о трудностях при чтении и понимании египетских текстов, в том числе трудностях, вызванных искажениями в текстах, которые были обусловлены сложностью и громоздкостью египетской системы письма, а также визуальными ошибками при копировании (стр. 74—76).

Автор затрагивает также вопрос о влиянии египетской системы письменности на системы письма других народов и на происхождение алфавита. Древние африканские государства Мероэ и Напата, Палестина и Финикия, остров Крит испытали на себе влияние египетского письма. Финикийский алфавит — отправная точка многих алфавитов мира[4] — тесно связан по своему происхождению с египетским письмом, однако, подчеркивает М. А. Коростовцев, «было бы ошибочным полагать, что буквы финикийского алфавита происходят непосредственно от египетских иероглифов» (стр. 83). Связующее звено между финикийским и египетским письмом автор «Введения...» видит в синайских надписях, созданных египтизированными семитами Синая, которые применили египетское письмо для своего языка.

Интересную главу о письменности древнего Египта для более глубокого понимания следовало бы иллюстрировать образцами египетской эпиграфики и палеографии, которые могут дать наглядное представление о красоте и изяществе египетского письма.

Глава III («Язык») посвящена характеристике египетского языка, начиная с его фонетики. Египетский язык мертв, и говорить о его звучании можно лишь в результате сравнительного изучения египетских слов, которые встречаются в текстах неегипетского происхождения (ассирийских, еврейских, арамейских, греческих), имеющих огласовку, а также по аналогии с коптским языком. Но и при этом, подчеркивает М. А. Коростовцев, надо помнить, что «египетская фонетика нам доступна только в графическом облике» (стр. 88). Такое напоминание предостерегает от заманчивых, но совершенно фантастических попыток огласовать египетский язык. Автор «Введения...» анализирует египетский алфавит, сопоставляя его звуки с родственными в алфавитах еврейском и арабском. Однако следует признать, что при всех сопоставлениях фонетика египетского языка остается всего лишь гипотезой.

Изложение основных проблем египетского языка дается в рецензируемой книге с учетом последних достижений египетской филологии, в свете сравнительного анализа этого языка с языками семито-хамитской группы.

В основу обзора египетской грамматики здесь положены нормы среднеегипетского классического языка (изучение его является первым этапом для начинающего египтолога). М. А. Коростовцев затрагивает важные грамматические вопросы, не получившие в науке еще должного освещения — в частности, проблему: была ли категория времени у египетского глагола. Подходя к этой проблеме в историко-языковом плане, он считает, «что уже в среднеегипетском языке появляется в самом зачаточном виде категория времени у глагола. Для выражения разных времен используются некоторые определенные формы и обороты. В новоегипетском языке тенденция тех или иных форм глагола передавать время становится (по сравнению со среднеегипетским) более ощутимой. Этот процесс в конце концов заканчивается появлением категории времени у коптского глагола» (стр. 146).

Рецензируемая книга знакомит читателя с основными понятиями сложной и малоисследованной области египетского языка — с египетским синтаксисом. Анализируя своеобразную структуру египетских предложений (на основе чего выделены типы предложений), строго определенный порядок слов в предложении, смысловые оттенки, автор утверждает, что «египетский язык обладал многочисленными средствами для передачи сложных мыслей и чувств» (стр. 185); теории о «примитивности» египетского языка проистекают от недостаточного знания египетского синтаксиса.

Глава IV («Очерк истории языка») посвящена истории языка. Древний Египет имел свой разговорный и литературный письменный язык. Вопрос об их взаимодействии сложен, потому что памятников разговорного языка до нас почти не дошло. Можно определенно сказать только то, что «падение Древнего Царства и социально-политические сдвиги, последовавшие за этим, вызвали к

[4] См. об этом: Zv. Kulundžić, Knjiga o knjizi, I — Historija pisama, Zagreb, 1957, tabl. XXIX (приложение).

жизни среднеегипетский письменный язык. Эпоха Амарны способствовала превращению разговорного языка в письменный новоегипетский, а распространение христианства сделало разговорный коптский язык письменным языком христианского Египта. Победа ислама над христианством привела сначала к вытеснению, а потом и полному забвению коптского» (стр. 194). Вопрос о диалектах египетского языка может быть решен лишь косвенно, по отдаленной аналогии с коптским языком.

Во «Введении...» анализируется каждый отдельный период развития египетского языка, при этом выявляются их особенности. Специальный раздел посвящен коптскому языку. Чрезвычайно любопытны экскурсы автора, касающиеся наличия египетских слов в европейских языках, попавших через посредство коптского и арабского языков (стр. 222—223).

Изучение истории египетского языка раскрывает долгий путь развития языка от преобладания элементов синтеза к аналитическому строю; при этом среди особенностей египетского языка наиболее отчетливо выделяются черты архаизма. По мнению М. А. Коростовцева, архаизм проявляется «в некоторых особенностях его структуры», а именно — не существует оформления для выражения косвенной речи; отсутствие союзов и служебных слов влечет за собой нечеткую координацию слов и предложений; выявляется также склонность к именным предложениям и оборотам, стойкость порядка слов в предложении и недопустимость перестановки частей предложения. Полного объяснения подобных архаических черт в египетском языке наука пока еще дать не может (стр. 229—233).

Исследователь, желающий углубить тот или иной вопрос, может обратиться к великолепно составленной и расклассифицированной по разделам библиографии, приложенной в конце книги.

Весьма желательно, чтобы автор расширил свое исследование главой о древнеегипетской литературе, которая была бы прекрасным дополнением к его недавно вышедшей книге «Писцы Древнего Египта» (М., 1962). В заключение хочется сказать, что отрадно видеть в русской египтологической науке труды, посвященные египетскому языку [5], среди которых «Введение в египетскую филологию» — новый ценный вклад в науку о языке и письменности древней страны Африканского континента.

Е. Н. Максимов

[5] Н. С. Петровский, Египетский язык. Введение в иероглифику, лексику и очерк грамматики среднеегипетского языка [Л.], 1958; М. А. Коростовцев, Египетский язык, М., 1961.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4. 1966

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Сравнительно недавно появилась роскошно иллюстрированная книга В. А. Истрина «Возникновение и развитие письма» (М., Изд-во «Наука», 1965, 599 стр.). Разрешите мне — историку, не лингвисту — сказать несколько слов о некоторых разделах главы IX «Возникновение и развитие славяно-русского письма. Системы письма народов СССР» этой книги. Я отнюдь не берусь оценивать книгу в целом — но, может быть, спор по поводу одной этой главы в какой-то мере оправдан тем обстоятельством, что именно эта проблематика — предмет специальных интересов В. А. Истрина, выпустившего в 1963 г. исследование «1100 лет славянской азбуки» (кстати сказать, гл. IX целыми абзацами повторяет это исследование — но оставим это в стороне).

Итак, о трактовке кирилло-мефодиевской проблематики в этой главе. Увы, она не может не породить известные сомнения и возражения. Начну с литературы вопроса. Среди появившихся в последние годы работ по этой проблеме наиболее крупные, на мой взгляд, две: P. Meyvaert, P. Devos, Trois énigmes cyrillo-méthodiennes de la «Légende italique» («Analecta Bollandiana», 73, 1955) и И. Гошев, Старобългарски глаголически и кирилски надписи от IX и X вв. (София, 1961). Ни та, ни другая работа не использованы В. А. Истриным. А ведь работа Мейвэрта и Дево— переворот в наших представлениях об источниковедческой базе кирилло-мефодиевской проблемы! На основании новой рукописи авторам удалось установить, что источник «Итальянской легенды» возник не в XI в. (как по традиции продолжает датировать его В. А. Истрин), а не позднее 882 г. Им удалось установить также существование греческой реляции самого Константина о поездке в Херсон (кстати сказать, это хорошо объясняет отмеченные И. Дуйчевым факты, говорящие о том, что отдельные пассажи «Паннонской легенды» переведены с греческого). Незнакомство с указанной работой тем более досадно, что о ней русскому читателю должно быть известно (см. ВИ, 1962, 9, стр. 184).

Что касается книги И. Гошева, то ее В. А. Истрин упоминает в одном из примечаний как оставшуюся ему недоступной до корректуры. Неиспользование работы И. Гошева тем более обидно, что в ней солидно аргументирована точка зрения на соотношение кириллицы и глаголицы, прямо противоположная взглядам В. А. Истрина (о взглядах И. Гошева см.: С. А. Никитин, Происхождение славянской письменности, «Краткие сообщения Ин-та славяноведения АН СССР», 39, 1963).

Так обстоит дело с литературой. А как с источниками? Позволю себе привести только один пример. На стр. 456 В. А. Истрин приводит со ссылкой на О. Бодянского (работу столетней давности!) свидетельство «одного греческого источника» о том, что император Василий «Македонец» (sic!) послал в 866 г. архиепископа, который крестил русских. Оставим в стороне то, что Василий Македонянин правил с 867 г.,— что это за «один греческий источник»? Обращаемся к Бодянскому и узнаем, что имеется в виду поздняя легенда, автор которой, по словам Бодянского, «не силен в истории и путает времена, лица и события». И таким источником оперирует В. А. Истрин для решения вопроса принципиальной важности.

В чем же состоит, по В. А. Истрину, решение кирилло-мефодиевского вопроса, т. е. вопроса о происхождении славянской азбуки? В. А. Истрин постулирует существование протокирилловского письма у славян как несомненный факт (стр. 451) и относит его возникновение к VII—VIII вв. Он считает также возможным возникновение и протоглаголического письма (стр. 457), хотя — надо отдать ему должное — он вполне критически относится к попыткам Н. А. Константинова, Н. В. Энговатова и И. А. Фигуровского воспроизвести протоглаголический алфавит [как забавный курьез отмечу, что в недавно вышедшей книге Н. А. Павленко «Краткий очерк истории письма» (Минск, 1965, стр. 151 и сл.) В. А. Истрину приписано признание протоглаголического письма тоже в качестве несомненного факта,— но, разумеется, за это он не должен нести ответственности].

Итак, протоглаголическое письмо — гипотеза, а протокирилловское — факт.

Какие аргументы? Простите, никаких. Никаких, если не считать известного рассказа «Паннонской легенды» о евангелии и псалтыри, писанных русскими письменами. Хотя дискуссионность этого сообщения известна В. А. Истрину, он все-таки пользуется им как бесспорным.

Конечно, вполне вероятно, что у славян (в том числе и у восточных славян) до Кирилла были какие-то знаки для письма типа знаменитых «черт и резов». Но предположить, что в середине IX в. у восточных славян имелись христианские богослужебные книги, писанные своей азбукой,— в то самое время, когда Русь впервые подошла к Константинополю и Фотий писал о ней как о народе неизвестном — для этого надо обладать большой смелостью. «Паннонская легенда» — во всяком случае в рассказе о поездке в Херсон — опирается, скорее всего, на реляцию самого Константина. Одна из ее главнейших идей — создание Кириллом и Мефодием лавянской азбуки и перевод на славянский язык Писания. Известие о русских богослужебных книгах в Херсоне (если, действительно, имеются в виду восточнославяские книги) противоречит пафосу «Паннонской легенды». Кстати сказать, лингвистические возражения, выдвинутые в свое время А. С. Львовым (А. С. Львов, Старославянское *кънигы-боукъвы*, «Краткие сообщения Ин-та славяноведения АН СССР», 28, 1960, стр. 69), пока еще не опровергнуты.

В кратком письме не место пересматривать этот большой вопрос. Я протестую не против того, что В. А. Истрин придерживается этой точки зрения,— только против того, что он выдает ее за бесспорную, за несомненный факт.

Все, что мы до сих пор знаем, свидетельствует, что Кирилл и Мефодий были создателями славянской азбуки. Никаких славянских надписей до конца IX в. нет. Даже в Болгарии, наиболее передовом по тем временам славянском государстве, надписи середины IX в.— греческие. Обследование древнейших сохранившихся надписей привело И. Гошева (указ. соч., стр. 113 и сл.) к выводу, что созданная солунскими братьями азбука была «грекоглаголической», т. е. содержала наряду с заимствованными из греческого алфавита знаками 14 глаголических букв. Протокирилловская азбука, как и протоглаголическая — отнюдь не факт, а в лучшем случае — гипотеза, как и представление В. А. Истрина, будто кириллица возникла раньше глаголицы и что глаголица была создана учениками Мефодия в Моравии как искусственная азбука на базе кириллицы.

Призывом строго отличать научный факт от предположения (как бы дорого оно ни было автору) мне и хочется закончить это письмо.

А. П. Каждан

В журнале «Вопросы языкознания» (1965, 4) в разделе «Письма в редакцию» помещена статья Л. Ф. Пичурина «К вопросу о применении математики в языкознании». Автор этой статьи разъясняет читателю элементарные истины из области математической статистики и обращает внимание на вред авторских ошибок и опечаток. В заключение он выражает особенную досаду по поводу того, что «...математическая лингвистика, представляющая в умелых руках мощное орудие исследования, компрометируется и при таком количестве огрехов начинает казаться числовой эквилибристикой» (стр. 120).

Пишущий эти строки, не ставя перед собой цели анализировать полностью содержание статьи Л. Ф. Пичурина, вынужден заметить, что ее автор, иллюстрируя «явные промахи» (стр. 119) и «многочисленные небрежности в оформлении работ» (стр. 120), не придерживается фактов. Так, желая показать, что в моей статье «О некоторых статистических закономерностях в русской письменной речи» (ВЯ, 1962, 1) не следовало ставить знак «минус» перед числовым значением параметра c. Л. Ф. Пичурин предварительно «подправляет» текст этой статьи, а затем истолковывает знак «тире» как знак «минус». В моей статье была фраза: «Значения параметров c и k... оказались равными: для словофором — $c = 0{,}05357$, $k = 0{,}4464$; для основ слов $-c = 0{,}07057$, $k = 0{,}4844$» (стр. 100). У Л. Ф. Пичурина числовые значения параметров c и k были переставлены вместе со знаком «тире» перед символом c. В результате получилось: $k = 0{,}4464$ и $-c = 0{,}05357$ (ВЯ, 1965, 4, стр. 120). Если уж быть последовательным в искажении первоначального текста моей статьи, то числовые значения параметров c и k нужно было записать так: $k = 0{,}4464$ и $-c = 0{,}05357$.

Неосновательны и намеки Л. Ф. Пичурина на сомнительную точность упомянутых числовых значений параметров. При этом его не смутило то обстоятельство, что значения параметров были получены в результате статистической обработки выборки большого объема и что речь идет не об «интегральном законе распределения словоформ», а об аналитическом выражении, аппроксимирующем распределение выборки.

Г. Г. Белоногов

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1966

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ЯЗЫКОЗНАНИЕ В ТАТАРИИ

Научно-исследовательская работа по языкознанию в Татарии ведется сотрудниками сектора языка Казанского ин-та языка, литературы и истории АН СССР, преподавателями кафедры языка КГУ им. В. И. Ульянова-Ленина и Казанского пед. ин-та.

Сектор языка КИЯЛИ АН СССР в 1965 г. выпустил на татарском языке учебное пособие для студентов вузов и учителей средних школ «Современный татарский литературный язык (лексика, фонетика, орфоэпия, графика и орфография, морфология)», написанное коллективом авторов. Завершена коллективная монография «Татарский язык», излагающая на русском языке фонетику, лексику и грамматику современного татарского языка с учетом результатов исследований последних лет. В подготовке монографии приняли участие в основном сотрудники КИЯЛИ, а также преподаватели КГУ и КГПИ.

По-новому освещаются многие вопросы грамматики в выпущенной издательством КГУ книге Д. Г. Тумашевой «Морфология современного татарского языка» (1964, на татар. яз.).

В 1963 г. опубликована подготовленная в КИЯЛИ книга Ф. А. Ганиева «Видовая характеристика глаголов татарского языка (Проблема глагольного вида в татарском языке)»; в том же году в издательстве КГУ вышла книга Б. А. Серебренникова «Система времен татарского глагола».

Одной из самых крупных монографий, выполненных на кафедре татарского языка КГУ, является работа М. З. Закиева «Синтаксический строй татарского языка» (Казань, 1963), защищенная им в 1963 г. в качестве докторской диссертации. По синтаксису защищена также канд. диссерт. С. М. Ибрагимова (КГУ) на тему «Аналитические конструкции в татарском языке», которая в 1964 г. вышла отдельной книгой. Сейчас С. М. Ибрагимов работает над темой «Синтаксическая синонимика татарского языка».

На кафедре татарского языка КГПИ М. А. Сагитов, защитивший канд. диссерт. на тему «Структурно-семантические типы безличных предложений в современном татарском литературном языке» в 1964 г., приступил к разработке вопросов исторического синтаксиса татарского литературного языка.

Х. Р. Курбатовым в КИЯЛИ завершена в 1965 г. монография «Грамматическая стилистика татарского языка»; в издательстве КГУ опубликованы «Введение в стилистику татарского языка» В. Х. Хакова (1963) и другая его книга, органически связанная с первой, «Очерки по истории татарского литературного языка» (1965). В. Х. Хаков и сейчас продолжает разрабатывать тему «Образование и развитие татарского национального литературного языка».

Канд. филол. наук Р. Ф. Шакирова под руководством проф. В. Г. Гинзбурга подготовила к печати монографию «Рентгенограммы звуков татарского языка». Сейчас она работает над проблемой стилистики татарского языка (язык и стиль произведений Г. Ибрагимова).

«Очерки по исторической морфологии татарского языка» подготовлены к печати в КИЯЛИ Л. З. Заляем. Лекционный курс по истории татарского литературного языка в КГПИ разрабатывает А. Г. Ишмуратов. В 1965 г. В. Н. Хангильдиным закончена работа «Культура татарской речи» (на татар. яз.).

В 1965 г. опубликован на татарском языке сб. «Татарский язык и литература» (под ред. Н. Б. Бургановой и Н. Г. Гизатулина), вып. 3, который содержит статьи молодых сотрудников КИЯЛИ по исторической грамматике, стилистике, диалектологии татарского языка. В 1964 г. издательством КГУ выпущен сб. «Проблемы тюркологии и истории востоковедения», в 1965 г.— «Вопросы татарского языкознания», кн. 2 (под ред. проф. М. З. Закиева), посвященные вопросам морфологии, синтаксиса, истории изучения татарского языка и т. д. Подготовленный коллективом КГПИ сб. «Вопросы татарского языка и литературы» (на татар. яз.) вышел в двух выпусках — в 1963 и 1965 гг.

Закончены работы И. А. Абдуллина «Г. Камал — мастер слова», Г. Х. Ахунзянова «Лингвистический анализ пословиц татарского языка».

Институт языка, литературы и истории уделяет большое внимание изучению и публикации научного наследия таких татарских языковедов, как Г. Алпаров, Х. Бадыгов, Дж. Валиди, Г. Шараф и др., труды которых ныне стали библиографической редкостью. К настоящему времени подготовлены по сборнику избранных трудов каждого из указанных языковедов. Разработкой принципов текстологии и транскрипции для издания памятников старотатарского языка и литературы занят Ф. С. Фасеев. Библиография по татарскому языкознанию составляется Г. К. Якуповой.

Интенсивная работа ведется в КИЯЛИ в области татарской лексикологии и лексикографии. К. С. Сабиров подготовил к печати монографию «Лексикология современного татарского языка» (на татар. яз.).

Продолжается работа по составлению и подготовке к печати словарей. «Татарско-русский словарь», принятый к печати издательством «Советская энциклопедия», содержит около 35 тысяч слов, а также богатый фразеологический материал современного татарского литературного языка; он выгодно отличается от ранее вышедших татарско-русских словарей как широтой охваченного лексического материала, так и полнотой словарных статей.

Сотрудники лексикографической группы КИЯЛИ, продолжая традиции К. Насырова и Дж. Валиди, ведут работу по составлению толкового словаря современного татарского литературного языка, который предполагается издать в двух томах. К концу 1965 г. завершено составление I тома, включающего буквы *А — К*. Авторский коллектив работает на основе «Инструкции по составлению Толкового словаря современного татарского литературного языка» (Казань, 1964, на татар. яз.) и богатого картотечного фонда. Словарь охватит все основное лексическое богатство татарского языка. В 1965 г. авторский коллектив приступил к составлению II тома толкового словаря. Завершение работы намечено на 1968 г.

В 1963 г. был издан «Русско-татарский словарь технических терминов» (составители А. К. Тимергалин, М. С. Галеев), подготовлен также коллективом авторов «Русско-татарский словарь сельскохозяйственных терминов». Изучением философской терминологии татарского языка занимается З. М. Валиуллина (КГПИ).

Сданы в издательство «Русско-татарский словарь для школьников» (составитель М. И. Махмутов) и однотомный «Русско-татарский словарь», составленный коллективом языковедов КИЯЛИ на базе словника «Словаря русского языка» С. И. Ожегова. В 1965 г. вышел из печати «Арабско-татарско-русский словарь заимствований» (арабизмы и фарсизмы в языке татарской литературы) с приложением справочника по арабской грамматике, составленного М. И. Махмутовым.

Г. Х. Ахунзянов занят составлением «Фразеологического словаря татарского языка» (вступительная статья на русском языке). Р. Г. Ахметьянов подготовил «Краткий этимологический словарь татарского языка» и написал очерк «Этимологические основы татарского языка». В КГПИ исследованием этимологии татарского языка занимается Л. И. Яфаров. В КГУ М. Н. Нугмановым защищена канд. диссерт. «Русско-татарские словари XVII—XVIII вв.» (1964).

В области диалектологии татарского языка работа в КИЯЛИ ведется в двух направлениях — это диалектологический атлас татарского языка в двух томах и большой диалектологический словарь татарского языка.

I том атласа охватывает территорию Татарской, Марийской, Чувашской и Мордовской автономных республик, а также Рязанской, Горьковской, Кировской, Тамбовской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Куйбышевской, Волгоградской областей РСФСР, куда ежегодно снаряжались экспедиции. С 1958 г. сбор материала татарской группой диалектологов производится на основе составленной Н. Б. Бургановой «Программы по собиранию материалов для диалектологического атласа татарского языка» (Казань, 1959; на татар. яз.). В настоящее время сведения для I тома подобраны с большой полнотой. Начат сбор материалов для II тома атласа, который охватывает территорию Пермской, Курганской, Челябинской, Оренбургской и части Куйбышевской областей РСФСР, Башкирской, Удмуртской и части Татарской автономных республик[1].

Группой татарских диалектологов завершается составление большого диалектологического словаря татарского языка, наиболее полно отражающего лексику всех диалектов. При составлении словаря группа опиралась на ранее выпущенные диалектологические словари (1948, 1953, 1958) и вновь собранные лексические материалы[2]. Толкование значений слов в словаре дается на татарском и русском языках.

---

[1] См. об этом: «Вопросы диалектологии тюркских языков», Казань, 1960, стр. 62.

[2] Вновь собранные данные по диалектам татарского языка обобщены в сб. «Материалы по татарской диалектологии», 2, Казань, 1962.

Диалектологи Н. Б. Бурганова, Л. Т. Махмутова и Д. Г. Тумашева подготовили очерки по татарским диалектам для коллективного труда ИЯ АН СССР «Диалекты тюркских языков СССР», созданного под руководством Е. И. Убрятовой.

Д. Г. Тумашевой (КГУ) в 1964 г. закончено экспедиционное изучение языка татар Западной Сибири. На основе собранных материалов ею подготовлена вторая книга, которая вместе с опубликованной в 1961 г. книгой «Язык западносибирских татар (грамматический очерк и словарь)» составит систематическое описание двух основных говоров диалекта сибирских татар — тоболо-иртышского (I кн.) и барабинско-томского (II кн.).

Г. Ф. Саттаров (КГУ), защитив диссертацию в 1963 г., занимается вопросами топонимики и ономастики. Им в 1965 г. опубликовано пособие для студентов на татарском языке «Микротопонимия Татарской АССР».

В период с 1963 г. по 1965 г. был защищен ряд кандидатских диссертаций по татарскому языку, его диалектологии и другим отраслям татарского языкознания[3].

В 1964 г. в Казани была проведена Всесоюзная конференция по проблеме «Взаимодействия и взаимообогащения языков народов СССР»; конференция была организована Научным советом по комплексной проблеме «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций», Институтом языкознания и Казанским ИЯЛИ АН СССР[4].

Сопоставительное изучение русского и татарского языков сосредоточено в КГПИ и КГУ. З. М. Валиуллина (КГПИ) подготовила к печати учебное пособие для студентов педагогических институтов и учителей «Сопоставительная грамматика русского и татарского языков». В КГУ готовится монография Э. М. Ахунзянова «Лексико-грамматическое освоение русских заимствований в татарском языке» и канд. диссерт. Х. Г. Агишева «Однокоренные словосочетания в русском и татарском языках»; защищена канд. диссерт. Р. А. Юналеевой «Русские говоры северо-востока Башкирии с учетом татаро-башкирского окружения» (1962).

Подготовлена к печати книга известного лексикографа Р. С. Газизова «Сопоставительная грамматика татарского и русского языков» (3-е изд.).

К 50-летию Октября группой преподавателей КГУ готовится учебник по сопоставительной грамматике русского и татарского языков.

В области русского языкознания следует прежде всего отметить работу русистов Татарии над Волго-Камским (VII) томом диалектологического атласа русского языка. Волго-Камский том составляется на основе материалов, собранных под руководством доцента КГУ Е. К. Бахмутовой, диалектологами КИЯЛИ АН СССР и кафедрой русского языка КГУ (исполнители — канд. филол. наук Л. П. Смолякова и Р. Х. Субаева и мл. научн. сотр. Н. С. Казакевич). В настоящее время составлена картотека по ведущим проблемам и 150 карт с комментариями для Волго-Камского тома; проведены контрольные экспедиционные выезды. Завершение Волго-Камского тома намечено на конец 1970 г. Сотрудники группы русской диалектологии КИЯЛИ работают также над проблемами финно-угорского субстрата в русских говорах Волго-Камья (Л. П. Смолякова), над вопросами культуры русской речи татарского населения (Р. Х. Субаева), а также над проблемой формирования русских акающих говоров Волго-Камья (Н. С. Казакевич).

В плане изучения говоров Волго-Камья ведется составление областного сло-

[3] Диссертации, подготовленные в КИЯЛИ: Ш. С. Ханбикова, Синонимы в татарском языке, Казань, 1963; Р. Р. Мингулова, Особенности Чистопольского говора татарского языка, Казань, 1963; Р. Х. Субаева, Взаимодействие русского и татарского языков в топонимике ТАССР, Казань, 1963 ; Г. Х. Ахунзянов, О стилистических особенностях образных фразеологических выражений (на материале современного татарского литературного языка), Казань, 1964. Завершены канд. диссертации Л. Ш. Арсланова «Татарские говоры правобережных районов Татарской и Чувашской АССР», И. А. Абдуллина «Язык и стиль драматических произведений Г. Камала»; М. М. Мухамадиева «Лексика и фразеология произведений Ш. Камала». Продолжается работа над диссертациями «Говор татар среднего Прикамья» (Д. Б. Рамазанова), «Словесный образ» (на материале татарской прозы последних лет) (И. Б. Баширова), «Профессиональная лексика татарского языка» (Р. К. Рахимова). В КГУ завершена работа над канд. диссертациями Ф. С. Сафиуллиной «Порядок слов в татарском литературном языке», К. З. Зиннатуллиной «Залоги глаголов татарского языка» и Р. М. Шириязданов ым «Некоторые грамматические вопросы перевода с русского языка на татарский».

[4] См.: «Тезисы докладов Конференции, посвященной вопросам взаимодействия и взаимообогащения языков народов СССР», Казань, 1964. По этой проблеме в 1964 г. в Казани изданы книги: М. М. Мусин, Братство народов, содружество языков (на русск. яз.) и С. Файзуллин, Сокровище двух языков (на татар. яз.).

варя русского языка (на материале говора с. Соболевского) силами преподавателей кафедры русского языка КГУ.

В лаборатории экспериментальной фонетики КГУ с помощью новой электронной аппаратуры ведется изучение особенностей местных русских говоров. Методы экспериментальной фонетики начали успешно применяться при изучении диалектного материала. Так, защищена канд. диссерт. З. М. Альмухамедовой «Вокализм русских говоров Подказанья по некоторым экспериментальным данным» (1963). В условиях лаборатории подготовлена также монография Л. В. Златоустовой «Фонетическая структура слова в потоке речи» (1962), представляющая часть ее докторской диссертации.

Елабужским пед. ин-том ТАССР издано учебное пособие «Практические занятия по русской диалектологии» (на материале говоров Волго-Камья, 1964); составители: Л. И. Чагина, Е. А. Бахмутова, Л. П. Смолякова (она же автор предисловия).

В 1964 г. в издательстве КГУ вышла монография В. М. Маркова «К истории редуцированных гласных в русском языке», защищенная в 1965 г. в качестве докторской диссертации. Н. А. Широковой закончена монография «Синтаксические конструкции, выражающие отношения сравнения в современном русском языке и их историческое развитие». В КГПИ экспериментальной разработкой синтаксиса современного русского языка занимается Л. Д. Казбан, защитившая в 1964 г. канд. диссерт. на тему «Бессоюзные сложные условные предложения в русском языке». В КГУ защищен ряд кандидатских диссертаций по морфологии и синтаксису русского языка[5].

В качестве фактической базы для исследования истории русского языка создается словарь языка М. В. Ломоносова, подготавливаемый коллективом преподавателей кафедры под руководством В. М. Маркова при участии преподавателей КГПИ; I том словаря будет закончен в 1967 г. В КГПИ И. И. Назаров работает над изучением языка челобитных XVI—XVII вв.[6]. А. И. Софронова приступила к изучению русской исторический лексики. Л. А. Андреева работает над канд. диссерт. на тему «Структурно-функциональные особенности предложного падежа в русском литературном языке XVIII в.». С. П. Лопушанская (КГПИ) занимается исследованием проблемы формирования стилей в русском языке. На основе анализа деловых документов XIV—XVIII вв., а также произведений русской и советской литературы она прослеживает формирование новых черт в стилистическом использовании глагольной лексики русского языка; ею завершена монография «Очерки по истории глагольного формообразования», которая выйдет в свет в 1966 г.

Значительное внимание уделяется в КГУ вопросам стилистики и культуры речи. Е. А. Бахмутовой издано учебное пособие по культуре речи (1-е изд.— Казань, 1960; 2-е изд.—Казань, 1964). В 1966 г. выходит из печати учебное пособие Е. А. Бахмутовой «Выразительные средства русского языка. Лексика и фразеология». Т. Н. Кондратьева представила к печати монографию «Имена собственные в русском эпосе». Ею же продолжается работа по языку и стилю поэзии Н. А. Некрасова (стилистическая функция повторов). Издано учебное пособие Н. А. Андрамоновой «Синтаксическая структура внутренних монологов произведений Л. Н. Толстого» (Казань, 1965). В 1964 г. кафедрой русского языка КГУ издан сб. «Вопросы грамматики и лексикологии русского языка» и в 1965 г.— сб. «Вопросы синтаксиса русского языка»; в начале 1966 г. вышел сборник научных работ (по материалам 2-й научной конференции молодых ученых г. Казани). При участии КГПИ регулярно публикуются выпуски сборников «Вопросы теории и методики изучения русского языка» (по материалам зональных конференций: 1—Казань, 1960; 2—Чебоксары, 1962; 3 — Йошкар-Ола, 1964; 4 — Ижевск, 1965; 5—Казань, 1965).

Восьмая межвузовская конференция Казанского зонального объединения кафедр русского языка состоялась в мае 1966 г. в г. Стерлитамаке.

Г. К. Якупова

---

[5] Е. А. Бахмутова, История приставочного образования соотносительных по виду глаголов в русском языке, Казань, 1963; Р. А. Каримова, Вводные слова и сочетания слов в русском литературном языке второй пол. XVIII — начала XIX в., Казань, 1965; И. Э. Еселевич, Исследование о языке записей и приписок (XI—XVI веков) на древнерусских пергаменных рукописях, 1965. Завершили канд. диссерт. С. А. Матвеева «Вопросительные предложения и их стилистические функции в публицистике А. И. Герцена»; Г. Н. Смирнов «Сложные предложения с лексико-синтаксическими средствами выражения условных и временных отношений»; Г. А. Николаев «Формы именного словообразования в Мериле Праведном — памятнике XIV в.» и ряд др.

[6] См.: И. И. Назаров, О некоторых северных особенностях языка челобитных и иных деловых документов XVI в., сб. «Вопросы теории и методики изучения русского языка», 3 — Йошкар-Ола, 1964; 5 — Казань, 1965.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ В БУРЯТИИ

Языковедческая исследовательская работа ведется в отделе языка и письменности Бурятского комплексного научно-исследовательского института Сибирского отделения АН СССР и на языковедческих кафедрах педагогического института им. Д. Банзарова. В отделе языка и письменности разрабатываются различные вопросы бурятского языка: фонетика, морфология, синтаксис, лексикология, диалектология и история бурятского языка.

Выпущена в свет нормативная научно-описательная «Грамматика бурятского языка» в двух книгах, в создании которой приняли участие языковеды — специалисты Москвы, Ленинграда и Улан-Удэ; в этом обобщающем труде впервые на базе обширного фактического материала дано подробное описание фонетики, морфологии, а также синтаксиса простого и сложного предложений бурятского языка[1]. Был осуществлен также первый опыт экспериментального исследования звуковой системы бурятского языка[2].

Отдельным проблемам грамматики и лексики были посвящены специальный сборник статей[3] и ряд монографий. В одной из них исследованы способы словообразования бурятского языка — выявлены и семантически определены аффиксальные словообразовательные модели для производства различных типов и категорий слов, изучены продуктивность и непродуктивность словообразовательных аффиксов и производящих основ[4].

В другой монографии дано описание формально-структурных, грамматических и семантических особенностей звукоподражательных и образных слов бурятского языка, объединяемых в единую категорию изобразительных слов; их значение, по мысли исследователя, основано не на понятии, как в других знаменательных словах, а на общем представлении,— именно этим объясняется образность их значения (в отличие от других слов)[5].

Проделана значительная работа по усовершенствованию и уточнению орфографических норм бурятского литературного языка, результатом чего явились уточненные и дополненные «Правила бурятской орфографии», введенные в действие с 1 июня 1962 г.[6]. «Правила бурятской орфографии» изданы отдельной брошюрой и в виде приложения к «Орфографическому словарю бурятского языка» К. М. Черемисова[7].

По-прежнему интенсивно ведется работа над бурятской диалектологией. Для изучения звукового состава начал применяться экспериментальный метод. Были организованы диалектологические экспедиции в Закаменский, Торейский, Мухоршибирский, Курумканский (1959 г.), Байкало-Кударинский и Кабанский (1960 г.), Баргузинский (1961 г.), Хоринский (1963 г.), Джидинский, Торейский, Кяхтинский районы (1962 г.) Бурятской АССР. За эти годы также снаряжены диалектологические экспедиции по изучению говора ононских хамниганов (1960—1961 гг.), агинских бурят (1965 г.) в Читинской области и по изучению говоров аларо-унгинских (1962 г.), боханских и нижнеудинских (1963 г.), эхиритских бурят (1964 г.) в Иркутской области. В 1965 г. был записан полевой материал по бурятскому языку тофаларов. Некоторые итоги и обобщения диалектологических изысканий опубликованы в виде отдельных статей[8].

Серьезным вкладом в бурятскую диалектологию является монография Т. А. Бертагаева, где в сравнительном плане исследована лексика аларского, эхирит-булагатского, мухоршибирского,

---

[1] «Грамматика бурятского языка. Фонетика и морфология», М., 1962; Т. А. Бертагаев, Ц. Б. Цыдендамбаев, Грамматика бурятского языка. Синтаксис, М., 1962.

[2] См.: И. Д. Бураев, Звуковой состав бурятского языка, Улан-Удэ, 1959.

[3] «Вопросы литературного бурятского языка», Улан-Удэ, 1963.

[4] У.-Ж. Ш. Дондуков, Аффиксальное словообразование частей речи в бурятском языке, Улан-Удэ, 1964.

[5] Л. Ш. Шагдаров, Изобразительные слова в современном бурятском языке, Улан-Удэ, 1962.

[6] См. газ. «Правда Бурятии», 13 I 1962; газ. «Буряад үнэн», 13 I 1962.

[7] «Буряад бэшэгэй дүрим», Улаан-Үдэ, 1962; «Буряад бэшэгэй дүрим ба словарь», Улаан-Үдэ, 1962.

[8] См.: Ц. Б. Цыдендамбаев, О диалектальных различиях в разговорном бурятском языке, «Труды БКНИИ», 3, Серия востоковедения, Улан-Удэ, 1960; Э. Р. Раднаев, Заметка о цонгольском говоре, там же; Ц. Б. Цыдендамбаев, Краткая характеристика говора кударинских бурят, «Краткие сообщения Ин-та народов Азии [АН СССР]», 83 — Монголоведение и тюркология, М., 1964; его же, Некоторые итоги и дальнейшие задачи изучения бурятских говоров, в кн.: «Олон улсын монгол хэл бичгийн эрдэмтний анхдугаар их хурал», Улан-Батор, 1961; У.-Ж. Ш. Дондуков, Предварительный отчет об экспедиционных работах по изучению говоров бурятского языка, проведенных отделом языка и письменности БКНИИ летом 1958 г., «Краткие сообщения БКНИИ», I, Улан-Удэ, 1959, и др.

южно- и частично северноселенгинского говоров [9]. Вышел из печати первый выпуск сборника «Исследование бурятских говоров», в котором дается анализ и характеристика специфических особенностей фонетического, грамматического и лексического строя баргузинского, боханского, сартульского, тункинского и цонгольского говоров [10]; подготовлен к печати второй выпуск этого издания. По отдельным говорам были написаны и защищены кандидатские диссертации [11].

Вопросы сопоставительной грамматики русского и бурятского языков в основном освещаются в работах методического характера [12]. В отдельных работах рассматриваются проблемы стилистики произведений советских писателей, а также вопросы, связанные с изучением языка писателя [13].

Были выпущены также учебники и учебные пособия по бурятскому языку для студентов педучилищ и школ республики [14].

В Улан-Удэ проведено несколько конференций по различным вопросам языковедения. В августе 1963 г. состоялась координационная конференция по вопросам развития национальных языков Сибири в советскую эпоху; материалы конференции изданы отдельной книгой [15]. В том же году состоялась республиканская научно-практическая конференция по вопросам преподавания русского и родного языков в школах Бурятской АССР; в сентябре 1964 г. была проведена IV научно-методическая конференция зонального объединения кафедр русского языка вузов Восточной Сибири и Дальнего Востока.

В отделе зарубежного Востока БКНИИ ведутся исследования и по восточным языкам. За последние годы известные успехи достигнуты в области тибетской лексикографии [16]. Опубликованы сводные тексты и перевод двух монгольских грамматических сочинений XVIII и XIX вв., снабженные введениями и комментариями [17].

Среди задач, стоящих перед языковедами Бурятии в будущем,— такие важные вопросы, как составление диалектологического атласа бурятского языка, выявление закономерностей развития современного бурятского языка, составление наиболее полного бурятско-русского словаря, синонимического, фразеологического и толкового словарей бурятского языка, создание исторической грамматики бурятского языка, сопоставительной грамматики русского и бурятского языков.

Н. Б. Дугаров

---

[9] Т. А. Бертагаев, К исследованию лексики монгольских языков. Опыт сравнительно-статистического исследования лексики бурятских говоров, Улан-Удэ, 1961.

[10] «Исследование бурятских говоров», 1, Улан-Удэ, 1965.

[11] Ц. Б. Будаев, Цонгольский говор бурятского языка. Канд. диссерт., Улан-Удэ, 1962; А. Г. Митрошкина, Говор качугских (верхоленских) бурят. Канд. диссерт., Иркутск, 1961.

[12] См.: М. Н. Мангадаев, Основные особенности грамматического строя русского и бурятского языков, Улан-Удэ, 1959; Б. В. Матхеев, О некоторых особенностях бурятских согласных в плане сопоставления с русским консонантизмом, «Уч. зап. [Бурят. гос. пед. ин-та им. Д. Банзарова]», XVIII, Историко-филолог. серия, 1959; Ж. С. Сажинов, О способах передачи синтаксических значений русского инфинитива в бурятском языке, там же.

[13] См.: С. Ш. Чагдуров, О выразительности слова в художественной прозе, Улан-Удэ, 1959; языку поэтических произведений бурятского писателя Хоца Намсараева посвящена написанная канд. диссертация И. С. Хамгушкеева.

[14] См.: Д. Д. Дугар-Жабон, Буряад хэлэн. Лексикэ, фонетикэ ба морфологи. Багшын һургуулида үзэхэ ном, Улаан-Удэ, 1965; М. Н. Имехенов, Ц. Ц. Цыдыпов, Буряад хэлэнэй грамматика. I — Фонетикэ ба морфологи. Дунда һургуулиин 5—6 класста Үзэхэ учебник, Улаан-Удэ, 1964; Т. А. Бертагаев, М. Н. Имехенов, Д. Д. Дугар-Жабон, Буряад хэлэнэй грамматика. II — Синтаксис. Дунда һургуулиин 6—8 классуудта үзэхэ учебник, Улаан-Удэ, 1964; У.-Ж. Ш. Дондуков, Е. Г. Пахутова, Учебник бурятского языка для знающих русский язык, Улан-Удэ, 1962.

[15] «Развитие литературных языков народов Сибири в советскую эпоху», Улан-Удэ, 1965.

[16] См.: «Краткий тибетско-русский словарь», сост. Б. В. Семичов, Ю. М. Парфионович, Б. Д. Дандарон, М., 1963; А. Ф. Гаммерман, Б. В. Семичов, Словарь тибетско-латино-русских названий лекарственного растительного сырья, применяемого в тибетской медицине, Улан-Удэ, 1963.

[17] П. Б. Балданжапов, «Jirüken-ü tolta-yin tayilburi». Монгольское грамматическое сочинение XVIII века, Улан-Удэ, 1962; его же, Kelen-ü čimeg. Монгольское грамматическое сочинение XIX века, Улан-Удэ, 1962.

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Минским гос. пед. ин-том иностранных языков был организован симпозиум по проблеме «Аналитические конструкции в лексике», который состоялся 26—28 января 1966 г. в Минске и в котором приняли участие представители научных учреждений и высших учебных заведений Москвы, Ленинграда, Горького, Вильнюса, Воронежа, Саратова, Челябинска, Самарканда и других городов страны.

На симпозиуме было представлено 29 докладов. Ряд докладов был посвящен более общим лингвистическим вопросам, так или иначе связанным с обсуждаемой проблематикой. Так, А. М. Мухин (Ленинград) в докладах «Некоторые общие проблемы лексикологии» и «К разграничению лексикологии, синтаксиса и морфологии („сложные слова")» предлагает определение основных лексикологических единиц. В докладе В. В. Мартынова (Минск) высказывается мысль о том, что новый знак порождается путем присоединения к старому знаку модификатора. Такой взгляд на порождение знаков восходит к польскому лингвисту Я. Развадовскому, который определил двухкомпонентный (двусоставной) характер каждой языковой единицы (*пятно — родимое пятно — родинка*). Знак и слово не совпадают, не существует никаких принципиальных языковых ограничений для числа слов в знаке. Знак обязательно двукомпонентен, двусоставен, однако двусоставность может быть в явном (*хвойный лес*), свернутом (*хвойник*) и скрытом виде (*бор*). Двусоставность знака можно восстановить через метаязыковое определение: *бор—это хвойный лес*. В связи с этим докладчик считает нецелесообразным выделять аналитические единицы в лексике, их следует, по его мнению, рассматривать в грамматике.

Доклад М. А. Бородиной и В. И. Сафронова (Ленинград) «Энклиза и проклиза в свете проблемы аналитических конструкций» был интересен тем, что некоторые вопросы аналитизма языка, решаемые обычно на материале современного языка, здесь представлены в их исторической перспективе.

Различным вопросам изучения аналитических конструкций были посвящены доклады Н. А. Штейнберг (Ленинград) «Опыт статистического исследования сочетаний глаголов *bēon* и *habban* с причастием — одного из этапов становления аналитических конструкций» и А. И. Киселевского (Минск) «Семантические множители и внеязыковая субстанция».

Наибольший интерес вызвали доклады, посвященные выделению и отграничению аналитических лексических единиц от смежных с ними языковых образований. В докладе З. Н. Левита (Минск) «О понятии аналитической лексической единицы» аналитическая лексическая единица определяется как образованное по определенной структурно-семантической модели сочетание функционально дифференцированных элементов — служебного и знаменательного, равнозначное в функционально-семантическом отношении цельному слову. Докладчик показывает различие аналитических лексических единиц и смежных образований — аналитических форм слова, фразеологических единиц неаналитического типа, сложных слов и свободных словосочетаний. В. С. Ракoвский (Ленинград) в докладе «К вопросу об аналитическом лексическом слове» рассматривает признаки разных глагольных лексических слов в том случае, когда глагол является ядерным элементом конструкции. Любое глагольное слово выступает как совокупность словоформ. Всем словоформам свойствен общий лексический морф (постоянная величина), который выступает в оппозиции к грамматическим морфам-оформителям (переменная величина). Глагольное лексическое слово реализуется в двух структурных вариантах: синтетическое (цельнооформленное) и аналитическое (раздельнооформленное) слово.

И. Б. Фитиалова (Ленинград) посвящает свой доклад «Об одном способе классификации словосочетаний» разграничению свободных, устойчивых и фразеологических словосочетаний на основе двух основных критериев: 1) лексическая свобода или закрепленность элементов словосочетания и 2) отношение синтаксической связи внутри словосочетания к синтаксической структуре всего предложения. По признаку наличия или отсутствия этих характеристик устанавливаются четыре возможности типов словосочетаний, которые интерпретируются для русского, английского и немецкого языков.

А. Е. Михневич (Минск) в докладе «Аналитические лексические единицы, имеющие однословные синонимы», выделяет несколько типов или классов парных синонимических соответствий «сочетание слов (без предлога) — слово». Идентификация этих соответствий по трем признакам разбивает их на классы, которые могут быть интерпретированы в соответствии с существующей терминологией как фразеологические сращения (фразеологические единства), фразеологические сочетания, свободные словосочетания, аналитические конструкции.

В докладе «Разграничение понятий „свободное словосочетание", „фразеологическая единица", „аналитическая лексическая единица"» Э. М. Медникова (Москва) предлагает разграничивать словосочетания при помощи критерия,

основанного на категории вероятности появления следующего элемента. Невозможность предсказать следующий член речевой цепи указывает на практически неограниченную валентность предшествующего слова, т. е. на свободный характер всего словосочетания. Отсутствие свободы выбора указывает на фразеологический характер сочетания. По мнению докладчика, по такому же пути следует идти и при выделении аналитического слова.

Проблеме аналитической лексической единицы и ее однословным синонимам был посвящен доклад И. В. Гюббенет (Москва); автор разграничивает аналитические формы слова и фразеологические словосочетания; отношение между двумя составляющими аналитической формы аналогично отношению между корневой и аффиксальной морфемами в форме синтетической, что отличает аналитическую форму от фразеологизма. Если словосочетания могут быть сопоставлены с производными словами, то их можно назвать «аналитическими словами».

В докладе Л. А. Новак (Минск) и Р. Г. Пиотровского (Ленинград) «Вероятносто-информационная оценка аналитизма» делается попытка измерить количественно степень аналитичности румынского письменного текста.

Многие доклады были построены на материале конкретных языков и касались отдельных типов аналитических конструкций. Различного типа аналитическим конструкциям во французском языке были посвящены доклады Е. Е. Корди (Ленинград) «Грамматическая характеристика фактитивной конфигурации с ядерными глаголами *faire* и *laisser* во французском языке», Л. О. Коль (Горький) «Особенности характеристики действия, выраженного глагольной типовой конструкцией», М. И. Берлин (Минск) «К вопросу об аналитических конструкциях, выполняющих функцию наречий», Л. М. Скрелиной (Минск) «О категории степеней сравнения во французском языке», Ф. Ф. Вейнтрауб (Москва) «Аналитические лексические единицы как источники образования новых слов во французском языке». На материале английского и немецкого языков были построены доклады Н. А. Лапоноговой (Киев) «Глагольное аналитическое слово в современном английском языке» и Е. Е. Родичевой «Синтаксические особенности фразеологических единиц».

Так называемые «пустые» глаголы во французском и немецком языках рассматривались в докладах Л. Ф. Кистановой (Минск) «Изменение характера функционирования глагола в связи с аналитическими тенденциями в современном французском языке» и М. А. Пеклера (Самарканд) «Аналитизм сочетаний с „пустыми" глаголами». Вопрос грамматикализации знаменательных слов в связи с проблемой аналитической лексической единицы рассматривался в докладе А. Н. Степановой (Минск) «Об аналитических конструкциях».

В ходе дискуссии, которая касалась в основном проблемы определения аналитической лексической единицы, ее основных признаков и способов ее выделения, А. М. Мухин ставит под сомнение целесообразность и логичность введения понятия «аналитическое слово», так как оно, по его мнению, не входит в систему лексических оппозиций и фактически в языке ничему не противопоставляется. В ответ на это М. А. Бородина указала, что понятие «аналитическое слово» входит в противопоставление «аналитическое слово — синтетическое слово». Было высказано также мнение (В. В. Мартынов) о том, что следует ввести понятие служебной аналитической единицы. Некоторые из выступавших при обсуждении докладов коснулись вопроса о том, следует ли выделять фразеологию как особую лингвистическую дисциплину.

Л. Ф. Кистанова (Минск)

Как сообщается в «Первом циркуляре X Международного конгресса лингвистов», Конгресс состоится в Бухаресте с 28 августа по 2 сентября 1967 г. Председатель конгресса— проф. И. Иордан, вице-председатели—проф. А. Граур, Э. Петрович, Б. Казаку, И. Котяну, генеральный секретарь—А. Росетти. На пленарных заседаниях будут заслушаны следующие доклады: проф. Б. Малмберг «Синхрония и диахрония», проф. Э. Петрович «Интерпретация лингвистических систем», проф. Дж. Девото «Сравнительный метод и современные лингвистические концепции», И. А. Фергусон «Насущные проблемы прикладной лингвистики», проф. О. С. Ахманова «Количественный подход в лингвистике». Кроме того, на секционных и групповых заседаниях будут заслушаны доклады, посвященные следующей тематике: теории языка, социолингвистика, ареальная лингвистика, история языкознания, семантика, синтаксис, поэтика, усвоение ребенком речи, психолингвистика, стилистика, типология языков, паталогия языка.

Лица, желающие принять участие в Конгрессе, должны сообщить об этом до 1 ноября 1966 г по адресу: Bucureşti, 22, Romîna, X International congress off linguists, Organizing Committee.

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ И БРОШЮРЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

Приводимый список подтверждает получение посланных в редакцию книг. Редакция благодарит издательства и авторов, направивших книги в адрес журнала «Вопросы языкознания». Редакция сообщает, что она не может гарантировать рецензирование всех присланных книг. Рецензии помещаются в зависимости от возможностей и от профиля журнала, два экземпляра оттисков рецензии высылаются издателям или авторам. Присланные книги не возвращаются.

Статистико-комбинаторное моделирование языков. (Под ред. Н. Д. Андреева). — М.—Л., 1965. 502 стр.

Українські грамоти XV ст.— Київ, 1965. 164 стр.

«Ancient Indo-European dialects», ed. by H. Birnbaum, J. Puhvel.— Berkeley — Los Angeles, 1966. 247 стр.

Revue roumaine de linguistique. X, 5—6, 1965. Стр. 451—679.

Slavia orientalis. XV, 1. 1966. 124 стр.

Slovo a slovesnost. XXVII, 1. 1966, 96 стр.

А. И. Аникин. Употребление однокоренных слов в предложении.— М., 1965. 100 стр.

Ю. В. Откупщиков. Карийские надписи Африки. Предварительные результаты дешифровки.— Л., 1966, 36 стр.

T. Čiževska. Glossary of the Igor' tale.— The Hague, 1966. 408 стр.

P. Diderichsen. Helhed och struktur. Udvalgte sprogvidenskabelige afhandlinger.— København, 1966. 411 стр.

V. Dorotjaková, M. Filkusová, E. Kučerová, M. O. Malíkova, E. Sekaninová. Vel'ký rusko-slovenský slovník. III.— P.— Bratislava, 1965. 1030 стр.

W. H. Fay. Temporal sequence in the perception of speech.— The Hague, 1966. 128 стр.

R. A. Hall, Jr. Pidgin and Creole languages.— Ithaca, New York, 1966. 188 стр.

J. Juhász. Richtiges Deutsch. 16 Gespräche über typische Fehler in der Umgangssprache für Ungarn.— Budapest, 1966. 334 стр.

M. K. Mayers. Languages of Guatemala.— The Hague, 1966. 320 стр.

F. Papp. Mathematical linguistics in the Soviet Union.— The Hague, 1966. 168 стр.

E. Reiner. A linguistic analysis of Akkadian.— The Hague, 1966. 156 стр.

B. N. Shnitnikov. Kazakh-English dictionary.— The Hague, 1966. 301 стр.

J. Vachek. The linguistic school of Prague. An introduction to its theory and practice.— Bloomington — London, 1966. 184 стр.

N. P. Vakar. A word count of spoken Russian: the Soviet usage.— Ohio state university press. 367 стр.

ИСПРАВЛЕНИЯ

М. В. Гаспаров обратился в редакцию с просьбой исправить ошибки, допущенные им при подготовке к публикации статьи Н. В. Лапшиной, И. К. Романович, Б. И. Ярхо «Из материалов „Метрического справочника к стихотворениям М. Ю. Лермонтова“» (ВЯ, 2).

Следует читать на стр. 137:

строка 21 сверху: Хореические: *44344433*—II 34;
« 23 сверху: *422422*—I 24; *4242*—II 180; *44224141*—I 55;
« 26 сверху: *5353*—I 211, 241; *5454* — I 190; *54545555*—I 291; *554554*—II 91;
« 32 сверху: Анапестические: *4343*—II 247;
« 35 сверху: 192; II 66; *434344*—I 110, 296.

CONTENTS

Articles: V. Pisani (Milan). On the Indo-European problem; V. Skalička (Prague). On the problem of typology; **Discussions:** F. P. Filin (Moscow). On the social nature of language: Arn. Čikobava (Tbilisi). Ways of development of modern linguistics; P. S. Kuznetsov (Moscow). Once more on humanism and dehumanisation; A survey of materials concerning V. I. Abaev's article «Linguistic modernism as dehumanisation of linguistic science» (articles and notes received at the Editorial Office); **Materials and notes:** R. Růžička (Leipzig). On the concept «loan-syntax» in the light of the transformation grammar theory; L. S. Barkhudarov (Moscow). The binarity of oppositions and the symmetry of grammatical systems; V. G. Admoni (Leningrad). Sentence-size and length of word-combinations as phenomena of syntactic structure; **Critics and bibliography; Letters to the Editorial Office:** A. P. Každan (Moscow.). A letter to the Editorial Office; G. G. Belonogov (Moscow). A letter to the Editorial Office; **Scientific life:** G. K. Yakupova (Kazan). Linguistics in Tatar Autonomous Soviet Socialist Republic; N. M. Dugarov (Ulan-Ude). Linguistics in Buryat Autonomous Soviet Socialist Republic.

SOMMAIRE

Articles: V. Pisani (Milan). Sur le problème indo-européen; V. Skalička (Prague). Le problème de typologie; **Discussions:** F. P. Filin (Moscou). La nature sociale du langage; Arn. Čikobava (Tbilisi). Voies de developpement en linguistique moderne; P. S. Kuznetsov (Moscou). Une fois de plus sur l'humanisme et la dehumanisation. Aperçu des matériaux à propos de l'article: V. I. Abaev, Modernisme linguistique comme dehumanisation de la science linguistique (articles reçus à la rédaction); **Matériaux et notices:** R. Růžička (Leipzig). Sur la notion «emprunt syntaxique» à la lumière de la théorie de grammaire transformationnelle; L. S. Barkhudarov (Moscou). Binarité des oppositions et symmetrie des systèmes grammaticaux; V. G. Admoni (Léningrad). La longueur de la proposition comme phenomène de structure syntaxique; **Critique et bibliographie; Lettres à la rédaction:** A. P. Každan (Moscou). Lettre à la rédaction; G. G. Belonogov (Moscou). Lettre à la rédaction; **Vie scientifique:** G. K. Yakupova (Kazan). Linguistique dans la République autonome tatare aujourd'hui; N. M. Dugarov (Ulan-Ude). Linguistique dans la République autonome buriate aujourd'hui.

Технический редактор *Л. Д. Мельникова*

Т.-07673 Подписано к печати 22/VII 1966 г. Тираж 6100 экз. Зак. 803
Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Печ. л 15,4 Бум. л. 5¹/₂ Уч.-изд. листов 17,2

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах, в совершенно готовом для печати виде, хорошо обработанные литературно и подписанные автором. И текст, и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала.

После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 25 стр., объем рецензии — 15 стр. машинописи. Редакция заинтересована в получении кратких сообщений и заметок по конкретной тематике объемом до 15 стр. машинописи.

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

4. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

5. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значение их — в кавычках.

6. Непринятые рукописи, как правило, авторам не возвращаются.

7. Статьи, опубликованные или направленные в редакцию других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, В. В. Виноградов (главный редактор), *В. М. Жирмунский* (зам. главного редактора), *П. С Кузнецов, Э. А. Макаев, М. В. Панов, В. З. Панфилов, И. И. Ревзин, Ю. В. Рождественский, Б. А. Серебренников, Н. И. Толстой* (отв. секретарь редакции), *О. Н. Трубачев*

Адрес редакции: Москва, К-31. Кузнецкий мост, 9/10. Тел. Б 8-75-55

Цена 1 руб. 20 коп.

253
ВАВИЛОВА
Д.34.4 КОР.В КВ.390
ЛЫТКИНУ В.И
1 1.12 В 93

Индекс
70158

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА «НАУКА» на 1967 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ
Подписная цена на год за 6 номеров 7 р. 20 к.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Подписная цена на год за 4 номера 4 руб.

РУССКАЯ РЕЧЬ
Подписная цена на год за 6 номеров 3 руб.

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР
СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

Подписная цена на год за 6 номеров 5 р. 40 к.

Подробные сведения о журналах издательства «Наука» публикуются в каталогах «Академкнига».

Подписка принимается общественными распространителями печати в пунктах подписки «Союзпечать», по месту работы и учебы, в агентствах «Союзпечати», а также в любом почтамте и отделении связи.